TURCOLOGICA

1986



АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОНОНОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ТЮРКОЛОГОВ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

TURCOLOGICA

1986

К восьмидесятилетию академика А. Н. КОНОНОВА



ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

Сборник посвящен актуальным проблемам современной тюркологии и отражает уровень развития исследований в главных научных центрах страны. Включены работы по литературоведению, текстологии, источниковедению видных советских тюркологов (Э. Р. Тенишева, Н. З. Гаджиевой, С. Н. Иванова, И. Г. Добродомова, Б. А. Серебренникова и др.).

Книга предназначена для филологов-востоковедов, студентов и преподавателей вузов.

Ответственные редакторы

С. Г. КЛЯШТОРНЫЙ, Ю. А. ПЕТРОСЯН, Э. Р. ТЕНИШЕВ

Рецензенты

А. Л. ГРЮНБЕРГ, А. В. ВИТОЛ

Т $\frac{4602010000\text{-}627}{042\,(02)\text{-}86}$ 309-86-III

С. Н. Иванов

ПУТЬ УЧЕНОГО

27 октября 1986 г. исполняется 80 лет со дня рождения и 55 лет научной и педагогической деятельности академика Андрея Николаевича Кононова, крупнейшего советского тюрколога. Научное творчество Андрея Николаевича хорошо известно всем, кто причастен к востоковедению и тюркологии в нашей стране и за рубежом: он автор многочисленных трудов по грамматике, лексикологии, этимологии, исторической грамматике тюркских языков, по тюркской текстологии, по истории тюркологии и востоковедения.[1]

Путь крупного ученого всегда интересен и поучителен для осмысления его современниками. Поучительно проследить истоки, осознать свершенное и понять в движении этого пути то, что дает выход в будущее. Прошлое каждого ученого — это непосредственные его учителя и тот уровень науки, который он застал в начале своего научного пути. Непосредственными учителями Андрея Николаевича в области тюркологии были А. Н. Самойлович, С. Е. Малов, Н. К. Дмитриев. Его наставниками в сфере востоковедения были В. В. Бартольд, Н. Я. Марр, И. Ю. Крачковский. Но еще вернее сказать, что Андрей Николаевич учился у всей предшествующей тюркологии и у всего предшествующего востоковедения. У такого утверждения есть веские основания. Редко у кого среди ученых можно встретить такой всеобъемлющий интерес к своей науке, как у Андрея Николаевича: нет таких сторон в тюркологии, которые юбиляр обошел бы вниманием, нет такой области в истории востоковедения, которая была бы чужда Андрею Николаевичу. Энциклопедичность его востоковедческих и тюркологических знаний общеизвестна.

Несомненно, что плодотворное воздействие на формирование Андрея Николаевича как ученого оказало научное наследие В. В. Радлова, крупнейшего отечественного тюрколога, близкого научным устремлениям Андрея Николаевича по универсальности своих тюркологических интересов. Это проявилось как в «морфологичности» грамматической концепции Андрея Николаевича,[2] так и в обостренном внимании его к истории тюркских языков, нашедшем свое обобщение в одном из последних по времени трудов

Андрея Николаевича — «Грамматике языка тюркских рунических памятников VII—IX вв.» (1980).

В формировании научного мировоззрения Андрея Николаевича и в его понимании грамматического строя тюркских языков едва ли не решающую роль сыграло творческое наследие П. М. Мелиоранского — ученого, впервые в тюркологии избравшего предметом своего преимущественного исследовательского внимания систему грамматических форм и синтаксических конструкций тюркских языков в их принципиальном отличии от индоевропейских языков. Творческое восприятие идей П. М. Мелиоранского пронизывает всю исследовательскую деятельность Андрея Николаевича как грамматиста: описание и истолкование строя тюркских языков, осуществленные юбиляром в его основных работах по грамматике тюркских языков (Грамматика турецкого языка, 1941; Грамматика узбекского языка, 1948; Грамматика современного турецкого литературного языка, 1956; Грамматика современного узбекского литературного языка, 1960), наполнены живейшим ощущением историзма и вместе с тем основаны на строгом уяснении специфических черт тюркского грамматического строя.

Глубокий интерес к проблемам истории тюркологии и востоковедения в целом Андрей Николаевич воспринял от крупнейших историков востоковедения как науки, от своих прямых учителей В. В. Бартольда и И. Ю. Крачковского. Многочисленные труды Андрея Николаевича по истории тюркологии получили обобщение в таких его капитальных работах, как вышедшая двумя изданиями (1972, 1982) «История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период» и «Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период» (1974).

Традиционно источниковедческая, можно сказать, в принципе источниковедческая основа востоковедения как науки всегда привлекала пристальное внимание Андрея Николаевича как исследователя. В отличие от многих ученых-тюркологов грамматической ориентации Андрей Николаевич сам принял деятельное участие в текстологической работе по подготовке к изданию рукописного наследия тюркоязычных авторов: всеобщее признание получили его работы по изданию сводных текстов сочинений Алишера Навои («Возлюбленный сердец», 1948) и Абу-ль-гази-хана («Родословная туркмен», 1958).

Если пытаться осмыслить исследовательскую деятельность Андрея Николаевича, нельзя не отметить, что он прошел путь от тюрколога-османиста в ранних своих грамматических работах до тюрколога почти универсального профиля в трудах более позднего времени. К этому его привели не только отмеченная выше широта его востоковедческих и тюркологических интересов, но и последовательно в течение многих лет открывавшиеся ему глубокое единство тюркских языков, единство и специфичность их грамматического строя, удивительная близость друг к другу (при всем многообразии частных проявлений) различных аспектов тюр-

коязычной культуры. Вряд ли можно сомневаться в том, что на формирование общетюркологических (а не только османистических) устремлений Андрея Николаевича повлияли и его качества ученого с ярко гражданственным и общественным темпераментом — жажда деятельности не только на благо тюркологии как науки, но и на благо своей страны, своего народа. Об этом имеются и прямые высказывания самого Андрея Николаевича.[3]

Андрей Николаевич не только наследовал богатейшие традиции отечественного востоковедения и тюркологии. В его трудах нашли развитие эти традиции, и многие новые идеи, сформулированные и развитые Андреем Николаевичем (как всегда, без декларации их новизны и без каких-либо полемических пристрастий), послужили и служат углублению и насыщению доказательствами в своих обоснованиях самых существенных представлений о строе тюркских языков, о тюркоязычной культуре, о рукописных ее сокровищах, об истории тюркологических знаний и о путях развития отечественного востоковедения.

Если задаться целью суммарно охватить эти идеи, то нужно будет упомянуть подчеркнуто морфологическую интерпретацию тюркской грамматики, приведшую Андрея Николаевича к новому пониманию самой природы агглютинативного строя тюркских языков как грамматического строя, в котором фузионные процессы обуславливали последовательное историческое переосмысление различных формальных показателей; в области тюркского синтаксиса — обоснование особой роли бессоюзного подчинения и наблюдаемого в пределах досягаемой истории тюркских языков преобразования некоторых знаменательных и полузнаменательных элементов в средства синтаксической связи; в области исторической грамматики тюркских языков — обобщение взгляда на грамматический строй языка тюркских рунических памятников как на ключ к пониманию многих черт грамматического строя современных тюркских языков; в сфере истории тюркологии — глубокую преемственность нынешних тюркологических знаний от их «предысторического» бытования в разнообразных русско-тюркских отношениях; в текстологических исследованиях — акцентирование внимания на том, что текст и «подтекст» любого сочинения давних времен дает богатейшие сведения не только по истории данного языка и данной культуры, но и по истории общетюркской культуры.

Ученику Андрея Николаевича трудно оценивать то, что из лекций и трудов учителя дало жизнь трудам его учеников, но всегда занятия Андрея Николаевича были для них высокой школой любви к науке, заинтересованности во всех ее проявлениях, трудолюбия и преданности науке. Для них никто так, как Андрей Николаевич, не был столь же ярким примером пристрастного и верного служения тюркологии. Именно потому столь многочисленна когорта тюркологов, работающих в разных сферах тюркологии и в разных городах нашей страны, но по праву считающих

себя выходцами из созданной Андреем Николаевичем новой школы тюркологов.

Андрей Николаевич — председатель Советского комитета тюркологов, признанный глава советской тюркологии.

Многочисленные ученики и коллеги Андрея Николаевича желают ему в день славного юбилея столь же яркой, как и прежде, работы на благо отечественной тюркологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. Андрей Николаевич Кононов. М., 1980, вып. 13.

[2] См.: *Векилов А. П.*, *Иванов С. Н.* Андрей Николаевич Кононов: (К семидесятипятилетию со дня рождения). — СТ, 1981, № 5, с. 99—101.

[3] См.: *Векилов А. П.*, *Иванов С. Н.* Андрей Николаевич Кононов. — В кн.: Исследования по филологии стран Азии и Африки. Л., 1966, с. 10.

БИБЛИОГРАФИЯ ПЕЧАТНЫХ РАБОТ АКАДЕМИКА А. Н. КОНОНОВА 1980—1985 гг.*

1980 г.

Актуальные проблемы тюркского языкознания в СССР: (Доклад на VI пленарном заседании Советского комитета тюркологов 10 III 80). [Изложение доклада]. — Сов. тюркол., 1980, № 2, с. 91—94.

Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., «Наука», 1980, 255 с.

Заметки по морфологии турецкого языка: (I. Форма на -sındı, -sınlardı. II. Форма на -(y)indi). — Сов. тюркол., 1980, № 2, с. 14—20.

Заметки по морфологии турецкого языка: (Модальность на -dır). — Сов. тюркол., 1980, № 3, с. 3—16.

Семантика и функции глагольной связки turur > -turu/-duru > -tur/-dur > -tu/-du > -t/-d. (Сравнительно-исторический этюд). — Сов. тюркол., 1980, № 5, с. 3—13.

Тюркское языкознание в СССР на современном этапе: Итоги и проблемы. — В кн.: Проблемы современной тюркологии: Материалы II Всесоюзной тюркологической конференции 27—29 сентября 1976 г. Алма—Ата: «Наука», 1980, с. 12—23.

Тюркское языкознание в СССР: Итоги и перспективы. — В кн.: Языкознание: Тезисы докладов и сообщений III Всесоюзной тюркологической конференции 10—12 сентября 1980 г. Ташкент: «Фан», 1980, с. 3—5. [Совместно с Э. Р. Тенишевым и Э. И. Фазыловым].

Ред.: Проблемы современной тюркологии: Материалы II Всесоюзной тюркологической конференции 27—29 сентября 1976 г. Алма-Ата: «Наука», 1980, 430 с. [Совместно с др.].

Ред.: Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-Цзана: Транскрипция, перевод, примечания, комментарий и указатель Л. Ю. Тугушевой. М.: «Наука», 1980, 174 с.

Ред.: Языкознание: Тезисы докладов и сообщений III Всесоюзной тюркологической конференции 10—12 сентября 1980 г. Ташкент: «Фан», 1980, 268 с. [Совместно с др.].

1981 г.

Махмуд Кашгарский о тюркских языках. — В кн.: История лингвистических учений: Средневековый Восток. Л.: «Наука», 1981, с. 130—142. [Совместно с X. Г. Нигматовым].

Тюркское языкознание в СССР. Итоги и перспективы. — Сов. тюркол., 1981, № 1, с. 3—22. [Совместно с Э. Р. Тенишевым и Э. И. Фазыловым].

* Список печатных работ А. Н. Кононова за 1933—1979 гг. см.: Андрей Николаевич Кононов. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. М.: «Наука», 1980, вып. 13, с. 29—46.

Sovyetler Birliği'nde Türk Dilbilimi: Sonuçlar ve Sorunlar. — Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. — Belleten, 1978—1979. Ankara, 1981, s. 181—190.

Ред.: Тюркологический сборник. 1977, М.: «Наука», 1981, 296 с.

1982 г.

Из истории кумыкского языкознания. — Сов. тюркол., 1982, № 1, с. 48—50.

[Изложение доклада на VIII пленарном заседании Советского комитета тюркологов 9 марта 1982 г.]. — Сов. тюркол., 1982, № 2, с. 99—100.

История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период. Изд. 2-е, доп. и испр. Л.: «Наука», 1982. 360 с.

Имран Султанович Сеидов: (К шестидесятилетию со дня рождения). — Сов. тюркол., 1982, № 6, с. 96—97. [Совместно с Н. А. Баскаковым, С. Н. Ивановым и С. Г. Кляшторным].

Сергей Николаевич Иванов: (К шестидесятилетию со дня рождения). — Сов. тюркол., № 2, с. 95—97. [Совместно с А. П. Векиловым и В. Г. Гузевым].

Ред.: *Куликова А. М.* Становление университетского востоковедения в Петербурге. М.: «Наука», 1982. 207 с.

Ред.: *Стеблева И. В.* Семантика газелей Бабура. М.: «Наука», 1982. 328 с.

1983 г.

Академик Игнатий Юлианович Крачковский: (К 100-летию со дня рождения: 1883—1951). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1983, т. 42, № 4, с. 374—382. То же в кн.: Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. (Доклады и сообщения). Январь 1982 г. М.: «Наука», 1983, ч. 1, с. 11—24.

Еще раз о генезисе тюркского аориста. — Сов. тюркол., 1983, № 1, с. 3—14.

[Изложение доклада на IX пленарном заседании Советского комитета тюркологов 10 марта 1983 г.]. — Сов. тюркол., 1983, № 3, с. 97.

Предисловие. — В кн.: Лингвоэтнография: (Сборник научных трудов). Л.: Изд. Географического общества СССР, 1983, с. 3.

Российская академия (1783—1841): (К 200-летию со времени учреждения). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1983, т. 42, № 6, с. 502—507.

Поэма Юсуфа Баласагунского «Благодатное знание». — В кн.: *Юсуф Баласагунский.* Благодатное знание. Литературные памятники / Перев. С. Н. Иванова. М.: «Наука», 1983, с. 495—517.

Слово о Х. Д. Френе (22 V 1782—16 III 1851): К 200-летию со дня рождения. — В кн.: Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. (Доклады и сообщения). Январь 1982 г. М.: «Наука», ч. 1, с. 3—11.

Ред.: *Васильев Д. Д.* Корпус тюркских памятников бассейна Енисея. Л.: «Наука», 1983, 127 с.

Ред.: Толковый словарь языка произведений Алишера Навои. Т. I. Ташкент: «Фан», 1983. 656 с.; Т. II. Ташкент: «Фан», 1983. 642 с. [Совместно с др.]. На узб. яз.

Ред.: *Юсуф Баласагунский.* Благодатное знание. Литературные памятники. М.: «Наука», 1983. 558 с.

1984 г.

Актуальные проблемы тюркского языкознания. — Вопр. языкозн., 1984, № 6, с. 3—14.

Б. Я. Владимирцов — тюрколог. (1884—1931). — Сов. тюркол., 1984, № 4, с. 44—52.

Виктория Степановна Гарбузова. (К семидесятилетию со дня рождения). — Сов. тюркол., 1984, № 3, с. 101—102. [Совместно с С. Н. Ивановым].

Заключительное слово на пленарном заседании [III Всесоюзной тюркологической конференции 12 сентября 1980 г.] — В кн.: Фольклор, литература

и история Востока. Материалы III Всесоюзной тюркологической конференции. Ташкент: «Фан», 1984, с. 13—17.

Мамедага Ширали оглы Ширалиев. (К семидесятипятилетию со дня рождения). — Сов. тюркол., 1984, № 5, с. 87—89.

Основные этапы изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. — Востоковедение, 9. Филологические исследования. Учен. зап. Ленингр. ун-та, № 412. Сер. востоковедческих наук, вып. 25, 1984, с. 64—76.

Реорганизация Турецкого лингвистического общества. Новое научное общество Турции. — Сов. тюркол., 1984, № 3, с. 75—83.

Связь культур. — Известия, 1984, 21 июня.

Сергей Николаевич Иванов. — Востоковедение, 9. Филологические исследования. Учен. зап. Ленингр. ун-та, № 412. Сер. востоковедческих наук, вып. 25, 1984, с. 3—6. [Совместно с А. П. Векиловым и В. Г. Гузевым].

Слово о А. Х. Маргулане. — Білім және еңбек, Алма-Ата, 1984, № 4, с. 9. На каз. яз.

Тюркское языкознание в СССР. Итоги и перспективы. — В кн.: Фольклор, литература и история Востока. Материалы III Всесоюзной тюркологической конференции. Ташкент: «Фан», 1984, с. 24—43. [Совместно с Э. Р. Тенишевым и Э. И. Фазыловым].

Ред.: Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. М.: «Наука», 1984, 484 с.

Ред.: Толковый словарь языка произведений Алишера Навои. Т. III. Ташкент: «Фан», 1984, 622 с. [Совместно с др.]. На узб. яз.

Ред.: Тюркологический сборник. 1978. М.: «Наука», 1984, 269 с.

Ред.: Фольклор, литература и история Востока. Материалы III Всесоюзной тюркологической конференции. Ташкент: «Фан», 1984, 422 с. [Совместно с др].

1985 г.

Четверть века серийных публикаций письменных памятников Востока. — Народы Азии и Африки, 1985, № 2, с. 155—168. [Совместно с О. К. Дрейером, Э. Н. Темкиным, С. С. Цельникером].

Рец.: *Баскаков А. Н.* Предложение в современном турецком языке. М.: «Наука», 1984, 200 с. — Сов. тюркол., 1985, № 1, с. 90—92.

Рец.: Турецко-русский словарь. (Неологизмы). Составитель Антелава Г. И., Тбилиси: «Мецниереба», 1985, 167 с. — Сов. тюркол., 1985, № 2, с. 86—87.

Ред.: *Баскаков Н. А.* Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М.: «Наука», 1985, 207 с.

Ред.: Вопросы советской тюркологии. IV Всесоюзная тюркологическая конференция. 10—12 сентября 1985 г. Ашхабад. Тезисы докладов и сообщений. Ашхабад, 1985, 337 с. [Совместно с др.]

Ред.: *Петросян Ю. А.* Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи. (Конец XVIII—нач. XX вв.). М.: «Наука», 1985, 144 с.

Ред.: Тюркологический сборник. 1979. Османская империя: проблемы истории и источниковедения. М.: «Наука», 1985, 173 с.

ДОПОЛНЕНИЕ *

Задачи кафедры тюркской филологии. [Изложение доклада на заседании Ученого совета Восточного факультета ЛГУ]. — Вестн. Ленингр. ун-та, 1951, № 7, с. 108—109.

Вопросы изучения турецкого языка. — Учен. зап. Ин-та востоковедения АН СССР, 1952, т. IV, с. 147—164.

Составил *А. П. Векилов*

* К «Хронологическому указателю трудов А. Н. Кононова». — В кн.: Андрей Николаевич Кононов: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. М.: «Наука», 1980, вып. 13.

А. Д. Желтяков

АКАДЕМИК А. Н. КОНОНОВ КАК ИСТОРИК РУССКОГО И СОВЕТСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Все, кто знает Андрея Николаевича Кононова, особенно его ученики и коллеги по работе, не раз имели возможность убедиться в его обширных знаниях, глубокой эрудированности в вопросах истории культуры и науки нашей Родины. Будучи филологом-востоковедом, исследователем тюркских языков и памятников тюркской письменности по преимуществу, А. Н. Кононов вместе с тем внес крупный вклад в изучение истории отечественного востоковедения, особенно истории становления и развития русской и советской тюркологии.

Для человека любой науки интерес к «матери наук» — истории — не прихоть праздного ума. Всякий ученый, особенно крупный, в процессе занятий определенной областью человеческих знаний неизбежно сталкивается с потребностью, необходимостью не только познать итоговый результат исследований предшественников, но и проследить сам путь их научных поисков, нередко весьма тернистый, представить живых людей, которые по нему прошли, и условия, в которых протекало их творчество. Объясняя главные причины, побудившие его обратиться к изучению истории русского востоковедения, А. Н. Кононов писал: «История любой дисциплины не только напоминает о пройденном пути, успехах и неудачах тех, кто проделал его, но и указывает направление, а часто и способы дальнейших поисков и предостерегает исследователей от повторения ошибок, сделанных предшественниками».[1] Вся творческая биография автора этих слов, крупного организатора и признанного главы советской тюркологии, доказывает, что изучение истории развития науки — важнейшее условие дальнейшего движения вперед.

В нашей научной печати уже отмечалось особое место А. Н. Кононова в создании историографических трудов по востоковедению, особенно по тюркологии.[2] В предлагаемой статье сделана попытка дополнить обзор деятельности ученого в этой области, не претендуя при этом на исчерпание темы.

Как знаток и исследователь истории отечественного востоковедения А. Н. Кононов впервые выступил не с печатными трудами,

а в своих лекционных курсах, в занятиях со студентами турецкого отделения Восточного факультета Ленинградского университета. Во всяком случае, именно так начиналось знакомство с этой материей для нас, студентов первого послевоенного приема, когда решением правительства в ЛГУ было восстановлено комплексное изучение языков, литератур и истории Востока на факультетском уровне. Во второй половине 40-х годов А. Н. Кононов, тогда доцент, затем профессор кафедры тюркской филологии в общих и специальных своих курсах и на практических занятиях по турецкому языку, — а то было время, когда Андрей Николаевич вел и грамматику, и перевод текстов, и разговорный язык и мы встречались с ним в аудитории едва ли не каждый день, — познакомил нас со многими фактами истории отечественной тюркологии, смежных областей востоковедения (арабистики, иранистики, монголоведения), с биографиями ученых, прославивших русскую и советскую ориенталистику. Чаще всего это были запоминающиеся своими яркими подробностями, деталями рассказы о людях науки и их трудах, и мы воспринимали их как наставление и призыв. В самом высоком смысле эти лекции А. Н. Кононова были глубоко патриотичными. Читая позднее опубликованные работы А. Н. Кононова, я увидел, что именно на нас, студентах 40-х годов, были апробированы те идеи, которые много лет спустя оформились в целое направление в творчестве ученого. Начиная с того времени в течение последующих десятилетий А. Н. Кононов постоянно накапливал и фактический материал для своих историко-научных трудов.

Сказанное выше объясняет неслучайность того факта, что первая серия печатных работ А. Н. Кононова по истории русского и советского востоковедения появилась в середине 50-х годов, когда Восточный факультет ЛГУ отмечал столетний юбилей своего основания.[3] В статьях, связанных с этим важным в истории отечественной науки событием, А. Н. Кононов дал обстоятельный обзор основных этапов становления петербургского и ленинградского университетского востоковедения начиная с основания университета, характеризовал созданный в 1855 г. Факультет восточных языков (ФВЯ) как крупнейший учебный и научный востоковедный центр страны. Уже в этих публикациях А. Н. Кононов подвел некоторые итоги развития не только университетского и петербургского, но и всего русского востоковедения дооктябрьского периода. Развивая и уточняя известное высказывание В. В. Бартольда о выдающемся месте русского востоковедения в мировой ориенталистике,[4] он писал, что дореволюционное «русское востоковедение создало такие разделы ориенталистики, как кавказоведение, монголоведение, тюркология, внесло свой крупный вклад в развитие арабской, иранской, китайской, индийской, семитической филологии, сделало крупные успехи в египтологии, ассириологии и эфиопской филологии. Русские востоковеды вообще и ФВЯ в частности пришли к Октябрьской революции с общепризнанными достижениями».[5]

В этих же работах А. Н. Кононова были прослежены основные направления изучения Востока и преподавания востоковедных дисциплин в Ленинградском университете в послеоктябрьский период, определены свойственные всей советской науке качественные изменения в тематике и методологии исследований по истории и культуре народов Востока при сохранении и использовании лучших традиций и техники историко-филологического метода, выработанного выдающимися востоковедами прошлого. Здесь следует особо отметить, что как профессор и заведующий кафедрой тюркской филологии (1949—1972) и декан Восточного факультета (1953—1954) А. Н. Кононов принимал самое деятельное участие в той реорганизации университетского востоковедения 50-х годов, которая по праву должна считаться важной вехой в истории советской ориенталистики. В частности, он проявил инициативу в том, чтобы Восточный факультет ЛГУ был переведен на индивидуальный учебный план, в организации, впервые в стране, преподавания и подготовки молодых специалистов по новым, актуальным специальностям: бирманская, вьетнамская, индонезийская филология, семитология и ряд других.

Разработка вопросов истории отечественного востоковедения была продолжена А. Н. Кононовым в специальных разделах, опубликованных в фундаментальном труде по истории Академии наук СССР.[6] В этом труде А. Н. Кононов дал обстоятельный очерк становления и развития учебно-практического и научного востоковедения в России от преобразовательной деятельности Петра I до Октябрьской революции, выделил особую роль Азиатского музея, ФВЯ С.-Петербургского университета и Восточного отделения Русского археологического общества в организации ориенталистических исследований, накоплении рукописных и книжных фондов, формировании научных экспедиций, что в совокупности уже в середине XIX в. обеспечило русскому востоковедению крупный успех «в изучении Китая, Монголии, Средней Азии, Кавказа, Ирана, Афганистана в историческом, географическом, этнографическом и лингвистическом отношениях»,[7] а в конце столетия поставило его «в один ряд с лучшими европейскими ориенталистическими национальными школами».[8]

На основе проведенного им тщательного анализа деятельности крупнейших российских востоковедов, занимавшихся одновременно языками, литературами и историей народов Востока, А. Н. Кононов показал комплексный характер научного востоковедения в России, его филологическую основу. «Все востоковеды, — писал он, — без различия их непосредственных интересов и узкой специализации, были филологами по приемам и методам исследования».[9] И хотя во второй половине XIX в. в русском востоковедении стала намечаться закономерная тенденция к выделению самостоятельных дисциплин — восточного языкознания, истории, истории культуры, литературы, религий народов Востока, — филологический метод, предполагавший обязательное владение материалом на языке изучаемой страны (чаще региона)

Востока, сохранялся, являясь первым и необходимым залогом оригинальности научного исследования в любой области и специализации ориенталистики. Спустя двадцать лет, подчеркивая важность высокой филологической подготовки востоковеда, А. Н. Кононов напишет, что «только восточная филология во всех ее многочисленных проявлениях делает востоковеда востоковедом, что не всегда достаточно понимают в наше время».[10] Эта же мысль проводится ученым и в ряде других работ.[11]

В трудах А. Н. Кононова выработаны принципиальные, концептуальные положения и выводы о месте и роли русского востоковедения в истории мировой ориенталистики. Один из таких фундаментальных выводов трактует русскую ориенталистику как составную часть передовой общественной мысли дореволюционной России. Анализируя содержание как исследовательских работ, так и учебной подготовки в области востоковедения России того времени, А. Н. Кононов подчеркивал: «Русское востоковедение, в частности университетское, отличалось прогрессивными устремлениями; ему не был свойственен расизм, широко распространенный на Западе. Русское университетское востоковедение, в отличие от западной университетской ориенталистики, не было связано ни с богословскими, ни с миссионерскими целями; оно было светским и научным. На русское востоковедение, на передовую часть его представителей оказало свое влияние прогрессивное, гуманистическое направление общественной мысли тогдашней России. В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов проявляли неустанный интерес к Востоку, всегда с чувством глубокой симпатии относились к порабощенным народам. Благотворное влияние русских революционных демократов испытали на себе многие выдающиеся деятели русского востоковедения».[12]

Выработанные на фактах истории всего русского академического и университетского востоковедения концепции и выводы были развиты и детализованы А. Н. Кононовым в его работах по истории отечественной тюркологии, изучение которой является главным направлением историографических исследований ученого. Первые публикации А. Н. Кононова в этой области были посвящены истории изучения турецкого и других тюркских языков в доoктябрьской России.[13] Он объяснил в них причины особого, часто вынужденного обстоятельствами исторического развития России интереса русских людей к языкам и народам Востока, в первую очередь тюркским; он показал, что целенаправленное их изучение в России было положено мероприятиями Петра I, который первым понял, что «всестороннее изучение Востока является для России предприятием первостепенной важности и что для изучения Востока необходимо создать прежде всего кадры специалистов-востоковедов»,[14] отметил исключительную важность первых достижений русской тюркологии XVIII в. (собирание материалов, накопление опыта преподавания, составление тюркских словарей и грамматик) для ее признанных успехов в XIX—XX вв.[15]

Многолетние научные изыскания в этой области востоковедения были обобщены А. Н. Кононовым в его фундаментальном монографическом исследовании по истории изучения тюркских языков в России в дооктябрьский период, вышедшем двумя изданиями в 1972 и 1982 гг.[16] Этот труд сразу получил высокую оценку в рецензиях и работах советских тюркологов.[17] Он стал важным пособием для любого специалиста, занимающегося историей, этнографией, литературами и языками тюркских народов, а также историей русской науки, изучением культурных и научных связей России с османской Турцией и другими странами Востока. В шести главах книги (второго издания) прослеживаются предыстория русской тюркологии (до начала XVIII в.), зарождение научной тюркологии в России (начало XVIII в.), развитие тюркского языкознания в Академии наук (XIX—начало XX в.), преподавание тюркских языков в русских учебных заведениях (XVIII—начало XX в.), дается обзор основных тюркских грамматик, словарей, учебных пособий, экскурс в изучение отдельных тюркоязычных памятников, классификация тюркских языков в трудах отечественных ученых той поры, характеризуются основные направления их изучения. Все эти и некоторые другие вопросы рассматриваются в нашей (и мировой) науке в их взаимосвязи впервые. Как справедливо отмечает сам автор, до выхода его труда в нашей историографии нельзя было «назвать ни одной книги, в которой история изучения тюркских языков в России излагалась бы систематически с момента ее зарождения. . . до Великой Октябрьской социалистической революции».[18]

Однако научное и справочно-познавательное значение этой монографии А. Н. Кононова отнюдь не только в том, что в ней впервые изложена фактическая история становления и развития тюркологических знаний в России до начала XX столетия, хотя это само по себе требовало и большого труда, и разносторонней эрудиции. Не повторяя того, о чем писали рецензенты, необходимо отметить еще одно важное достоинство названной книги. Для написания своего труда А. Н. Кононов привлек большое число самых разнообразных источников, включая правительственные акты, прессу, материалы государственных учреждений, деятелей науки, а также обширную специальную и общеисторическую литературу. В результате поэтапное аналитическое обозрение развития русской тюркологии предстает перед читателем как органическая часть истории общественной, научной и культурной жизни России. Развитие тюркологических знаний, прослеженное на протяжении многих веков, позволяет судить и об общем процессе культурной эволюции русского общества, и о степени его осведомленности о соседних, восточных народах и странах, об отношении его к происходившим там событиям. Тем самым сделан немалый шаг в изучении не одного только востоковедения России, но и в целом отечественной науки и культуры.

Ценным дополнением к этой монографии явился созданный под руководством и при активном участии А. Н. Кононова био-

библиографический словарь отечественных тюркологов.[19] Помимо обширного введения (с. 9—90), характеризующего в более сжатом, чем в монографии, виде историю изучения тюркских языков в России, А. Н. Кононов написал для «Словаря» свыше 60 статей о ведущих тюркологах, деятельность которых протекала целиком или начиналась в дореволюционную пору. В совокупности эти две книги представляют своеобразную научную энциклопедию по основным вопросам истории русской тюркологии и настольный справочник об ученых-тюркологах, их трудах, научных и учебных центрах и учреждениях, в которых изучали и преподавали тюркские языки.[20]

Самое пристальное внимание А. Н. Кононов уделяет изучению истории востоковедения и преподавания востоковедных дисциплин в нашей стране в послеоктябрьскую эпоху. Только по проблемам истории тюркской филологии в научных и учебных центрах СССР им опубликовано свыше 20 работ (статей, докладов, брошюр, книг).[21] В этих работах на большом фактическом материале и с присущей ученому основательностью раскрыта огромная научная и практическая значимость тюркского языкознания и ряда других тюркологических дисциплин для строительства нового, советского государства. В обобщающем аналитическом обзоре развития тюркской филологии за 50 лет Советской власти А. Н. Кононов писал: «Великая Октябрьская социалистическая революция, возродившая к активной жизни отсталые народы и народности России, поставила перед советской тюркологией новые сложные задачи. Претворение в жизнь ленинской национальной политики на Советском Востоке оказало самое непосредственное воздействие на развитие отечественного востоковедения в целом, в том числе на развитие советской тюркологии».[22] Общегосударственная значимость тюркской филологии в СССР, подчеркивал ученый, определяется тем, что на тюркских языках говорит население пяти союзных и шести автономных республик, они являются родными для ряда народностей во многих других районах страны. В целом «тюркские языки в СССР по численности говорящего на них населения занимают второе место после славянских языков».[23]

В названном выше обзоре А. Н. Кононов проследил в главных чертах этапы развития тюркологии за годы Советской власти, характеризовал организационные мероприятия Советского государства в реорганизации старых и создании новых востоковедных, в том числе тюркологических научных центров и учебных заведений, отметил заслуги советских тюркологов в создании новой письменности для тюркоязычных народов и народностей СССР, подчеркнул подъем тюркологических исследований в национальных республиках Советского Востока, формирование там собственных национальных кадров ученых-тюркологов, что поставило в порядок дня задачу объединения сил традиционных и новых центров востоковедения для решения общих научных и практических проблем. В этой работе А. Н. Кононов подвел главные

итоги исследовательской деятельности советских тюркологов в таких основных направлениях, как фонетика и грамматика современных тюркских языков, лексикография и лексикология, диалектография и диалектология, история формирования тюркских национальных языков, изучение и издание памятников тюркской письменности, историческая фонетика и грамматика тюркских языков и сравнительно-историческая фонетика и грамматика групп тюркских языков, «алтайская теория» и тюркское языкознание, описание тюркоязычных рукописей библиотек СССР, история и библиография отечественной тюркской филологии.[24] Самостоятельный интерес для историографии советской тюркологии имеет приведенная в конце брошюры, в сущности исчерпывающая библиография трудов, опубликованных тюркологами нашей страны за полвека.[25]

К 60-летию Октября эта капитальная по содержанию публикация была дополнена новым аналитическим обзором, который не только подводил итоги работы советских тюркологов за прошедшее десятилетие, но и формулировал (в 14 пунктах) программу новых исследований на ближайшую перспективу.[26] За это время в научной жизни советских тюркологов произошли два важных события: благодаря инициативе и организаторской деятельности А. Н. Кононова в 1970 г. начал выходить всесоюзный тюркологический журнал «Советская тюркология», а в 1973 г. при Отделении литературы и языка АН СССР был создан Советский комитет тюркологов.[27]

Помимо рассмотренных выше и некоторых других общих и по необходимости сравнительно кратких обозрений развития тюркской филологии в стране в целом [28] А. Н. Кононов написал ряд работ о тюркологических исследованиях и подготовке кадров тюркологов в его родном городе — Ленинграде, уделив при этом особое внимание научным связям и помощи, которую оказали ленинградские тюркологи становлению тюркологии в национальных республиках и областях. Подчеркивая общность задач, объединяющих ленинградских ученых в единое целое со всей советской тюркологией, он подчеркнул и их особую ответственность в изучении коллекций тюркских письменных памятников, хранящихся в библиотеках Ленинграда.[29]

С многолетней научной и педагогической деятельностью А. Н. Кононова в Ленинграде связаны и две его крупные историографические работы, опубликованные в 70-х годах. Ровно полвека он преподавал турецкий язык сначала в Ленинградском Восточном институте (ЛВИ), затем в ЛГУ. К истории изучения турецкого языка А. Н. Кононов неоднократно обращался в своих университетских курсах. В результате возник «Очерк истории изучения турецкого языка» — книга, которую сам автор считает «конспективным изложением уже имеющегося фактического материала, собранного мной в течение многих лет занятий турецким языком».[30] В этом «Очерке» [31] А. Н. Кононов дает сжатое обозрение истории изучения турецкого языка в странах Европы (Италия, Франция,

Австрия, Германия, Англия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, Чехословакия, Югославия, Финляндия, Норвегия, Дания), в России и СССР, в Турции, в США и Японии, а также лаконичную справку об изучении турецких диалектов и (в приложениях) списки опубликованных в России и СССР грамматик, монографий, учебников, разговорников, словарей, основных библиографических справочников по турецкому языкознанию и защищенных диссертаций. Включение в «Очерк» столь значительного библиографического материала при том, что сама книга написана на основе свыше 300 различных публикаций источников и исследований на русском, турецком и западных языках, делает ее особенно полезной для историков востоковедения, всех туркологов. Как и в других своих историографических работах, А. Н. Кононов увязывает факты истории изучения языка, в данном случае турецкого, с событиями общественно-политической и культурной жизни соответствующих государств. Он стремится показать причины, побудившие соседние с Турцией или отдаленные страны и народы обратиться к изучению турецкого языка, в ряде случаев отмечает факторы, определившие переход от чисто практического усвоения турецкого языка к научным исследованиям в области турецкого языкознания. Автор подчеркивает новаторский характер вклада русских и советских ученых в изучение турецкого языка. Он дает характеристики грамматических школ в средневековой османской Турции и подробно останавливается на особенностях движения за демократизацию турецкого языка в Турецкой республике. В «Очерке» отмечены этапы эволюции письменно-литературного турецкого языка,[32] а также характерные черты турецкого языкознания в Турции.[33] Связывая эти процессы с переломными событиями в истории турецкого общества и государства, «Очерк» способствует более глубокому пониманию ряда проблем историко-культурного развития Турции. Отрадно отметить, что в настоящее время А. Н. Кононов готовит второе, значительно расширенное издание этого труда.

Вторая книга, возникшая из опыта научно-педагогической деятельности А. Н. Кононова в Ленинграде, посвящена истории Ленинградского Восточного института.[34] А. Н. Кононов составил общий план этой книги, написал предисловие, введение, заключение, все основные главы и отредактировал разделы, представленные его соавтором И. И. Йоришем. В ней прослежена история ЛВИ от основания до ликвидации (1920—1938 гг.), охарактеризованы организационная структура, содержание программ и учебного процесса, различные научные и учебные учреждения, существовавшие при институте. В ЛВИ, как показано в книге, были собраны лучшие востоковедные силы страны того периода, в результате чего он воспитал первый отряд востоковедов-практиков и исследователей — «специалистов советской формации»,[35] обеспечил подготовку и издание большого числа учебных пособий (грамматик, словарей, хрестоматий) и монографий по истории, экономике, литературам и языкам народов Востока. Опыт его деятель-

ности был учтен в послевоенный период, когда в связи с резким расширением и углублением деловых, дружеских отношений СССР с государствами зарубежной Азии и Африки в стране был организован ряд новых вузов по подготовке востоковедных кадров.[36]

За годы своей многоплановой научной деятельности А. Н. Кононов неоднократно обращался к изучению выдающихся памятников тюркской письменности, имеющих прямое отношение к истории тюркских народов. Он выступает как тюрколог-историк и историограф востоковедения во введении к публикации текста в своей докторской диссертации «Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского», в статьях, посвященных изучению сочинения того же автора «Родословная тюрок» и «Словаря тюркских наречий» Махмуда Кашгарского, в послесловии к изданию выполненного С. Н. Ивановым перевода поэмы Юсуфа Баласагунского «Благодатное знание»,[37] а также многих трудах советских историков, литературоведов, лингвистов, опубликованных под его редакцией, в рецензиях.[38]

Оценка вклада А. Н. Кононова в разработку истории отечественного востоковедения требует обязательного учета еще по меньшей мере двух аспектов его научной деятельности: 1) создание им галереи творческих портретов русских и советских ориенталистов, в том числе тюркологов, 2) ознакомление зарубежных научных кругов с достижениями отечественного востоковедения, русской и советской тюркологии.

Трудно переоценить научное и общественное значение хорошо известных востоковедам разных специальностей статей А. Н. Кононова о тех, кто своим упорным трудом и талантом прославил русскую и советскую ориенталистику, прежде всего отечественную тюркологию. Даже простое перечисление имен — В. В. Бартольд, Б. Я. Владимирцов, А. Н. Генко, С. С. Джикия, В. М. Жирмунский, И. А. Киссен, Н. И. Конрад, И. Ю. Крачковский, Д. А. Магазаник, С. Е. Малов, А. Е. Мартынцев, П. М. Мелиоранский, М. С. Михайлов, А. П. Поцелуевский, В. В. Розен, А. Н. Самойлович, Э. В. Севортян, Х. Д. Френ — показывает, что А. Н. Кононовым написана еще одна история отечественного востоковедения — в биографиях ученых, деятельность которых отражает определенную ступень в развитии русской и советской ориенталистики — тюркологии, арабистики, иранистики, японоведения, изучения истории, литературы, языков и культуры стран Востока.[39]

Здесь нет ни возможности, ни необходимости вдаваться в рассмотрение каждого из посвящений, будь то памятное «Слово» или юбилейное чествование. Хотелось бы только подчеркнуть, что выполнение этой благородной задачи, которую добровольно и с полным осознанием ответственности возложил на себя А. Н. Кононов, требует от автора гражданского мужества, большой востоковедной эрудиции, знания эпохи и проблем и достижений разных отраслей востоковедения на определенном этапе их развития, наконец, владения научным методом оценки роли личности в исто-

рии. Этот метод исследования творческого пути деятелей науки, их вклада в ее развитие лучше всего характеризуют слова, написанные А. Н. Кононовым в одной из статей о В. В. Бартольде: «Для объективной оценки вклада любого ученого в развитие науки необходимо иметь ясное представление о состоянии данной отрасли науки до него. . . Оценка научного наследия и научной деятельности любого ученого требует. . . строго диалектического подхода, учитывающего факторы времени и места, то есть условий, в которых происходило формирование научного мышления ученого».[40] Высшими качествами ученого А. Н. Кононов называет стремление к истине, патриотизм, готовность отдать свои знания людям, то есть общественную пользу его деятельности. Именно с этих позиций и освещает он в своих памятных статьях личность, жизнь и труды подвижников русской и советской ориенталистики.

Широко известны и признаны заслуги А. Н. Кононова в пропаганде достижений отечественного востоковедения, русской и советской тюркологии за пределами нашей Родины. Он выполнял и продолжает выполнять эту высокую миссию как активный участник ряда международных конгрессов и совещаний востоковедов, как член многих иностранных национальных и международных востоковедных обществ: Турецкого лингвистического общества (с 1957 г.), Научного общества венгерских ориенталистов (с 1970 г.), Венгерской Академии наук (с 1973 г.), Королевского Азиатского общества Великобритании и Ирландии (с 1974 г.), Польского товарищества востоковедов (с 1974 г.), Международного комитета доосманских и османских исследований (с 1974 г.), Финно-угорского научного общества (с 1974 г.), Финской Академии наук и литературы (с 1977 г.), Почетного комитета Лингвистического атласа Европы (с 1977 г.), Общества Урало-Алтаика (с 1982 г.). В 1976 г. Постоянная интернациональная алтаистическая конференция за успехи в алтаистических исследованиях наградила А. Н. Кононова золотой медалью Индианского университета (Блумингтон, США), а в 1978 г. он был удостоен диплома Турецкого лингвистического общества за успехи в изучении тюркских языков.

Существенным вкладом в ознакомление зарубежной научной общественности с историей и достижениями отечественного востоковедения явились доклады А. Н. Кононова на XXV и XXVII международных конгрессах востоковедов и на других международных научных форумах ориенталистов, а также его обзорные статьи по этим вопросам, опубликованные в иностранных, в том числе турецких, научных периодических изданиях.[41] Они показывают, что во многих областях востоковедения и прежде всего в тюркологии советские ученые занимают лидирующее место в мировой ориенталистике.

Большая трудовая научно-педагогическая, организационная и общественная деятельность А. Н. Кононова высоко оценена Родиной, неоднократно отмечалась правительственными наградами.

Даже краткое обозрение публикаций А. Н. Кононова по истории русского и советского востоковедения показывает, сколь многоплановы и разнообразны его творческие интересы. Но при всем их разнообразии эти, как и другие его научные труды, отличает одно свойство — основательность, фундаментальность. В этом ярко отражаются свойства не только таланта, но и личности А. Н. Кононова как человека. Будучи сам неутомимым тружеников, Андрей Николаевич взыскателен и строг в работе, не терпит праздности. В то же время он всегда готов прийти на помощь советом и делом добросовестному, старательному ученику, содействовать научному росту своих младших коллег. Требовательность прежде всего к самому себе, организованность, обязательность и нелицеприятность наряду с признанным научным авторитетом обеспечивают А. Н. Кононову искреннее уважение учеников и товарищей по работе.

Таким образом, в лице А. Н. Кононова советская наука имеет достойного продолжателя дела славной когорты историографов отечественного востоковедения П. С. Савельева, В. В. Григорьева, Н. И. Веселовского, В. В. Бартольда и И. Ю. Крачковского. Все, кому дорого поддержание добрых традиций русской и советской ориенталистики, история которой дает неисчерпаемый материал для воспитания востоковедов нового поколения на примерах жизни и творческого служения науке их предшественников и учителей, горячо желают академику Андрею Николаевичу Кононову новых успехов и открытий в исследовании истории отечественного востоковедения, истории русской и советской тюркологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Кононов А. Н.* История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период. Л., 1972, с. 8.

[2] *Лунин Б. В.* Академик А. Н. Кононов — историограф отечественной тюркологии и востоковедения. — СТ, 1976, № 3, с. 72—77; *Иванов С. Н.* О научной и педагогической деятельности Андрея Николаевича Кононова. — В кн.: Turcologica: К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976, с. 10.

[3] *Кононов А. Н.* 1. Столетие Восточного факультета Ленинградского университета (1855—1955). — СВ, 1956, № 2, с. 83—90; 2) Крупнейший центр советского востоковедения.— Вестн. высш. школы, 1956, № 2, с. 32—36; 3) Восточный факультет Ленинградского университета (1855—1955). — Вестн. ЛГУ, 1957, № 8, вып. 2, с. 5—22; 4) Восточный факультет Ленинградского университета. — В кн.: Востоковедение в Ленинградском университете. Л., 1960, с. 3—31.

[4] *Бартольд В. В.* История изучения Востока в Европе и России. Изд. 2-е. Л., 1925, с. 232.

[5] *Кононов А. Н.* Восточный факультет Ленинградского университета, с. 22.

[6] *Кононов А. Н.* Востоковедение. — В кн.: История Академии наук в трех томах. Т. 1 (1724—1803), М.; Л., 1958, с. 406—410; Т. 2 (1803—1917), М.; Л., 1964, с. 218—227, 621—634.

[7] *Кононов А. Н.* Востоковедение. — В кн.: История Академии наук СССР, т. 2, с. 227.

[8] Там же, с. 627.

[9] Там же, с. 633.

[10] *Кононов А. Н.* Академик Игнатий Юлианович Крачковский: (К столетию со дня рождения: 1883—1951). — Изв. АН СССР, Сер. лит. и яз. 1983, т. 42, № 4, с. 377.

[11] См., например: *Кононов А. Н.* Столетие Восточного факультета. . ., с. 86.

[12] Там же, с. 87.

[13] *Кононов А. Н.* 1) Из истории изучения турецкого языка в России (до XX столетия). — В кн.: Научная сессия 1952—1953 гг. (ЛГУ): Тезисы докладов по секции востоковедческих наук. Л., 1953, с. 4—5; 2) Из истории отечественной тюркологии. — Учен. зап. ИВАН, 1953, т. 6, с. 269—275; 3) К истории русской тюркологии (до XX в.). — В кн.: Исследования по истории культуры народов Востока: Сб. в честь академика И. А. Орбели. М.; Л., 1960, с. 202—214.

[14] *Кононов А. Н.* К истории русской тюркологии. . ., с. 206.

[15] Там же, с. 214.

[16] *Кононов А. Н.* История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период. Л., 1972; изд. 2-е, исправл. и допол. Л., 1982 (далее ссылки на это издание).

[17] См., напр., рец.: Э. Н. Наджипа (СТ, 1972, № 5, с. 123—125) и Г. Ф. Благовой (НАА, 1973, № 3, с. 191—186); также: *Лунин Б. В.* Академик А. Н. Кононов. . ., с. 74—75.

[18] *Кононов А. Н.* История изучения тюркских языков в России, с. 10.

[19] Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов: Дооктябрьский период / Под ред. и с введением А. Н. Кононова. М., 1974.

[20] В Турции обе книги получили положительный отклик в рец. А. Дильачара: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 1975—1976. Ankara, 1976, s. 261—275.

[21] Их полный перечень на конец 70-х годов см. в кн.: Андрей Николаевич Кононов / Вступ. статья С. Н. Иванова. Библиография составлена А. П. Векиловым и Л. М. Жуковой. М., 1980, с. 29—46.

[22] *Кононов А. Н.* Тюркская филология в СССР. 1917—1967. М., 1968, с. 4.

[23] *Кононов А. Н.* Тюркская филология в Академии наук. — ВЯ, 1974, № 3, с. 38.

[24] *Кононов А. Н.* Тюркская филология в СССР, с. 9—24.

[25] Там же, с. 25—44.

[26] *Кононов А. Н.* Современное тюркское языкознание в СССР: Итоги и проблемы. — ВЯ, 1977, № 3, с. 13—26.

[27] Впервые вопрос о необходимости создания объединения советских тюркологов был поставлен А. Н. Кононовым еще в 1959 г. См.: *Кононов А. Н.* О некоторых вопросах дальнейшего развития тюркского языкознания в СССР. — Вестн. АН СССР, 1959, № 5, с. 140—141.

[28] См. примеч. 21.

[29] *Кононов А. Н.* 1) Тюркское языкознание в Ленинграде. 1917—1967. — ТС. 1970. М., 1970, с. 5—28; 2) Тюркология. — В кн.: Азиатский музей — ЛО ИВ АН СССР. М., 1972, с. 400—427.

[30] *Кононов А. Н.* Очерк истории изучения турецкого языка. Л., 1976, с. 3.

[31] Рец. на этот труд опубликовали: А. Курбанов и А. Шукюров (СТ, 1978, № 1, с. 103—106), A. Dilâçar (Türk Dili, Ankara, 1977, No. 312, s. 262—263), X. Celnaróva (Asian and African Studies. Bratislava, 1978, No. 14, p. 258—260), K. H. Menges (Ural-Altaische Jahrbücher, Wiesbaden, 1977, No. 49, S. 149—151), Hasan Eren (Türk Dili araştırmaları yıllığı. Belleten, 1978—1979, Ankara, 1981, s. 265—270).

[32] Капитально этот вопрос разработан А. Н. Кононовым в статье: К истории формирования турецкого письменно-литературного языка. — ТС, 1976. М., 1978, с. 256—287.

[33] Подробнее см.: *Кононов А. Н.* О тюркском языкознании в Турции. — НАА, 1965, № 6, с. 225—228.

[34] *Кононов А. Н., Иориш И. И.* Ленинградский Восточный институт: Страница истории советского востоковедения. М., 1977.

[35] Там же, с. 121.

[36] См. также рец. А. М. Куликовой (НАА, 1978, № 4, с. 239—240).

[37] *Кононов А. Н.* 1) Родословная туркмен: Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского. М.; Л., 1958, с. 7—32; 2) История приобретения, переводов, изданий и изучения сочинения Абу-л-Гази «Родословная тюрок». — СТ, 1971, № 1, с. 3—12; 3) Изучение «Дивану лугат ит-тюрк» Махмуда Кашгарского в Советском Союзе. — СТ, 1973, № 1, с. 3—9; 4) Поэма Юсуфа Баласагунского «Благодатное знание». — В кн.: Юсуф Баласагунский. Благодатное знание / Изд. подготовил С. Н. Иванов. М., 1983, с. 495—517.

[38] См. примеч. 21.

[39] *Кононов А. Н.* 1) Памяти А. П. Поцелуевского. — УЗ Ашхабадск пед. ин-та, 1951, т. 4, с. 161—165; 2) Памяти Сергея Ефимовича Малова (1880—1957). — НДВШ ФН, 1958, № 1, с. 172—174; 3) Михаил Семенович Михайлов: (К 70-летию со дня рождения). — НАА, 1966, № 2, с. 229—230; 4) Памяти Михаила Семеновича Михайлова. — НАА, 1969, № 6, с. 240—241; 5) Слово о Николае Иосифовиче Конраде: (К 75-летию со дня рождения). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1966, т. 25, вып. 2, с. 164—166; 6) А. Н. Генко — лингвист. — НАА, 1967, № 3, с. 219; 7) Памяти Дмитрия Афанасьевича Магазаника. — НАА, 1968, № 5, с. 210—212; 8) П. М. Мелиоранский и отечественная тюркология. — СТ, 1970, № 1, с. 16—23; 9) В. В. Бартольд — выдающийся востоковед: (К 40-летию со дня смерти). — СТ, 1970, № 6, с. 56—61; 10) Владимир Васильевич Бартольд. — НАА, 1971, № 1, с. 220—222; 11) Виктор Максимович Жирмунский как тюрколог. — СТ, 1971, № 5, с. 102—107; 12) В. В. Радлов и отечественная тюркология. — ТС. 1971. М., 1972, с. 7—15; 13) А. Н. Самойлович — грамматист. — СТ, 1973, № 5, с. 37—48; 14) А. Е. Мартынцев (некролог). — СТ, 1975, № 3, с. 125—126; 15) Слово о Эрванде Владимировиче Севортяне: (К 75-летию со дня рождения). — СТ, 1976, № 5, с. 100—102; 16) Сергей Симонович Джикия: (К 80-летию со дня рождения). — СТ, 1978, № 5, с. 108—109; 17) Академик Игнатий Юлианович Крачковский: (К 100-летию со дня рождения). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1983, т. 42, № 4, с. 374—382; см. также: ППИКВ, XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР, М., 1983, ч. 1, с. 11—24; 18) Слово о Х. Д. Френе. К 200-летию со дня рождения. — ППИКВ, XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР, М., 1983, ч. 1, с. 3—11; 19) Б. Я. Владимирцов — тюрколог. (1884—1931). — СТ, 1984, № 4, с. 44—52.

[40] *Кононов А. Н.* В. В. Бартольд — выдающийся востоковед, с. 56—58.

[41] *Кононов А. Н.* 1) Некоторые вопросы изучения истории отечественного востоковедения: XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1960; 2) Some problems relating to the Studyof the History of Orientology in the USSR. Moscow, 1960, 33 p.; 3) Turkic Linguistics in the USSR (Problems in Retrospect): XXVII International Congress of Orientalists Papers presented by the USSR delegation. Moscow, 1967, 13 p.; 4) Turkic Philology: Fifty years of Soviet Oriental Studies. Moscow, 1967, 53 p.; 5) Török Filologia a Szovijetunióban 1917—1962 (Изв. отдела языкознания и литературоведения Венгерской АН, 1, 1967, № 24, с. 3—28); 6) Türkische Philologie in der UdSSR: 1917—1967. — Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. Bd. XVII, H. 2, Berlin, 1971, S. 293—317; 7) Altaic Linguistics in the USSR: A brief Survey. — Permanent International Altaistic Conference. News Letter, No. 7, 1972, p. 9—21; 8) А. Н. Кононов. Тюркское языкознание в СССР: Некоторые итоги 1973—1976 гг. — In: Altaica. Proceedings of the 19th annual meeting of the permanent international altaistic conference. Held in Helsinki 7—11 June 1976. Helsinki, 1977, p. 143—156; 9) A. N. Kononov 1) Son yıllarda SSCB'nde Türkoloji Araştırmaları. — In: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. 1964. Ankara, 1965, s. 113—126; 10) Sovyetler Birliğinde Kaşgârlı Mahmut'un Divanın konu alan araştırmaları. — In: Türk Dili Bilimsel Kurultayında Sunulan Bildiriler, 1972. Ankara, 1975, s. 393—399; 11) SSCB'de Türkiye Türkçesi dilbiliminin elişmesi. — In: Nesin Vakfı. Edebiyat yıllığı, 1979. İstanbul, 1979, s. 441—451.

Ф. Д. Ашнин

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, ИЛИ КТО СТОИТ ЗА КРИПТОНИМОМ?

15 апреля 1850 года в столичной газете «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 86, с. 345—347) в ее подвальной, или, как тогда говорили, фельетонной, части под рубрикой «Библиография» за подписью М. Т. появилась рецензия на первый печатный труд бакалавра Казанской духовной академии Алексея Александровича Бобровникова «Грамматика монгольско-калмыцкого языка» (Казань, в Унив. типографии, 1849. VIII+400 с. в 8-ю д. л.). В ней говорилось:

«Имя монголов приобрело себе грозную известность со времен Чингисхана: в продолжение многих лет после Легницкой битвы Европа тревожилась отдаленным эхом этого имени и, чтоб ближе узнать опасного врага, отправляла в Среднюю Азию наблюдательных послов. Но до Чингисхана поколение монгол в числе многих других, кочевавших в Средней Азии, было незаметно, и, может быть, если б не явился в фамилии Борджигинов (родовое прозвание Чингисхановой фамилии) этот герой-законодатель, монголы остались столь же незаметными в истории, как и хонкираты, найманы, кереиты, джалаиры и прочие племена, исчисляемые подробно мусульманским историком монголов Рашид-Эддином. По свидетельству одного европейского ориенталиста [*Schott*. Ältesten Nachrichten von Mongolen und Tataren. Berlin, 1846, S. 9], народ монг-у упоминается в китайских летописях в первый раз в истории династии Тан (618—907): конечно, как ближайшие соседи, китайцы не пропустили бы без внимания монгольскую нацию, если бы она раньше существовала самобытно и была бы многочисленна. Да и самое неведение русских летописцев имени монгол при первой встрече орд Чингисхановых с нашими войсками подтверждает ту истину, что поколение монгол приобрело себе имя и известность уже при преемниках Чингиса, а до того времени представителем этого несколько незвучного имени служило незначительное кочевое племя. Соединив под свои знамена несколько родственных или чуждых между собою племен и слив их в одну империю, Чингисхан и его преемники прикрыли это добровольное или насильственное соединение

общим именем монгол, именем того племени, к которому принадлежали сами. Факт весьма замечательный, но нимало не подверженный сомнению: ничтожное по отношению к огромному пространству покоренных стран племя господствует от Восточного океана до берегов Адриатики!

В общей истории человеческого рода монголы занимают пока незавидное и притом тесное место: явившиеся, как метеор, из родных степей на короткое время в Европу, оставившие после себя разрушительный след, не принявшие заметного участия в общем развитии образования и сохранившие кочевую жизнь своей родины, монголы скорей замечательны с отрицательной стороны в успехах гражданственности. Но для русской истории монголы, два века господствовавшие над Русью, составляют достойный изучения предмет, тем более что еще до появления монголов на Калке Русское государство находилось то в дружественных, то в неприязненных отношениях со многими тюркскими племенами, приходящимися в близком родстве монголам. Но исторический путь изучения бывших повелителей России пока темен: хотя мы уже имеем Д'Оссонову „Histoire des Mongols“, Шмидтову „Geschichte des Ost-Mongolen“, Гаммерову „Geschichte der Golden Horde“, Иакинфову „Историю четырех ханов“ и проч., однако лучший без всякого сомнения исторический источник о монголах — Рашид-Эддинова летопись „Собрание хроник“ доныне вполне неизвестна, да и многочисленные сочинения, указанные С.-Петербургской Академией наук для истории монголов, еще не просмотрены критически. Остается пока издавать источники монгольской истории и изучать живой народ.

В этом последнем отношении русские ориенталисты оказали ученому миру незабвенные услуги: по части этнографико-исторической мы имеем труды Палласа, Тимковского, о. Иакинфа, Шмидта и других, а по филологии монгольской изданы в России впервые и доныне единственные пособия к изучению монголо-калмыцкого языка: академика Шмидта, монгольская грамматика (на немецком и русском языках), его же монголо-немецко-русский и русско-немецко-монгольский словарь, профессора Ковалевского — грамматика книжного монгольского языка, монгольская хрестоматия и монголо-французско-русский словарь и профессора Попова — грамматика калмыцкого языка и монгольская хрестоматия.

При таких обильных пособиях, по-видимому, издание новых руководств к изучению монгольского слова должно бы казаться излишним или по крайней мере неуместною роскошью, но это только кажущееся излишество: занимавшемуся монгольским языком неудобства или недостатки изданных пособий, при неотъемлемых и даже блестящих достоинствах их, обнаруживаются по внимательном наблюдении. Так, все грамматики монгольского языка грешат тем, что они излагают лишь правила книжного языка и притом пригнанные в европейскую рамку; г. Попов впал еще в неизвинительную погрешность — изобретши калмыцкий

язык, который на деле не существует, а существует лишь калмыцкое наречие, не говоря о многих других недостатках его труда. [Изданная в одно время с грамматикой г. Попова, Калмыцкая грамматика Иеллиха в ученом отношении стоит несомненно выше, но труд русского профессора превосходит с практической стороны. — Кроме этих грамматик была еще объявлена: Grammaire raisonnée de la langue mongole, par Roehrig, 1 vol., in 8°, но объявление не осуществилось.] Относительно монгольских словарей также можно заметить пренебрежение в них живой речи нынешнего народа монгольского: словарь г. Шмидта, несмотря на свою неполноту, для вседневного употребления превосходен и удобен и в этом отношении стоит гораздо выше словаря г. Ковалевского. Словарь последнего ученого, приложившего все старания и труды многих лет для того, чтобы сделать свое издание возможно полным, не достигает своей цели по многим причинам: во-первых, кочевой быт народа не довольно заметен в этом словаре, потому что автор, скажем еще раз, обращал внимание лишь на книжный язык, отчего словарь и вышел далеко не полон; во-вторых, г. Ковалевский не обратил никакого внимания на долгие слоги в монгольском языке, отчего впал в погрешности, перемешав значение некоторых слов и даже корней; иностранца же, незнакомого с языком, отсутствие указаний на долгие слоги ставит в большое затруднение; в-третьих, значение иных слов не сходится с толкованием в монгольской хрестоматии того же автора, так что читатель остается в недоумении — чему верить?; в-четвертых, взявшись за сравнение монгольских слов с тюркскими, автор выпустил из внимания больше половины корней сходных и притом иногда в словах первой надобности, что при филологических сравнениях весьма важно; в-пятых, и может быть не в последних, автор увеличил совершенно бесполезно свой труд до трех огромных томов и сделал его непригодным к употреблению как по величине книг, так и по дороговизне: при большей экономии на ненужные слова и на печать словарь г. Ковалевского много-много составил бы один такой том, каких он выдал три. Ненужными словами мы считаем этот странный в ученом словаре набор синонимов, на который автор не поскупился при каждом слове и от которого коренное значение только затемняется и пропадает, прибавление повсюду производных глагольных форм, которых значение очень ясно видно в корне, и наконец, прибавление ненужных тибетских, санскритских или китайских слов. Последние ввел в моду покойный Клапрот, и, конечно, такая многосторонняя ученость может показаться изумительной тому, кто не знает китайских пятизначных словарей: в настоящее время эта метода истинно ученому не прилична. Типографскою роскошью мы считаем перпендикулярную постановку монгольских слов, отчего на листах образовались огромные пробелы, что в ученых сочинениях, особенно в учебниках, совершенно излишне. Мы позволили себе все эти замечания, притом только поверхностные, потому что от ученого профессора Ковалевского мы вправе ожи-

дать труда совершеннейшего, особенно же при существовании словаря г. Шмидта. Проведя много лет в Монголии и еще более того лет занимая с честию кафедру монгольского языка, трудясь издавна над составлением монгольского словаря, профессор Ковалевский мог дать ему больше обработки, тем более что настоятельной потребности в другом монгольском словаре не чувствовалось.

Язык монгольско-калмыцкий, принадлежа к отдельному монголо-тюркскому семейству, имеет многие весьма важные особенности в сравнении с нашими европейскими языками: эти особенности проходят через всю его систему начиная от сочетания звуков до образования слов и соединения периодов. Правда, при единстве законов мысли человеческой и в органах ее — разнообразных языках — должны отражаться некоторые общие черты: так во всяком языке есть имена, глаголы, склонения, спряжения и т. д., но в монгольско-калмыцком языке и эти общие черты проникнуты духом своей системы, имеют свое отличное значение. Поэтому-то применение европейской, или, лучше сказать, индогерманской грамматической системы к этому языку, представляющее с первого взгляда много удобств и употреблявшееся до сих пор монгололагами, имеет тот важный и существенный недостаток, что насильственно пригоняет язык в мерку, нисколько ему не свойственную, ограничивается только частностями языка, не обнимая целой его системы, и сообщает ложный взгляд на логику языка, взгляд, который, как предрассудок, закрывает густым мраком истинное значение форм и законов монгольской речи.

Эти, а может быть, и свои собственные причины побудили г. Бобровникова обработать „Грамматику монгольско-калмыцкого языка“ совершенно по новой системе, отчего труд из-под пера его вышел совершенно не похожим ни на одну из своих предшественниц. Предмет его грамматики — монгольско-калмыцкий язык, как живой, правильный и даже красивый орган думы кочевого жителя необозримых степей Средней Азии: метода приложения вполне приноровлена к предмету и, следовательно, естественно и строго систематична. Можно сказать, что перед проницательностью анализа г. Бобровникова спал покров Изиды с монгольско-калмыцкого языка.

Короткий очерк Грамматики г. Бобровникова дает понятие о составе ее, отличительных свойствах и неотъемлемых достоинствах.

Прежде всего она рассуждает о письме и чтении. Не ограничиваясь кратким указанием, что такая-то монгольско-калмыцкая буква произносится подобно такой-то русской, автор подробно объясняет произношение букв как в отдельности одна от другой, так и во взаимной связи, или законы сочетания звуков.

В монголо-тюркской системе существует чуждый другим языкам закон сингармонизма, или взаимного соотношения мягких и твердых букв, как гласных, так и согласных, вследствие кото-

рого основная в слове буква или звук определяет присутствие мягких или твердых звуков.

Чудный закон, европейскому духу непостижимый! При определении его г. Бобровников поместил довольно обширное и совершенно новое исследование о гортанных данных, представляемых древними памятниками квадратной письменности, наш молодой ориенталист дошел до определения, что гортанные сокращаемые в древнем, ныне только в книгах оставшемся монгольском языке слоги суть не что иное, как искусственное выражение долгих гласных. Так как у калмыков существует знак долгого звука *удан*, то им и нет надобности удерживать в письме книжно-монгольские гортанные слоги. Таким образом, эта внешняя разница между монгольским и калмыцким письмом, которая, подобно миражу, даже по 1849 год манила взоры некоторых ориенталистов не существующим, будто бы особенным калмыцким языком, исчезла перед строгим анализом, а 1850 год радостно встречен двумя братьями, дружно слившимися в один монгольско-калмыцкий язык.

Этимология г. Бобровникова подводит все слова монгольской речи только под три класса вместо прежних восьми: имена, глаголы и частицы. Перемены, совершающиеся в именах и глаголах, указаны с возможною полнотою и отчетливостью и основаны на предшествовавшем исследовании о сингармонизме. Новая терминология падежей и глагольных форм, приноровленная к самому значению их, коротко, но метко указывает на это значение.

Объяснение форм заключается в синтаксисе. В этой превосходно обработанной части своей грамматики автор совершенно последовательно восходит от меньшего к большему, от простого к сложному; для филолога, столь же жадного к познанию законов выражения человеческой мысли в слове, как ботаник к определению целых семейств в растительном царстве, монгольско-калмыцкий синтаксис г. Бобровникова откроет весьма много любопытного, да не мешало бы и составителям русских грамматик обратить внимание на упорный и всеразлагающий анализ молодого русского ориенталиста. Между прочим, филолог не без интереса для себя заметит, что у монголов нет относительных местоимений и союзов, — яснее сказать, нет наших способов соединения предложений, а между тем взаимные отношения периодов существуют и для монгола. Этот гордиев узел соотечественники Чингисхана разрешают очень просто, но вместе с тем замысловато и даже изящно, посредством своей конструкции, и желающих познакомиться с этой тайной мы приглашаем прочесть синтаксис в Грамматике г. Бобровникова.

Чтобы несколько познакомить читателя с методой автора, мы предлагаем на выдержку следующую часть объяснения повествовательных форм речи:

„568. Формами повествовательными описывается то, что является в последовательной связи как происшествие.

Три повествовательные формы назначены для выражения того, как смотрит на обстоятельства своего рассказа повествующий и как эти обстоятельства относятся к слушающему.

569. Первая повествовательная форма показывает, что говорящий рассказывает спокойно, смотри на обстоятельства своего рассказа как на нить действий, последовательно и естественно одно за другим совершавшихся, без особенных нечаянностей, и как на события, равно неизвестные слушателю и делающие на него равные впечатления" (с. 346).

„575. Вторая повествовательная форма употребляется при изложении такого обстоятельства, которое предполагается уже известным слушающему, или когда говорящий не рассказывает как новость, а только напоминает уже известное" (с. 350).

„583. Третья повествовательная форма имеет значение, противоположное предыдущей: первоначальным значением этой формы должно признать нечаянность" (с. 356).

„592. Рассказчик спокойный и хладнокровный редко употребляет вторую и третью повествовательную форму. Но если говорящий говорит тоном учителя, хочет придать авторитет своим словам, желает, чтобы они принимались слушателем как непререкаемые истины или аксиомы, он поминутно употребляет вторую повествовательную форму. Если же говорящий ожидает от речи своей эффектов, хочет, чтобы та или другая мысль его, то или другое рассказанное им обстоятельство поражало его слушателя как неслыханная новость или как нечто очень удивительное или замечательное, он поминутно употребляет третью повествовательную форму. Таким образом, в языке священном очень часто употребляется вторая повествовательная форма, в языке сказок, где цель рассказчика — занимать и удивлять слушателя, почти исключительно употребляется третья повествовательная форма" (с. 364—365).

В быстром изложении характеристики книги г-на Бобровникова мы ограничились лишь указанием на самые выпуклые части его труда: по этим указаниям легко составить себе идею о прекрасном сочинении, обогатившем ученую русскую литературу. Мы не сомневаемся, что книга г-на Бобровникова перейдет и на другой европейский язык, где будет занимать не менее почетное место. Конечно, в некоторых случаях можно спорить и даже иногда не соглашаться с результатами анализа в Грамматике г. Бобровникова, но порицать их решительно невозможно.

Что если бы г. Бобровников взял на себя осуществление высказанного нами в начале статьи предложения о новом монгольско-калмыцком словаре уютного и общедоступного издания?.. Это был бы истинно дорогой подарок ориенталистам!»

Историкам восточного спектра отечественного языкознания было бы трудно решить вполне определенно вопрос: что стоит за криптонимом М. Т.? Однако на этот раз вопрос атрибуции рецензии поддается сравнительно легкому и совершенно однозначному решению, для чего достаточно внимательно

проследить историю создания Грамматики и представления на соискание премий. Подчеркиваем, внимательно и не предвзято.

Заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Государственного педагогического института им. Доржи Банзарова профессор А. А. Белоусов, зная о дружбе Алексея Бобровникова (ок. 1822—1865) и Доржи Банзарова (1822—1855), предположил, что за упомянутым выше криптонимом скрылся не кто иной, как Банзаров. Он пишет в статье о якобы новонайденной рецензии Доржи Банзарова,[1] о том, что, когда Грамматика Алексея Бобровникова была представлена в Императорскую Академию наук для присуждения Демидовской премии, то выяснилось, что «не все ориенталисты Казани и Петербурга доброжелательно отнеслись к Грамматике молодого ученого-лингвиста», что «востоковеды не сразу решились на столь высокую оценку и признание труда доселе никому не известного бакалавра, выступившего с первой печатной работой, не получившей еще признания практиков», и что «в течение нескольких месяцев учебник А. Бобровникова обсуждался в узком кругу ориенталистов без какого-либо участия повременной прессы». Безучастное отношение столичной прессы к Грамматике, полагал автор, «осложняет положительное решение о присуждении Демидовской премии».[2] Для вящей убедительности А. А. Белоусов привел в заключение крохотный отрывок из обширных воспоминаний Н. И. Ильминского (1822—1892) об Алексее Александровиче Бобровникове:[3]

«Бобровников, при Банзарове и мне, разговорился о награде, почему она доселе не выходит.

— Знаешь ли, сказал он, обращаясь к Банзарову, — отчего? Наше начальство, не имея само возможности оценить мою Грамматику, ждет о ней отзыва в журналах. Послушай, Банзаров, напиши рецензию.

Банзаров ответил: я напишу обширную критику, твой труд заслуживает обстоятельного рассмотрения».[4]

Эти слова первого бурятского ученого-востоковеда показались А. А. Белоусову достаточным основанием для безоговорочного отнесения рецензии бобровниковской Грамматики в «Санкт-петербургских ведомостях» от 15 апреля 1850 г. с «обширной критикой» перу Доржи Банзарова; однако остро-полемическая направленность рецензии, честная и нелицеприятная оценка трудов известных монголистов-предшественников понудила-де Банзарова укрыться за загадочной криптограммой, т. е. , по Белоусову, М. Т. раскрывается как Доржи Банзаров. Так ли это?

Для предложенной атрибуции рецензии нет решительно никаких оснований. История написания, награждения и публикации Грамматики Алексея Бобровникова, равно как и обстоятельства появления упомянутой рецензии на нее в повременной печати, живописно представленные на суд современников и в назидание потомкам его однокашником, единомышленником, со-

ветчиком и первым читателем Н. И. Ильминским (заметим в скобках: автор и советчик в первое время и жили-то в одной квартире), навязывают совершенно иное решение, вполне логичное, правдоподобное и отражающее различные этапы создания Грамматики и все последующие перипетии.

Так, когда ректор академии после долгого ожидания получил 21 мая 1848 г. законченную вчерне Грамматику — «толстую пачку исписанной и перечерканной бумаги»,[5] он сразу же назначил самого лучшего письмоводителя академии для переписки ее, а для каллиграфического вписывания многочисленных монгольских и калмыцких примеров привлек ученого ламу Галсана Гомбоева (1822—1863). В итоге, пишет Ильминский,«вышла щегольская и увесистая рукопись в формате писчего листа.

При официальной бумаге отправил ее ректор к профессору Ковалевскому для предварительного рассмотрения. Он продержал Грамматику около двух месяцев и возвратил с весьма лестным для автора отзывом о его сочинении. Указав некоторые недостатки, профессор Ковалевский писал: „но эти недостатки выкупаются блистательными достоинствами всего сочинения, хорошо обдуманного, разрешившего много спорных доселе вопросов. Поэтому автор, по моему мнению, приобрел полное право на внимание и поощрение со стороны просвещенного своего начальства, а его добросовестный труд, если будет напечатан, должен почитаться драгоценным подарком для восточной филологии“.

В Петербурге, куда представили Грамматику с отзывом о ней г. Ковалевского, она пролежала тоже несколько месяцев. Во весь этот промежуток Бобровников продолжал делать исследования о различных частях своего труда <. . .> и вновь набирал факты для более точной обработки. Когда вышло разрешение печатать Грамматику и Бобровникову поручена была корректура ее, то не многие страницы первой редакции попали в типографский станок. Бобровников решился почти все переделать заново. Нужно было притом поспевать за наборщиком <. . .> И так снова почти целый год, пока печаталась Грамматика, прошел для Бобровникова в непрерывной работе <. . .> Он страшно измучился от умственного напряжения и беготни. Он говорил мне, что <. . .> уже не может работать, так устал.

Нужно было отдохнуть и, для оживления сил, пожуировать. А между тем награда, которую ректор усердно ходатайствовал автору у высшего начальства, не выходила. Бобровников скучал. Почти каждый день Бобровников виделся с Банзаровым, которому он впервые раскрыл законы его родного языка. Вот раз — это было в начале великого поста — Бобровников, при Банзарове и мне, разговорился о награде, почему она доселе не выходит. — Знаешь ли, говорит он, обращаясь к Банзарову, отчего? — Отчего? — Наше начальство, не имея само возможность оценить мою Грамматику, ждет о ней отзыва в журналах. Послушай, Банзаров, напиши рецензию. — Банзаров говорит: я напишу обширную критику, твой труд заслуживает обстоятельного

рассмотрения. — Да ты, говорит Бобровников, долго провозишься с критикой; ты напиши просто, что вот-де Грамматика Бобровникова больно хороша; в том удостоверяю, Банзаров. Имя твое важно, твоему голословному заявлению поверят. — При этом я, в шутку, обещал написать рецензию, не зная по-монгольски. И напал на меня такой стих, — за один присест в тот вечер я написал рецензию <. . .> не развертывая Грамматики. Но дело в том, что, когда Бобровников писал свою Грамматику, он <. . .> передавал мне результаты своих исследований и даже поручал мне иногда наблюсти в татарском языке, по близкому его сродству с монгольским, предполагавшиеся у него правила. Я и изложил существенную характеристику его сочинения, разумеется, в тоне одобрительном, как оно, впрочем, вполне заслуживало. Я писал от имени Банзарова, и даже среди рецензии сделал такое лирическое замечание: „читатель да не упрекнет меня за то, что моя рецензия переходит в тон панегирика; в разбираемой книге я впервые нашел достойную оценку моего прекрасного родного языка“. Я написал, запечатал в конверт и оставил в квартире Бобровникова. Эта рецензия была напечатана в фельетоне „СПб ведомостей“, — и оказалось, что один приятель Банзарова, которому тот передал ее для препровождения в газету, прибавил к ней обширное предисловие, в котором зацепил профессора Попова, разругал известный лексикон профессора Ковалевского, мое вышеупомянутое лирическое место вычеркнул и вместо имени Банзарова подписал две псевдонимные буквы М. Т.»[6]

Таким образом, привлечение более широкого контекста убедительно свидетельствует, что за криптонимом стоит вовсе не Банзаров, как в этом пытается убедить нас А. А. Белоусов, а Н. И. Ильминский и «один приятель Банзарова», которым оказался [7] профессор И. Н. Березин (1818—1896), решивший посредством перекройки рецензии свести какие-то давние счеты с знаменитым монголистом О. М. Ковалевским (1801—1878).[8]

Указания А. А. Белоусова на то, что не все ориенталисты Казани и Петербурга доброжелательно отнеслись к Грамматике молодого ученого-лингвиста, что слишком долго вопрос обсуждался в узком кругу ориенталистов без какого-либо участия повременной прессы, как и горячее стремление увидеть в Банзарове ходатая за «остронуждающегося бакалавра» с целью исхлопотать ему Демидовскую премию, обнаруживают неполный учет всей совокупности обстоятельств, связанных с премированием Грамматики.

Н. И. Ильминский в своих «Воспоминаниях» отнюдь не случайно говорит о награде и премии: было и то, и другое, причем в обоих случаях решающее слово принадлежало одному и тому же лицу — профессору Казанского университета О. М. Ковалевскому, который в первом случае давал предварительный отзыв на рукопись и адресовался к просвещенному начальству автора Грамматики, т. е., попросту, к святейшему Синоду. Последний своим определением от 15 ноября 1848 г. разрешил печатание

и сделал правлению духовной академии запрос о том, какой награды заслуживает автор за совершенный им труд, на что правление ответило, что «почитает Бобровникова заслуживающим награды не менее 1500 руб. серебром или возведения в звание экстраординарного профессора с полным профессорским жалованием в 715 руб. в год».[9] 30 декабря 1849 г. правление повторило ходатайство, и высшее «просвещенное начальство» решило выдать автору «в награду и поощрение» 1200 рублей серебром и 50 экземпляров Грамматики «за занятия по корректуре».[10] Радость академической корпорации была беспредельной — в течение трех дней она «светло праздновала такой торжественный выход в свет первого и действительно замечательного ученого труда, явившегося из-под пера одного из ее питомцев».[11]

К концу 1849 г. все 1200 экземпляров Грамматики были напечатаны, и в 1850 г. Бобровников представил свой труд в Академию наук на соискание Демидовской премии. Тут-то и сыграла свою роковую роль злополучная рецензия от 15 апреля 1850 г., написанная Н. И. Ильминским и «усовершенствованная» И. Н. Березиным: березинская перекройка «оскорбила профессора Ковалевского; он заподозрил в составлении рецензии самого Бобровникова».[12] Академика Я. И. Шмидта «не было уже в живых [ум. 27 авг. 1847], и единственным, заслуженным авторитетом по монгольской части был казанский профессор Ковалевский: Грамматику Бобровникова Академия поручила рассмотреть ему».[13]

На этот раз чувствительно оскорбленный рецензент дал — в марте 1851 г. — предназначенный для печати весьма подробный, но довольно сдержанный отзыв,[14] в котором, между прочим, указал на недостаток материалов, бывших в руках автора, на то, что некоторые его положения или предположения нуждаются вследствие этого в серьезной проверке и т. д., но тем не менее воздал должное его трудолюбию и наблюдательности и заключил разбор знаменательными словами: «Знатоки и теперь с удовольствием прочитают некоторые статьи его, напр., о долгих гласных <. . .>, о способах отыскивать корни слов, о значении многих наращений, определительно им объясненных, о разделении имен <. . .> Равным образом достойны полного одобрения некоторые синтаксические правила, как руководство к более точному употреблению слов в разных формах. Словом, Грамматика г. Бобровникова, по моему разумению, плод самостоятельных изысканий, труд добросовестный, заслуживает поощрения со стороны Академии наук при раздаче Демидовских премий».[15]

К чести Бобровникова следует напомнить, что он «как не принял никаких мер для предупреждения такого отзыва, так по отпечатании отзыва не написал ничего в свою защиту, предоставив благодушно дело воле божьей».[16]

Надо думать, что после такого сдержанного отзыва взыскательного рецензента трудно пришлось бы соискателю премии, если бы репутация Грамматики не опередила самую книгу, «по-

тому что, пока она печаталась, Банзаров посылал по листу академику О. Н. Бётлингку [1815—1904], который в то время работал над Якутской грамматикой и потому имел случай обстоятельно узнать достоинства Грамматики Бобровникова сравнительно с другими книгами того же рода».[17] Другой академик-лингвист, П. С. Билярский (1817—1867), переводчик В. Гумбольдта, «думал, что Бобровников отлично изучил немецкую филологию и разные отрасли восточных языков, особенно монгольского и тюрко-татарских, и крайне изумился, узнав, что кроме монголо-калмыцкого, он не изучал ни одного из восточных языков, не знал также вовсе и немецкого языка».[18] Таким образом, круг ориенталистов-лингвистов, вовлеченных в обсуждение грамматического сочинения Бобровникова, был довольно широк и состоял из знаменитых ученых, прославивших русскую науку в самых разных областях. Не всякий грамматист-дебютант может рассчитывать на таких компетентных судей-заступников из казанцев и петербуржцев, которые — будь они собраны вместе — составили бы настоящий ареопаг лингвистов-востоковедов на зависть всем Европам!

Как бы то ни было, Академия наук присудила Бобровникову вторую премию в 714 рублей серебром, и это было воистину праздником молодой отечественной монголистики.

Выяснив роль Н. И. Ильминского, О. М. Ковалевского, И. Н. Березина, Галсана Гомбоева, академиков О. Н. Бётлингка и П. С. Билярского в создании и оценке Грамматики, зададимся вопросом: ну, а какую роль сыграл в рецензировании Грамматики Доржи Банзаров, закадычный друг А. А. Бобровникова? Ответим кратко: от самостоятельного рецензирования он уклонился. Но при этом он приложил немало усилий, чтобы подвигнуть на это дело маститого востоковеда профессора В. В. Григорьева (1816—1881) и даже сделал для него своеобразную заготовку в виде длинного письма от 2 февраля 1850 г., сравнивая Грамматику Бобровникова с Грамматикой калмыцкого языка А. В. Попова (1808—?) и демонстрируя на конкретных примерах преимущество сочинения Бобровникова. Однако различные обстоятельства помешали В. В. Григорьеву своевременно откликнуться на призыв даровитого бурята, хотя он сам всегда высоко ценил Бобровникова, видя в нем одну из блистательнейших надежд русского востоковедения. Правда, когда Алексей Александрович Бобровников, постигнутый служебными невзгодами и в обстановке крайней нищеты, скончался 8 (20) марта 1865 г. в Оренбургском военном госпитале, то В. В. Григорьев, дорожа памятью ученого, вернул долг с лихвой, подготовив к изданию его исследование о памятниках монгольского квадратного письма[19] и исходатайствовав у Русского Археологического общества гонорар в 400 рублей для бедствующего семейства покойного.

Напомним в заключение, что письмо Доржи Банзарова к В. В. Григорьеву недавно опубликовано казахским историком

В. Галиевым, и теперь этот своеобразный памятник безуспешного заступничества доступен обозрению и изучению.[20] Между прочим, Доржи Банзаров выложил, кажется, всю аргументацию в пользу Бобровникова и, полный дурных предчувствий в связи с предстоявшим ему отъездом в Сибирь, молил Григорьева об одном: «Только прошу вас, не вводите меня в это дело»,[21] что совершенно недвусмысленно свидетельствует о его искреннем желании остаться в стороне от разгоравшихся страстей: «письмо не предназначалось в печать».[22] Воздадим должное доброму сердцу бескорыстного друга Алексея Александровича Бобровникова . . .

Выходит, стало быть, что за криптонимом скрылись знакомые незнакомцы — Н. И. Ильминский и И. Н. Березин.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Белоусов А. А.* Неизвестная рецензия Доржи Банзарова. — Байкал, Улан-Удэ, 1979, № 1, с. 98—102.

[2] Там же, с. 98.

[3] *Ильминский Н. И.* Воспоминания об Алексее Александровиче Бобровникове. — Учен. зап. Казанск. ун-та. 1865, т. 1, с. 417—450.

[4] *Белоусов А. А.* Неизвестная рецензия Доржи Банзарова, с. 98—99.

[5] *Ильминский Н. И.* Воспоминания об Алексее Александровиче Бобровникове, с. 440.

[6] Там же, с. 440—442.

[7] См., например: *Знаменский П. В.* История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842—1870 годы). Вып. 2. Казань, 1892, с. 341; *Венгеров С. А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 1898, т. 4, отд. 1, с. 26; *Масанов С. А.* Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных дятелей. Т. 2. Алфавитный указатель псевдонимов. К.—П. М., 1957, с. 154.

[8] Н. И. Ильминский и другие участники дела о награждении бобровниковской Грамматики именуют рецензента — блестящего и разностороннего ученого-монголиста — попросту профессором, по имени-отчеству или же официально господином Ковалевским. Во всем этом просматриваются более или менее удачные попытки смягчить травму, нанесенную ученому кассированием выборов его в академики. Дело в том, что императорская Академия наук в знак признания его заслуг перед наукой и в надежде на тесное сотрудничество с ним избрала его 4 декабря 1847 года ординарным академиком по части восточной словесности «с дозволением <. . .> оставаться в Казани впредь до выслуги эмеритуры», а злопамятный Николай I не утвердил этого избрания: он не мог простить заслуженному ученому его участия в виленском «Обществе филаретов», во главе которого стоял Адам Мицкевич. См.: Академия наук СССР. Персональный состав. Кн. 1. 1724—1917. М., 1974, с. 55; *Шамов Г. Ф.* Научная деятельность О. М. Ковалевского в Казанском университете. — В кн.: Очерки по истории русского востоковедения. М., 1956, сб. 2, с. 127, 176, 179 и т. д.

[9] *Знаменский П. В.* История Казанской духовной академии. . ., вып. 2, с. 340.

[10] Там же.

[11] Там же. Ср.: *Ильминский Н. И.* Воспоминания. . ., с. 442—443.

[12] *Ильминский Н. И.* Воспоминания. . ., с. 442.

[13] Там же, с. 443.

[14] *Ковалевский О. М.* Разбор Грамматики монгольско-калмыцкого языка, изданной г. Бобровниковым. — В кн.: Двадцатое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград. СПб., 1851, с. 160—176. То же в кратком изложении см.: ЖМНП, 1851, ч. 71, отд. III, с. 11—14.

[15] *Ковалевский О. М.* Разбор Грамматики. . ., с. 176. — Н. И. Ильминский (Воспоминания. . ., с. 443—444) не согласился с критикой строгого рецензента и оспорил многие положения отзыва, в особенности слова о «смелости предположений», о теории монгольских форм, значении суффиксов и т. д.

[16] *Ильминский Н. И.* Воспоминания. . ., с. 443.

[17] Там же. Отметим, что уважительное отношение акад. О. Бётлингка к А. А. Бобровникову запечатлено и в грамматической части «О языке якутов», см. например: «. . . как учит нас Бобровников» (с. 146), «. . . так ясно это правило выражено только у Бобровникова» (с. 156, прим. 172) и др.

[18] *Знаменский П. В.* История Казанской духовной академии. . ., вып. 2, с. 341—342; *Виноградов А. А.* Воспоминания о Казанской духовной академии, относящиеся к 1852—1856 годам. Ректора, инспектора и профессора. — Иркутск. еп. вед., 1890, № 11, с. 4.

[19] См.: Памятники монгольского квадратного письма, объясненные А. А. Бобровниковым, с дополнениями В. В. Григорьева. СПб., 1871, 90 с. в 8-ю д. л.

[20] *Галиев В. З.* Неопубликованные письма Доржи Банзарова. — Байкал, 1972, № 3, с. 132—135.

[21] Там же, с. 135.

[22] Там же, с. 127.

Н. А. Баскаков

МИКРОЭТНОНИМЫ ОГУЗСКИХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ЗАКАВКАЗЬЯ

В опубликованной недавно статье Н. Г. Волковой «О названиях азербайджанцев на Кавказе» затрагивается интересная проблема изучения микроэтнонимов,[1] относящихся к древним и современным родовым и племенным объединениям; последние входили в обширный союз племен огузов, из которого позже образовались четыре крупные народности, а затем нации — азербайджанцев, турок, туркмен и гагаузов, составляющих один из самых крупных ареалов расселения тюрков на территории Европы и Азии.

В тюркологии до сих пор не выяснено точное отношение того или иного этнонима, встречающегося на территории огузского ареала, к той или иной современной огузской народности, т. е. к азербайджанцам, туркам или туркменам. Более того, существующие микроэтнонимы этого ареала не соотнесены и между собой. Некоторые из них являются более общими и имеют широкий охват родов и племен, другие являются частными названиями отдельных небольших родов и этнических групп.

Таким образом, к изучению микроэтнонимов огузского ареала следует подходить дифференцированно, определив прежде всего значение каждого из них и установив отношение их между собой.

К последним работам по данной проблеме относится статья З. Б. Мухаммедовой «Огузо-туркменские этнонимы»,[2] в которой на основе анализа рукописи XVI в. Салар-Баба (это туркменский перевод «Собрания летописей Рашид-ад-дина» с включением оригинального текста «Огуз-наме) дается перечень шести сыновей и внуков Огуз-хана — родоначальников соответствующих родовых подразделений: 1) Кюн-хан: Кайы, Дюкер, Алка-ивли; 2) Ай-хан: Байат, Авшар, Кара-ивли; 3) Йулдуз-хан: Йазыр, Кырык, Додурга; 4) Кёк-хан: Байандур, Бендже, Икдир, Бюкдюр, Алай-йонтлы; 5) Так-хан: Салур, Джавулдур, Биве Йиве; 6) Денгиз-хан: Эймюр, Чепни, Кынык.

Все эти имена сопоставляются в статье с соответствующими этнонимами, встречающимися в «Словаре» Махмуда Кашгарского, в «Собрании летописей Рашид-ад-дина», в сочинении Абу-Хай-

йана, в «Китаби деде Коркуд» и в других сочинениях, а также с этнонимами современных тюркских народов, и их значения устанавливаются с учетом всей предшествующей литературы.[3]

Другим исследованием на данную тему является статья Р. А. Гусейнова «Тюркские этнические группы XI—XII вв. в Закавказье»,[4] в которой перечислены 18 огузских микроэтнонимов: Афшар, Байат, Байундур, Икдир, Йиве, Йайырлы, Кара-Бюлюк, Кынык, Кырык, Печенег, Салур, Тутырга, Тюкер, Чарук, Чебни, Чувалдар и Эймюр, т. е. те же названия огузских племен и родов, что и в предыдущей статье З. Б. Мухаммедовой, за исключением этнонима Йайырлы, который и отличает этот список. Кроме того, Р. А. Гусейнов приводит пять этнонимов других тюркских народов: Агач-ери, Канглы, Карлук, Кыпчак и Халадж.

Трудно охватить все огузские микроэтнонимы, но кроме перечисленных в статьях З. Б. Мухаммедовой и Р. А. Гусейнова можно отметить следующие часто встречающиеся в специальной литературе этнонимы огузских этнических групп Закавказья: Моголы, Терекеме, Каракоюнлу, Аккоюнлу, Каджары, Качары, Шахсевены, Айрумы, Хоросани, Бахарлу, Теймурташ, Инанлу, Мюриды, Падары, Кызылбашы, Пычакчы, Чарыхчы, Дюнбюллю, Гагаваны, Карагёзлю, Кашкайцы, Карапапахи, Безбашы, Имрели Нахурлы и др.

Как уже было отмечено ранее,[5] огузский ареал охватывает обширную территорию, включающую в себя всю Малую Азию, часть Балканского полуострова, Южную Молдавию, часть Украинской ССР, Азербайджан, северные районы Ирана и Сирии, Туркменскую ССР и часть Узбекской ССР. На этой территории кроме относящихся к тюркам-мусульманам этнических групп, представляющих собой смешанное население турок и отуреченных болгар (гаджалов, тозлуков, герловцев, юруков (коняров)) и тяготеющих к туркам, а также относящихся к тюркам-христианам этнических групп, которые представляют собой потомков древних гузов, печенегов и отуреченных греков (сургучи, караманлы и др.) и тяготеют к гагаузам, существует значительное количество этнических групп, которые относятся главным образом к азербайджанским и туркменским племенам; они слабо дифференцированы между собой и обитают не только в Азербайджане и Туркмении, но и далеко за пределами Советского Союза.

Все микроэтнонимы огузских этнических групп Закавказья могут быть разделены по своей смысловой структуре на следующие основные типы.

1. Микроэтнонимы по названию крупных союзов тюркских, а иногда и не тюркских племен и народов: 1) Мугалы, восходит к названию монголов moɣol; [6] 2) Терекеме < арабск. мн. число от türk > terekeme 'тюрки'; 3) Карлук < qar 'снег'+аффикс обладания -luq > Qarluq 'снежный'; 4) Кыпчак < qyvčaq 'неудачливый, несчастный' > название племени; 5) Печенег ~ Беченек ~ Баджанак < badža 'шурин, свояк'+аффикс -nak > badžanak.

2. Микроэтнонимы, оставшиеся от крупных родоплеменных союзов: 1) Кара-коюнлу < qara 'черный'+qojun 'баран'+-lu аффикс обладания > qara qojunlu 'обладающий черными баранами' — конфедерация огузских племен, вождь которой основал династию в Азербайджане и Иране (с 1380 по 1468 г.) со столицей к северу от озер Ван и Урмия.[7] Династия Каракоюнлу соперничала с другими союзами туркменских родов и племен; 2) Аккоюнлу < aq 'белый'+qojunlu 'имеющий баранов' > aq qojunlu 'обладающий белыми баранами' — союз также огузских племен, вожди которого основали династию правителей Восточной Анатолии и части Азербайджана (с 1378 по 1508 г.). Позже их владения были разделены между Османской империей и Ираном; [8] 3) Афшары < персидск. äfšärdän 'давить, нажимать, теснить, напирать' ~ в азербайджанских диалектах avšar 'молоко' ~ в туркменских диалектах avšar- 'вести себя высокомерно' ~ в турецк. avšar 'крепкий, ловкий, надежный, быстро совершающий дело; недоуздок' — тюркское племя, обитавшее в Северном Хоросане, основателем династии которых был Надир-шах Тахмасп-кули хан (1736—1747) — шах Ирана, известный полководец и объединитель Ирана. Династию Афшаров сменила в Иране сначала афганская династия Зендов, а затем Каджаров; [9] 4) Каджары ~ Качары < тюркск. qačar 'убегающий, исчезающий, беглец', возможно также <qačуг 'вид орла, название птицы' (Буд., II, 7) — огузский союз племен, основавший в Иране династию (с 1721 по 1925), которую сменила в 1925 г. династия Пахлави.

К этой же группе могут быть условно отнесены: 5) Шахсевены <šah 'шах, государь'+seven 'любящий' >šah seven 'любящий шаха' [10] — огузская этническая группа, создавшаяся при шахе Аббасе Сефевиде (1642—1666), на которую он опирался в борьбе с Кызылбашами. Эта же этническая группа Шахсевенов известна под названием Айрумов < турецк. ajry 'отдельный, особый' [11]+-m аффикс, образующий имя результата действия или в данном случае — аффикс лично-притяжательной формы > ajrym 'я отдельный, особый' либо 'мой отдельный, особый'. Любопытно, что в том же значении может быть представлен вместо указанной выше этимологии также и этноним Šahseven < арабск. šahsi 'личный, индивидуальный, частный, особый' (ТРС, 802)+-ven/-men личная форма первого лица > Šahsi-ven 'я отдельный, особый', как и Ajrym, при обычном соответствии m ~ b ~ p ~ v; 6) Канглы > qaŋly 'повозка, телега' [12] — название племени Канглы; 7) Агач-ери < aγač 'дерево, лес'+er мужчина+-i аффикс принадлежности 3-го лица > aγač eri 'люди леса' — название племени; 8) Алка-бёлюк < Alqa — название огузского рода (ДТС, 37)+bölük 'часть, отдел' > Alqa bölük 'часть рода Алка'.

3. Микроэтнонимы по названию местности: 1) Хоросани — огузское племя, обитавшее ранее в районе г. Хоросана < персидск. < xor 'солнце'+sänä 'свет, блеск, сияние'; [13] 2) Бахарлу — огузское племя, обитавшее в районе селения Бахар, <

Baγyr — древнее название местности у подножия Копетдага+-ly аффикс отношения >Baγyrly 'родом из местности Бахар'; 3) Тоймурташ — тюркское огузское племя, обитавшее в районе селения Таймурташ < temir 'железо'+taš 'камень' > temir taš 'железный камень'.

4. Микроэтнонимы, связанные с религиозными понятиями: 1) Инанлу < inan ~ inam 'вера, религия, доверие' (Буд., I, 212)+-ly аффикс отношения > Inanlu 'верующий, верный, доверенный' > название племени; 2) Мюрид < арабск. murid 'последователь духовного руководителя' [14] — название этнической группы, живущей в районе г. Карса в восточных вилайетах Турции; 3) Падары < персидск. pedari 'отцовский, идущий по следам отцов в отношении религии' либо персидск. padar ~ badar 'хозяин' (ПРС, 53) — название тюркской этнической группы; 4) Кызылбаши < тюркск. qyzyl 'красный'+baš 'голова' > qyzyl baš 'красноголовый' — тюркская этническая группа, принявшая религиозное учение шиитов, носивших красные шапки, колпаки (Буд., II, 55).

5. Микроэтнонимы — названия, полученные отдельными родами или племенем по профессии: 1) Пичагчи < тюркск. pyčaq 'нож'+-čy аффикс профессии > pyčaqčy 'делающий или продающий ножи'; 2) Чарыхчы < персидск. čaryx 'колесо, мельничное колесо' (Буд., I, 456)+-čy аффикс профессии > čaryxčy 'делающий колеса или мельник' либо čaruq ~ čaryq 'башмаки' (Буд., I, 456)+-čy аффикс профессии > čaryqčy 'сапожник, делающий или продающий сапоги, башмаки'; 3) Дюнбюллю < тюркск. dünbül 'только что поспевший плод, овощи, фрукты' (Буд., I, 576)+-lü аффикс обладания > dünbüllü 'имеющий фрукты, овощи' либо < персидск. dümbäl 'хвост'+тот же аффикс -lü > dümbällü 'имеющий хвост' (насмешливое прозвище); 4) Гагаван < турецк. gagavän 'фруктовщик' [15] или другая возможная этимология < турецк. gaga 'клюв, нос'+персидск. -mänd ~ vän > gagavän 'носатый'; 5) Калач ~ Халадж; народные этимологии: а) <qol ač 'открой объятия, руки' или б) <qal ač 'оставайся голодным'.[16] Предполагается, однако, что этот этноним иранского (курдского) происхождения, как и само племя — потомки отуреченных иранцев; возможно, что этот микроэтноним восходит к иран.-персидск. hälladž 'трепальщик, чесальщик хлопка' (ПРС, 180).

6. Микроэтнонимы, связанные с прозвищами по внешнему виду: 1) Карагёзлю < тюркск. qara 'черный'+göz 'глаз, глаза'+-lü аффикс обладания > qara gözlü 'черноглазый, обладающий черными глазами'; 2) Кашкайцы < тюркск.-персидск. qašqa 'лысый, плешивый' (Буд., II, 16); 3) Карапапахи < тюркск. qara 'черный'+papah 'шапка' > qara papah 'черные шапки, папахи'; 4) Кызылбаши < тюркск. qyzyl 'красный'+baš 'голова' > qyzyl baš 'красноголовый, носящий красные шапки'; 5) Безбаши < тюркск.-персидск. bez 'бязь, полотно'+baš 'голова' > Bez baš 'носящие полотняную повязку на голове'; 6) Джабни ~ Чебни (Гус., 381) ~ Чепни (Мух., 37) < čepni 'богатырь' (Мух., 37).

7. Микроэтнонимы — названия, полученные тем или иным родом в качестве прозвища по внутренним свойствам человека: 1) Игдир < тюркск. ijgi 'хороший, добрый, красивый'+связка -dir > ijgi dir 'добрый, хороший, красивый' (ср. Мух., 34; Гус., 381); 2) Имрели < тюркск. imirli 'говорящий неясно, гнусавый' (Буд., I, 209); 3) Нахурлы ~ Нохурлы < персидск. nohur 'глаз, гневный взгляд' (ПРС, 575)+-li аффикс обладания > nohurli 'имеющий гневный взгляд, гневные глаза'; или < персидск. nohur ~ nahur 'верхняя часть груди' (ПРС, 560)+-li аффикс обладания > nohurli 'имеющую выпуклую грудь'; менее вероятная этимология < персидск. na- частица отрицания+xor 'низкий, презренный'+аффикс обладания -ly > nahorly 'не из низких и презренных'; или < персидск. na- та же частица отрицания+xoor 'бедный, нуждающийся' (ПРС, 575) > naxorlu 'не нуждающийся' и проч.; 4) Баяндир < bajan, в монгольском имени Dubun bajan — bajan перевод монгольского mergen 'способный, мудрый, ловкий охотник' (Буд., I, 240); или < тюркск. baajyryn- 'кичиться, тщеславиться' > название племени Баяндир (Мух., 30); 5) Баят ~ Байат < чагатайск. bajat 'бог', турецк. bajat 'счастливый', азербайджанск. bajat 'старый' > название рода Байат; 6) Кынык < qynyq 'усердствуй';[17] 7) Джавулдур ~ Чувалдар (Гус., 381) ~ Човдур (Мух., 36) < čovdur 'честный' (Мух., 36) > название рода Джавулдур ~ Човдур; 8) Урекир ~ Урегир,[18] ср. Üregir название одного огузского рода (ДТС, 626) < ürekir 'делающий доброе дело' (Мух., 35); 9) Кайы ~ Кай (МК, I, 28; ДТС, 406) < qajy 'крепкий' (МК, I, 55); или < тюркск. qaj- 'склоняться, соглашаться'+-y аффикс имени действующего лица > qajy 'склоняющийся'; 10) Йыва ~ Ийве (Гус., 381) ~ Йава (МК, III, 27) < juva 'учтивый юноша' (Мух., 30); 11) Бекдили ~ Бектили < bek dili 'подобный речи старших' (Мух., 32), или < bek dili 'крепкоречивый'; 12) Йазгыр ~ Йазыр < jaz- 'развязывать, распускать'+-yr аффикс имени действующего лица > jazyr 'развязывающий, распускающий'; 13) Йайырлы (Гус., 381) < jegir 'седло'+-li аффикс обладания > jegirli ~ jejirli 'обладающий, имеющий седло'.

8. Названия этнических групп по имени числительному: Кырык < qyryq 'сорок'.

9. Названия этнических групп по предмету обладания: 1) Алайунтлы (Мух., 35) < ala 'пестрый'+jontly 'имеющий лошадь' > ala jontly 'имеющий пеструю лошадь'; 2) Кара-ойли < qara 'черный'+öjli 'имеющий дом' > qara öjli 'имеющий черный дом, юрту'.

10. Названия этнических групп по прочим признакам: 1) Туturга (Мух., 35) ~ Тутырга (Гус., 381) < tuturγan 'рис', или < dödürgün 'изобилие' (Мух., 35); более вероятная этимология < tatyrγa 'пергамент' (МК, I, 489); 2) Тюкер (Мух., 35) < düger ~ tüger 'колесо' (Мух., 36); 3) Кара-бюлюк (Гус., 381) < qara 'черный'+bölük 'часть, доля, подразделение, отдел'; 4) Салгыр ~ Салгур ~ Салыр (Мух., 30) ~ Салур (Гус., 381) < salur 'меч,

сабля' (Мух., 31); 5) Бекдюз < bükdüz 'рогатый сук' (Мух., 31), < bükdüz 'горбатый' (Мух., 32); 6) Эймюр ~ Йемерли ~ Емир ели (Мух., 33) < imir- ~ emir- 'говорить неясно, гнусавить' (Буд., II, 209)+eli 'его народ' > imirir eli 'народ, который говорит неясно, гнусавит'; или < amir ~ emir 'эмир, князь'+eli 'его народ' > emir eli 'народ князя, народ эмира'.

Здесь кратко перечислены и даны возможные этимологии только тех микроэтнонимов, отношение которых к современным основным огузским народам — туркменам, азербайджанцам, туркам и гагаузам точно не определено; что же касается некоторых названий этнических групп Балканского полуострова (юруков, гаджалов, герловцев, тозлуков, караманлы, сургучей, гагаузов и проч.) и их отношений между собой, а также названий крупных туркменских родов (гёкленов, чаудоров, текинцев, сарыков, ахалтекинцев, эрсаринцев, йомудов и проч.), то рассмотрение их составляет особую задачу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Волкова Н. Г.* О названиях азербайджанцев на Кавказе. Ономастика Востока, М., 1980, с. 208.

[2] *Мухаммедова З. Б.* Огузо-туркменские этнонимы. — СТ, 1971. Далее в тексте — Мух.

[3] Ср.: *Кононов А. Н.* Родословная туркмен. М.; Л., 1958.

[4] *Гусейнов Р. А.* Тюркские этнические группы XI—XII вв. в Закавказье. — Тюркологический сборник. 1974. М., 1973. Далее в тексте — Гус.

[5] *Баскаков Н. А.* Процессы ареальной интеграции в истории тюркских языков. — СТ, 1981, № 4.

[6] *Будагов Л. З.* Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. I—II. СПб., 1869—1870; т. II, с. 264. Далее в тексте — Буд.

[7] *Петрушевский И. П.* Кара-Коюнлу государство. — Советская историческая энциклопедия, т. 7.

[8] *Minorsky V.* Ak-Koyunlu. — In: The Encyclopaedia of Islam, I. London, 1960.

[9] *Minorsky V.* Nadir shah. — In: The Encyclopaedia of Islam, III. London, 1961.

[10] *Босворт К. Э.* Мусульманские династии. М., 1971, с. 228.

[11] Турецко-русский словарь. М. 1977, с. 83. Далее в тексте— ТРС.

[12] Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 419. Далее в тексте — ДТС.

[13] *Никонов В. А.* Краткий топонимический словарь. М. 1966, с. 456.

[14] Персидско-русский словарь / Под ред. Б. В. Миллера. М., 1953, с. 485. Далее в тексте — ПРС.

[15] *Caferoğlu A.* Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar, I—II. İstanbul, 1942—1944.

[16] Рашид ад-дин: Сборник летописей. Т. I, кн. 1. М.; Л., 1952, с. 85.

[17] *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. Т. I—IV. СПб., 1893—1911; т. II, с. 729. Далее в тексте — Р.

[18] Divanü lûgat it-türk tercümesi, I—III. Ankara, 1939—1942; t. I, 37. Далее в тексте — МК.

Г. Ф. Благова

О ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ТИМУРИДСКОМ МАВЕРАННАХРЕ

(РУБЕЖ XV—XVI ВВ.)

К настоящему времени тюркология располагает немалым количеством описаний тюркоязычных литературных памятников и их языка и в их числе таким образцовым (с публикацией текста и перевода, с историческим и текстологическим комментариями, указателями), как книга о «Родословной туркмен» А. Н. Кононова.[1] Стремительное развитие языкознания требует от тюркологов аналитического осмысления проделанной работы в области истории тюркских литературных языков в соответствии с новыми задачами. Современной теорией литературных языков в качестве первоочередной задачи выдвигается изучение языкового состояния, отношений между компонентами состояния — «стратами», т. е. выявление функциональной парадигмы языка. Именно от описания и анализа функциональной стратификации языка ожидается освещение истинного положения литературного языка среди других форм языка, как и взаимодействия первого с этими последними; на этой же основе в перспективе — решение задач последующего типологического изучения литературных языков и их истории: установление типов языковых ситуаций, построение типологии функциональных парадигм.[2]

Проблема реконструкции функциональной парадигмы языка в истории тюркских языков к настоящему времени ставилась только на материале древнеуйгурского языка.[3] Предпринимаемое ниже изучение языкового состояния тимуридского Мавераннахра в названном аспекте затруднено следующими факторами: а) особой сложностью переплетения и взаимодействия языковой ситуации с функциональной парадигмой языка, обусловивших развитие специфических внутриструктурных процессов; б) гипотетичностью некоторых функциональных страт; в) недоступностью для исследователя многих деталей в соотношениях разных страт и в их структурных характеристиках. Поэтому в данной статье предпринята попытка реконструировать функциональную парадигму языка в контексте всей языковой ситуации тимуридского Мавераннахра.

Поиск необходимого материала для такой реконструкции велся путем привлечения к анализу как прямых, так и косвенных лингвистических данных. Это, во-первых, круг текстов, происходящих из Мавераннахра и датируемых рубежом XV—XVI вв.; при этом мы опирались на прежде осуществленную нами ареально-историческую интерпретацию языковых показаний этих текстов.[4] Во-вторых, это свидетельства авторов изучаемого периода о языковой ситуации в тимуридском Мавераннахре. В-третьих, это внеязыковые данные — сведения об исторической и культурно-исторической ситуации в тимуридском Мавераннахре.

При ближайшем рассмотрении свидетельств современников обнаружилась примечательная особенность. О тюркско-иранских контактах говорится с полной определенностью, например, у Навои.[5] Что же касается самих тюркских языков и диалектов, то здесь чаще всего мы располагаем лишь довольно глухими известиями. Бабур, например, не раз упоминает «оседлые и кочевые племена, живущие в горах и степях к востоку и югу от Андижана»,[6] но ничего не сообщает об их языке. Столь же отвлеченно Навои пишет о языковых различиях в тимуридских владениях: «В каждом селении люди говорят по-своему, у них есть свои обороты речи и выражения, которых нет у других» (Н 10, с. 108).

Путем анализа вышеназванных источников нами были вычленены следующие компоненты языкового состояния в тимуридском Мавераннахре.

1. Тюркские диалекты к а р л у к с к о г о типа («чагатайские», по классификации Е. Д. Поливанова). Носители этих диалектов, в большинстве своем оседлые (частично полуоседлые), являлись основным населением Мавераннахра. Известное высказывание Бабура, вычленявшего тюркский язык населения Андижана (см. ниже, с. 48—49), может быть истолковано как косвенное свидетельство в пользу существования других карлукских говоров, противопоставляемых андижанскому.

Впоследствии карлукские говоры Мавераннахра явились той основой, на которой развился современный среднеузбекский (по А. К. Боровкову, или карлуко-чигиле-уйгурский, по В. В. Решетову) диалект;[7] они близкородственны и диалектам, давшим жизнь новоуйгурскому языку.

Карлукским диалектам присущи следующие дифференцирующие признаки (далее — ДП) склонения: для основ как на согласный, так и на гласный — род. *-нинг*, вин. *-ни*, дат. *-га/-ка*; для местоимений 1-го лица ед. числа — род. *-(н)инг*, 1-го лица мн. числа *-нинг*; для имен с аффиксом принадлежности 3-го лица в дат., местн., исх. падежах не характерно наличие «вставного» *-н-*; противопоставления именной и посессивно-именной парадигм нет. В области глагола употребительны причастие и прошедшее время на *-ган/-кан*; 1-е лицо ед. числа прошедшего на *-ган* и настоящего—будущего на *-ар/-ур* имеет показатель *-мäн/-мен*; при аналитическом глаголообразовании в качестве вспомогательных используются глаголы *бол-* 'становиться' и *ķил- || эт-* 'делать'.

Из послелогов специфичны *би(р)лӓ* 'с, вместе с', *дек* 'как, подобно'.

2. Тюркские диалекты огузского типа, локализовавшиеся на землях современной Туркмении и Хорезма, с одной стороны, Северо-Восточного Ирана и Западного Афганистана — с другой, и на прилегавших к ним территориях.

Впоследствии огузские диалекты этих земель легли в основу современного туркменского и хорасанотюркского [8] языков, а говоры Хорезма и Восточной Туркмении — также и в основу огузского диалекта узбекского языка.

Политическая жизнь Мавераннахра с конца XI в. связана с огузами: с 1089 г. эти земли находились в двойной вассальной зависимости — от караханидов и сельджукидов; после гибели Сельджукидского государства в 1153 г. большую роль в Средней Азии начинает играть государство Хорезмшахов, подчинившее своему влиянию кочевых кыпчаков и туркмен. Любопытно, что среди упоминаемых Навои и Бабуром этнонимов достаточно частотным является *туркман*.[9]

Огузским диалектам присущи следующие ДП склонения: для основ на согласный — род. *-инг/-ин*, вин. *-и*, дат. *-а*, для основ на гласный — род. *-нинг/-нин*, вин. *-ни/-йи*, дат. *-а/-йа*, для местоимений 1-го лица ед. и мн. числа — род. *-им* (*-им/-инг* для 1-го лица мн. числа); для имен с аффиксом принадлежности 3-го лица в дат., местн., исх. падежах обязателен «вставной» *-н-*; налицо противопоставление именной и посессивно-именной парадигм. В области глагола употребительны причастие и спрягаемая форма прошедшего времени на *-миш*; 1-е лицо ед. числа прошедшего на *-миш* и настоящего-будущего на *-ар/-ур* имеет показатель *-ӓм* || *-ын*; при аналитическом глаголообразовании в качестве вспомогательных используются глаголы *ол-* 'становиться', *айла-* || *эт-* 'делать'. Из послелогов специфичны *илӓ* || *билен* 'с, вместе с', *киби/кимин* 'как; подобно'.

Вряд ли возможно думать, что контакты огузов-туркмен и носителей диалектов карлукского типа ограничивались только политической сферой и не распространялись на язык. В тимуридской державе издавна (еще при сельджукидах) развивались контакты между Хорасаном (Северо-Восточным Ираном и Западным Афганистаном) и Мавераннахром. Как писал А. Я. Якубовский, Хорасан «в средние века экономически, политически и культурно больше был связан со Средней Азией, чем с Персией».[10] При анализе современного диалектного материала, в том числе и зарегистрированного Г. Дёрфером в Северо-Восточном Иране, удалось установить следы контактирования средневековых диалектов — восточноогузских в Хорасане и «чагатайских» в Мавераннахре. Из ДП склонения — это восточноогузский дат. падеж *-йа* в узбекских говорах Шахрисябза, Верхней и Нижней Кашкадарьи, Карши и Касана, Карнаба, Джизака, Ниязбаша и селений Ташкентской области, Наманагана, Андижана и Коканда, с одной стороны, а с другой — карлукские — местн. падеж *-да* и дат. падеж *-йа*

без «вставного» *-н-* после аффикса принадлежности 3-го лица в некоторых восточноогузских говорах Северо-Восточного Ирана.[11] Названные карлукские формы могут быть сопряжены в Северо-Восточном Иране с зарегистрированным там топонимом *Чоғатай*, в котором запечатлелось присутствие чагатайской администрации, чагатайского войска в средневековом Хорасане.[12]

3. Тюркские диалекты к ы п ч а к с к о г о типа, носители которых вели кочевой (в отдельных пограничных районах — полуоседлый) образ жизни на бескрайних просторах Дешт-и Кыпчака, с севера и северо-запада граничившего с оазисами Мавераннахра.

Впоследствии кыпчакские диалекты этих земель легли в основу как современных казахского, каракалпакского и других языков, так и кыпчакского диалекта современного узбекского языка.

Начиная с конца XII в. кыпчаки играют все более заметную роль в государстве Хорезмшахов; впоследствии они оказывают влияние на политическую жизнь Средней Азии, в частности, «вооруженная борьба между кочевыми узбеками и тимуридами за Хорезм на всем протяжении XV и в начале XVI в. составляла одну из важных сторон политических взаимоотношений кочевых узбеков с тимуридами».[13] С 20-х годов XV в. кочевые узбеки-кыпчаки стали делать набеги на Самаркандскую область, Бухару и Ташкент, а позже — также в сторону Ферганского удела тимуридов. Вес узбеков-кыпчаков в политической жизни тимуридского Мавераннахра непрерывно возрастает: в своих феодальных междоусобицах тимуридские властители все чаще обращаются к помощи кочевников, фактически открывая им доступ в страну. Благодаря этому узбеки-кыпчаки все шире внедряются в Мавераннахр. Так, узбекские царевичи Шейбани-хан и другие со своими отрядами практически жили в Мавераннахре, неся службу у тимуридских удельных правителей. По сведениям источников, некоторые кыпчакские кочевые племена были расселены в Мавераннахре задолго до походов Шейбани-хана и именно там вошли в состав завоевателей.[14] Вместе с тем развивался торговый обмен между кочевниками Дешт-и Кыпчака и оседлым населением Мавераннахра.[15] В условиях интенсивной миграции узбеков-кыпчаков языковые контакты оседлого населения с кочевыми племенами приобретали жизненную активность.

Кыпчакским диалектам свойственны следующие ДП склонения: для основ как на согласный, так и на гласный — род. *-нин/-нинг*, вин. *-ни* (с варьированием *н-* ~ *д-* ~ *т-* в анлауте показателей обоих падежей), дат. *-га/-ка*; для имен с аффиксом принадлежности 3-го лица в дат., местн., исх. падежах обязателен «вставной» *-н-*, притом дат. падеж имеет здесь показатель *-а*, как и при аффиксах принадлежности 1-го и 2-го лица ед. числа; вин. падеж, сочетаясь с аффиксом 3-го лица, дает морфемосочетание *-и-н*; налицо наиболее разветвленное противопоставление именной и посессивно-именной парадигм. Род. падеж местоимений 1-го и

2-го лица мн. числа *-инг* || *-динг*. Вспомогательные глаголы *бол-*, *эт-*; послелог *мен* || *менен* 'с, вместе'.

Проведенное нами картографирование ДП тюркского склонения в Самаркандской области и на юго-западе Узбекистана оказалось знаменательным для установления фактов интенсивного языкового контактирования носителей диалектов, из которых для одних свойственно склонение карлукского, для других — кыпчакского типов. Наложение построенных при этом картосхем показало, что изоглоссы ДП склонения карлукского и кыпчакского типов причудливо переплетаются на изучаемых территориях, где прежние оазисы Мавераннахра соприкасались с кочевыми степями кыпчаков и их полукочевыми поселениями.[16] Сам характер взаимовнедрения изоглосс ДП двух типов может свидетельствовать о том, что языковое контактирование оседлого населения Мавераннахра и кыпчаков имеет большую хронологическую глубину.

4. Диалекты ираноязычного и прежде всего таджикского населения, которое большими группами проживало в Мавераннахре (особенно в городах) рядом с тюркоязычным населением, продолжая сохранять свой язык и этнические особенности.[17] Такое тесное соседство разноязычного населения способствовало возникновению двуязычия и, следовательно, не могло не иметь далеко идущих последствий в сфере как обиходно-разговорной речи, так и литературного языка. По поводу этого Алишер Навои писал в «Споре двух языков», имея в виду тюрков и представителей ираноязычных народов, по современной ему терминологии, «сартов»: «Эти два племени во всех своих поколениях сильно перемешаны друг с другом. И между тем и другим народом наблюдается смешение и общение, а разговор между ними и понимание ими друг друга беспрепятственны. . . Все тюрки — от мала до велика, от слуг до беков — понимают сартский язык. Они его знают настолько, что в затруднительном положении могут объясниться по-сартски, а некоторые из них даже могут говорить на этом языке красноречиво и изящно» (Н 10, с. 110).

О характере языкового взаимодействия тюркоязычного и ираноязычного населения Мавераннахра можно судить по его результатам. Достаточно сказать, что Е. Д. Поливанов, предлагая свою классификацию узбекских диалектов, принимал за классификационный признак степень «иранизации» («гибридизации») этих диалектов и соответственно вычленял «иранизованные» и «неиранизованные» узбекские говоры.[18] В литературе отмечаются также факты воздействия узбекского языка и его диалектов на таджикские диалекты.[19]

5. Письменный язык, на характере которого заметно сказалось царившее в тимуридском Мавераннахре многоязычие и обусловленное им глубинное языковое взаимодействие.

А. Центральная часть — язык художественной литературы. Значительнейшая часть художественной литературы как поэтических, так и прозаических жанров в изучаемый период была напи-

сана на книжно-письменном языке XV—начала XVI в. — чагатайском, который современниками именовался *тюркӣ* (*чагатай тюркӣ*). Являясь наддиалектным и надтерриториальным по самой своей сути, чагатайский язык имел, например, базисную микросистему склонения карлукского типа, но ему не были чужды также разнодиалектные формы как в склонении, так и в других частях грамматической системы.

Вместе с тем в Мавераннахре продолжала развиваться литература также на персидском (фарси) и частично на арабском языках. Нередкими были случаи использования одним поэтом и чагатайского, и персидского в качестве языка литературы. Когда Навои писал, что «тюркские поэты на языке фарси пишут красочные стихи и замечательные речи» (Н 10, с. 110), он имел в виду и самого себя, и своих старших и младших современников. В большом литературном наследии Навои есть поэтический сборник на персидском языке, о чем Бабур сообщает так: «Персидский диван он (Навои. — *Г. Б.*) тоже составил; в персидских стихах он употреблял тахаллус Фани. Некоторые стихи там недурны, но в большинстве они слабы и стоят низко» (БН Т, с. 198). Из сочинений младшего современника и ученика Навои гератского поэта Камал-эддина Беннаи сохранилось небольшое число стихотворений на чагатайском языке, другая их часть и история Шейбанихана выполнены на фарси. Сам Шейбани-хан писал как тюркские, так и персидские стихи. Мухаммед Салих оставил стихотворное наследие не только на тюркӣ, но также на фарси (газели). Мавляна Билал хорошо слагал тюркские и персидские стихи. Из окружения тимурида Султана Хусейна мирзы, при дворе которого жил и творил Навои, на фарси Мир Атауллах Мешхеди написал «Трактат о рифме», Сейфи Бухари — труд о стихосложении, Кази Ихтиар — «Рассуждение о фикхе» (БН Т, с. 207, 209). Эта традиция «поэтической диглоссии» была жива еще и в XIX в. Так, поэтическое наследие Агахи включает в себя газели, касыды, месневи и пр. на тюркӣ и на фарси, собранные в сборник «Талисман влюбленных».

Б. Канцелярский письменный язык. В канцеляриях тимуридских удельных государей документация чаще всего велась на персидском языке, и эта традиция сохранялась в различных узбекских ханствах очень долго, почти до самой Октябрьской революции. В этих условиях, естественно, язык вакуфных документов, например, содержал много тюркизмов.

Вместе с тем в отдельных тимуридских уделах, в том числе в Андижане, в канцелярии отца Бабура — Султана Омар Шейха — во второй половине XV в. документы составлялись на чагатайском языке, причем для этих целей применялась уйгурская графика: об этом свидетельствует найденный и опубликованный П. М. Мелиоранским документ уйгурского письма Султана Омар Шейха (1469 г.).[20] (Устная форма делового языка, которая использовалась для общения феодалов (тюрков и иранцев) с тюркоязычной ра'йей и могла быть закреплена в обычном праве, пока ре-

конструкции не поддается. Можно лишь предполагать, что здесь использовалась диалектная речь и что на эту сферу общения также распространялось тюркско-иранское двуязычие).

В. Язык религии. Таковым повсюду на мусульманском Востоке был арабский язык. В школах, особенно начальных, этому языку обучали «слепым методом» — заучиванием текстов молитв на слух, благодаря чему широко внедрялась соответствующая арабская лексика, языковые клише религиозного содержания. По причине того, что в культуре средневековья, как известно, определяющую роль играло религиозно-дидактическое направление (Ф. Энгельс особо подчеркивал «верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности»[21]), арабский являлся также языком науки. В силу этого арабский язык в Мавераннахре, как и на всем мусульманском Востоке в средние века, обладал большим общественным весом. Ученые, деятели культуры, а также некоторые государственные деятели Мавераннахра владели арабским языком; среди везирей тимурида Султана Хусейн Мирзы Бабур называет Мир Атауллаха Мешхеди, который «хорошо знал арабскую словесность» (БН Т, с. 207).

Надо полагать, однако, что устная проповедь в мечети произносилась по-тюркски. Об этом косвенно может свидетельствовать самый факт существования в Средней Азии тюркоязычной богословской литературы, в том числе тюркский переводный тефсир XII—XIII вв. (подстрочные переводы арабского коранического текста, снабженные соответствующими толкованиями[22]), «Кысас ал-анбийа» Рабгузи, сочинение XV в. «Равнак ул-ислам» и др.

Как видим, функциональная парадигма языка тимуридского Мавераннахра, население которого было разноязычным и многодиалектным, могла восполняться за счет иносистемных языков: в сфере письменного общения это были арабский и персидский языки, в сфере устного — таджикский. Такое глубинное взаимопроникновение языковой ситуации и функциональной парадигмы языка стимулировало внутриструктурные процессы, в том числе, например, аналитическое глаголообразование в литературном — чагатайском — языке (и, по всей вероятности, в диалектной речи).

Как явствует из вышеизложенного, чагатайский был литературным языком, имеющим весьма сложные взаимоотношения с остальными формами языкового состояния в тимуридском Мавераннахре. Место чагатайского языка среди прочих форм языкового состояния, характер его развития нельзя установить без учета его взаимодействия с этими последними.

В части своей базисной системы чагатайский язык ориентировался на «некий общий, наддиалектный язык, стоявший ближе всего к диалектам Ферганы, но безусловно отличавшийся от любого из них»[23] (в принятой терминологии — карлукские диалекты Мавераннахра). Бабур особо подчеркивал при этом роль андижанского говора. Отмечая, что в Андижане, «в городе и на городском базаре», говорят по-тюркски, он писал: «Речь населения Андижана согласна (*раст дур*) с письмом, в силу чего сочинения Мир Али-

шера Навои, хотя он вырос и воспитывался в Герате, [писаны] на этом языке» (BN 1905, л. 2б).

Воздействие огузских диалектов сказалось в наличии значительного слоя так называемых «огузско-туркменских» элементов в морфологии и лексике чагатайского языка, в первую очередь — в языке поэтических сочинений.[24] В числе этих элементов — причастие и спрягаемая форма прошедшего времени на *-миш*; показатель 1-го лица ед. числа *-äм/-ам* для прошедшего времени на *-миш* и настоящего-будущего на *-ар/-ур*; род. падеж на *-им* местоимений 1-го лица (*мäн-им* 'мой', *биз-им* 'наш') и дат. падеж на *-а* (*биз-ä* 'нам'); вспомогательные глаголы *ол-* 'становиться', *айла-* 'делать'; послелоги *илä* 'с', *киби* 'как'.

О влиянии кыпчакских диалектов на чагатайский язык в области фонетики писал А. Н. Самойлович,[25] морфологии и лексики — Х. Д. Данияров.[26] В поэтическом языке часто встречаются огузско-кыпчакские формы склонения (мы так называем их из-за невозможности системно подразделить эти разрозненные по разным текстам формы, в которых совпали отдельные ДП склонения как огузского, так и кыпчакского типов), а именно: «вставной» *-н-* в составе дат., местн., исх. падежей имен с аффиксами принадлежности 3-го лица; дат. *-а* для имен с аффиксами принадлежности 1-го и 2-го лица ед. числа, 3-го лица ед. и мн. числа.

К фактам, касающимся взаимодействий чагатайского с другими формами языкового состояния тимуридского Мавераннахра, относится аффикс *-(у)в* в составе кыпчакизмов. Имеется в виду использование слов с этим аффиксом (возможно, в целях ритмической организации стиха) в панегирической поэме «Шейбани-наме» Мухаммеда Салиха — поэта круга Навои, впоследствии ставшего придворным поэтом предводителя войск узбеков-кыпчаков Шейбани-хана. Как видим, повышенный процент кыпчакизмов оправдан здесь социальным предназначением поэмы. Следовательно, на основании этого факта вряд ли корректно видеть в *-(у)в* «один из продуктивных аффиксов» литературного языка начиная с XVI в., тем более что этим утверждением предполагается своего рода скачок во внутреннем развитии словообразовательной системы языка: «. . . если во времена Алишера Навои (т. е. в XV в. — *Г. Б.*) афф. *-(у)в* встречался лишь в составе застывших слов, то во времена Мухаммеда Салиха, т. е. начиная с XVI в., в староузбекском литературном языке он — один из продуктивных аффиксов».[27]

Интенсивное воздействие на чагатайский язык исходило, как можно предполагать, с одной стороны, от иранских и прежде всего таджикских диалектов (устным путем), а с другой — от литературного фарси (книжно-письменным путем); исследование такого воздействия на чагатайский язык дифференцированно в отношении источников — устных и письменных — могло бы составить самостоятельную тему. Воздействие арабского — языка религии и науки — было весьма значительным, поскольку оно осуществлялось как непосредственно, так и опосредованно —

4 Заказ 1165

через иранские диалекты и фарси, также насыщенные арабизмами.

Результатом этих воздействий явилось то, что лексикон Навои, например, более чем на две трети состоит из арабских и иранских заимствований,[28] а в работах, посвященных описанию языка великого поэта и его современников, большое место уделяется исследованию арабских, персидских и таджикских элементов в морфологии и синтаксисе, калькирования в аналитическом словообразовании.

Взаимодействие канцелярского письменного языка и чагатайского языка может быть показано при лингвистическом сопоставлении документа Султана Омар Шейха и прозы «Бабур-наме», языковую близость которых первым заметил П. М. Мелиоранский. В самом деле, мемуарно-дневниковый характер «Бабур-наме» обусловливает известную стилистическую близость прозы, с одной стороны, и деловых документов — с другой: точность и строгость выражения, отсутствие словесного украшательства, использование специфической фигуры умолчания об истинном действующем лице (безлично-страдательный глагол с винительным падежом объекта). Налицо и материальное тождество грамматических единиц, а именно совпадение всех ДП склонения карлукского типа в обоих текстах, причастие на *-ган*, прошедшее на *-(и)п эрди*, послелог *билä* и др.

Положение чагатайского языка в функциональной парадигме языка усложнялось также за счет взаимодействия с книжно-письменной традицией,[29] с региональными литературными языками прошлого (у Навои имеется, например, упоминание о хорезмийско-тюркском языке — *хоразмийча тӯркий тил*). Жизнеспособные элементы книжно-письменной традиции (по Э. Р. Тенишеву, — «традиционной огузо-уйгурской основы») находили поддержку во влиянии средневековых огузских (прошедшее время на *-миш*), а отчасти и кыпчакских диалектов (совпадающие ДП склонения огузского и кыпчакского типов).

Изложенное выше показывает, насколько важно как при описании языка литературных памятников, так и особенно в аналитических работах по истории тюркских литературных языков четко разграничивать, с одной стороны, факты, относящиеся к внутренней системе языка, а с другой — явления, вызванные взаимодействием с тем или иным из компонентов соответствующего языкового состояния; учитывать, как на развитие языка может оказывать воздействие языковая ситуация. Без учета места чагатайского как языка литературного среди других языковых форм в изучаемый период, характера его взаимодействий с этими формами неминуемы смещение акцентов и неадекватная оценка перспективы развития литературного языка, когда выбор морфологических или лексических вариантов из состава других языковых форм (что чаще всего обусловлено языковой ситуацией) принимается за некую эволюционную тенденцию языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Кононов А. Н.* Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского. М.; Л., 1958.

[2] *Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976, с. 3, 205 и сл.; Типы наддиалектных форм языка. М., 1981, с. 307. Настоящая статья написана по схеме, предложенной в статье: *Семенюк Н. Н.* О реконструкции функциональных парадигм языка в истории немецкого языка. — В кн.: Функциональная стратификация языка. М., 1985.

[3] *Тенишев Э. Р.* Функциональная парадигма древнеуйгурского языка. — Там же.

[4] *Благова Г. Ф.* Тюркское склонение в ареально-историческом освещении. М., 1982, с. 183—226.

[5] *Алишер Навои.* Возлюбленный сердец. Суждение о двух языках. — *Алишер Навои.* Сочинения. Ташкент, 1970, т. 10 (далее в тексте — Н 10), с. 110.

[6] Бабур-наме. Ташкент, 1958 (далее в тексте — БН Т), с. 122, см. также с. 44, 77.

[7] *Решетов В. В., Шоабдураҳманов Ш.* Ўзбек. диалектологияси. Ташкент, 1962, с. 78, 79.

[8] Описание этого последнего см.: *Doerfer G.* Das Chorosantürkische. — In: Türk dili araştırmaları yıllığı. Belleten. 1977. Ankara, 1978, S. 127—204.

[9] *Насыров И.* Лексика «Маджлис ан-нафаис» Алишера Навои. Дис. . . . канд. филол. наук. Ташкент, 1980, с. 148; БН Т, с. 204, 485, 490, 492, 495, 497, 500, 502, 506, 510—512.

[10] История народов Узбекистана. Ташкент, 1950, т. 1, с. 14.

[11] См. об этом подробнее: *Благова Г. Ф.* 1) Тюркское склонение в ареально-историческом освещении, с. 68—73; 2) Языковое контактирование в тимуридских государствах по данным ареального исследования. — СТ, 1984, № 3, с. 16—26.

[12] *Doerfer G.* Das Chorosantürkische, S. 203.

[13] *Ахмедов Б. А.* Государство кочевых узбеков. М., 1965, с. 151.

[14] *Кармышева Б. Х.* Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. М., 1976, с. 210.

[15] *Ахмедов Б. А.* Государство кочевых узбеков, с. 148, 150—151, а также с. 75 и сл.

[16] *Благова Г. Ф.* Тюркское склонение в ареально-историческом освещении, с. 77—85, картосхемы 2 и 3.

[17] История народов Узбекистана. Ташкент, 1947, т. 2, с. 49.

[18] См.: *Поливанов Е. Д.* 1) Образцы не-сингармонистических (иранизованных) говоров узбекского типа. I—II. — ДАН СССР. Сер. В. 1928; 2) Образцы не-иранизованных (сингармонистических) говоров узбекского языка. I—II. — Изв. АН СССР. Отд. гуманитарных наук. 1929.

[19] *Расторгуева В. С.* Об устойчивости морфологической системы языка (по материалам северных таджикских говоров). — В кн.: Вопросы теории и истории языка. М., 1952, с. 225—236.

[20] *Мелиоранский П. М.* Документ уйгурского письма Султана Омар-Шейха. — ЗВОРАО, СПб., 1905, т. XVI, вып. 1.

[21] *Энгельс Ф.* Крестьянская война в Германии. — *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 7, с. 360.

[22] *Боровков А. К.* Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. М., 1963.

[23] *Щербак А. М.* Грамматика староузбекского языка. М.; Л., 1962, с. 222—223.

[24] *Самойлович А. Н.* Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атаи. — ЗКВ, 1927, т. 2, вып. 2, с. 262 и сл.; *Благова Г. Ф.* О характере так называемого «чагатайского» языка конца XV в. — В кн.: Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. М., 1960.

[25] *Самойлович А. Н.* Элементы диалекта «джокчи» в литературном чагатайском языке. — Научная мысль. Вып. 1. Самарканд; Ташкент, 1930, № 1, с. 11—14; см. также: *Жирмунский В. М.* О некоторых вопросах лингвистической географии тюркских диалектов. — Тюркологический сборник. К 60-летию А. Н. Кононова. М., 1966, с. 60—61.

[26] *Данияров X. Д.* Опыт изучения джекающих (кыпчакских) диалектов в сравнении с узбекским литературным языком. Ташкент, 1975, с. 33—63.

[27] Там же, с. 55.

[28] В «Толковом словаре языка произведений Алишера Навои» такое огромное количество фарсизмов и арабизмов, что составители отказались от языковых помет; лишь редкие страницы заняты полностью или хотя бы почти полностью тюркскими словами (см.: Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғат. Тошкент, 1983, т. I — на с. 184—349 и 549—604 это только лишь с. 291, 297, 299, 319—327, 348).

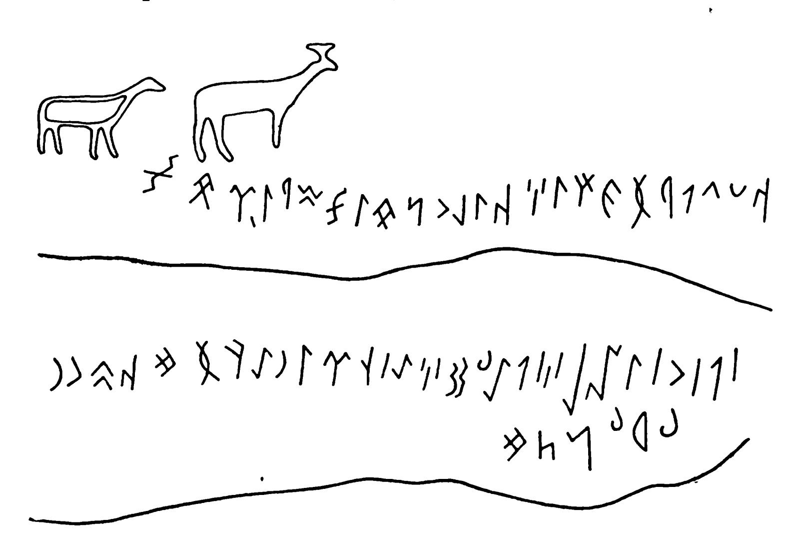
[29] *Тенишев Э. Р.* Языки древне- и среднетюркских письменных памятников в функциональном аспекте. — ВЯ, 1979, № 2.

Д. Д. Васильев

САМАЯ СЕВЕРНАЯ РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ НА ЕНИСЕЕ

В 1982 г. на правом берегу Енисея, в 3 км ниже с. Новоселово Хакасской АО, на южном склоне утеса Городовая стена была обнаружена неизвестная ранее тюркская руническая надпись. Памятник был обследован и скопирован сотрудником Минусинского государственного краеведческого музея Н. В. Леонтьевым при участии С. Г. Архипецкого и П. И. Коробейникова.

Надпись выполнена тонкой гравировкой и расположена горизонтально в 2 м от максимального уровня воды в водохранилище. Надпись состоит из двух строк, в начальной части строки 1 знаки различимы слабее, и нет абсолютной уверенности в точности их реконструкции. Это особенно относится к первым 3—4 знакам справа. Знаки строки 2 менее рельефны и мельче. На рис. 1-я строка разбита. Изображения животных, выполнены в иной технике.



По существующей кодификации тюркских рунических надписей бассейна Енисея [1] памятник обозначается нами «Е 143. Новоселово».

Транслитерация:

1) sps^{1}ʊs^{1}in^{2}l^{1}γpab^{1}d^{1}γas^{2}ŋr^{2}in^{1}akämqt^{1}ʊn^{1}qb^{1}s^{1}pj^{2}ägš^{2}iγqpl^{1}ʊ̈r^{1}b^2 izt^{1}j^{2}ir^{2}b^{2}z

2) b^{1}j^{1}b^{1}r^{1}qm

Транскрипция:

1) . . . s^{1}us^{1}in^{2}al^{1}γïp a b^{1}ad^{1}ïγ a s^{2}iŋir^{2}i an^{1}a käm qat^{1}un^1 qab^{1}ïš^{1}ïp j^{2}äg eš^{2}i qop ol^{1}ur^{1}b^{2}iz at^{1}a j^{2}ir^{2}ib^{2}iz

2) b^{1}aj^{1}b^{1}ar^{1}qïm

Перевод:

«Когда [враги, преграды] уничтожены, о Мать-река Кем, и нас соединила глубокая артерия, то мы все [как] добрые твои друзья живем. Наши исконные земли. Мое богатое сооружение».

О переводе. Центральным элементом текста является образ «реки Кем» (Енисей). Приложение *катун* 'госпожа' встречается в сочетании с гидронимами в некоторых памятниках региона (Е 3, Е 108). Однако здесь впервые в рунических текстах главенствующее значение этой водной артерии подчеркивается словом *ана* 'мать'. Сочетание «*ана кем катун*» становится прямым подтверждением точки зрения о восприятии тюрками образа реки как женского.[2]

Текст строки 1 состоит, по нашему мнению, из двух частей. Первая из них представляет собой сложноподчиненную конструкцию с двумя однородными деепричастиями (alγïp, qaƀïšïp) в той форме, которая передает временную, причинную, целевую и условную характеристики действия.[3] Возможными вариантами перевода, таким образом, по аналогии с другими древнетюркскими текстами являются обороты: «когда. . .», «пока. . .» и т. п.

Глагольная основа alq- зафиксирована во многих формах в древнетюркских памятниках различных регионов и хронологически охватывает также достаточно широкий период употребления, причем отмечается возможность перебоя здесь q/γ.[4]

Qaƀïšïp в аналогичной грамматической форме встречается в надписи в честь одного из политических руководителей Второго тюркского каганата Тоньюкука.[5]

Сочетание ƀadïγ siŋiri 'ее глубокая жила (кровеносный сосуд)' передано нами, быть может, несколько анахронично. Но стилистические соображения литературного перевода текста позволили использовать для этой метафоры слово «артерия».

Фрагмент jäg ešiγ qop olurƀiz читается достаточно четко. Здесь следует прокомментировать слово ešiγ как eš 'друг, сподвижник', имеющее аффикс принадлежности 2-го лица ед. числа.[6]

Вторая часть строки 1 имеет номинативную функцию и в этом отношении сближается с текстом строки 2. Однако строки имеют не только композиционное, но и логическое обоснование. Содержание и направленность текста строки 1 имеют более высокий уровень. Декларация здесь идет от имени одной или нескольких

тюркских племенных групп, тогда как строка 2 имеет отношение только к автору (или «заказчику») надписи.

Начальная часть строки 1 не устанавливается достаточно четко; слова «враги, преграды», данные в переводе, являются поэтому не предложением, а примером. Окончание этого неясного фрагмента, вероятно, аффикс -pän, образующий деепричастие предшествующего действия.

Варианты перевода термина в тексте строки 2 («сооружение», «надгробие», «постройка») трудно уточнить без археологического обследования местности.

О надписи. Орфографической особенностью памятника является редкий в рунике прием использования в качестве пунктуационного разделителя графемы √.[7] Иные формы словораздела отсутствуют.

В графике надписи дважды нашел отражение местный орфоэпический вариант перебоя s/š. Возможность такого явления в обоих случаях (alq-/alγ-, bадïq/bадïγ) отмечена в словарях.[8]

В строке 1 знак для p употреблен в основном и в зеркально перевернутом вариантах.

В целом орфография надписи свидетельствует об опыте «правописания» у ее автора. В отличие от многих других енисейских граффити здесь имеется значительное количество знаков для гласных, соблюдается орфографическая регулярность и палатально-велярная рядность знаков для s/š.[9]

Об источнике. Надпись в отличие от большинства енисейских рунических памятников не является эпитафией. Ее основное назначение — засвидетельствовать в монументальной форме свое право на данную территорию, а также посредством обращения к такому крупному природному явлению, как р. Енисей, упомянуть о каком-то предшествовавшем событии («уничтожив, прекратив») и призвать соседей-соплеменников к мирным отношениям. Причем текст эмоционально окрашен. Енисейские надписи пограничного, «межевого» назначения, локализующие пребывание или проживание какого-либо лица в упоминаемой местности, составляют уже определенную группу.[10]

При том характере скотоводства и землепользования, которое существовало у средневековых центральноазиатских тюркских и монгольских народов, необходимой являлась цикличность использования пастбищ. Правом же на ту или иную территорию обладали те претенденты, следы или знаки пребывания которых здесь в прошлом сохранились на местности.[11]

В надписи впервые в тюркской рунике упоминается река как «соединяющая жила», то есть водный путь. Надписи и родовые тамги, обнаруженные в Саянском каньоне Енисея, дополнительно подтверждают освоение этого пути и его функционирование. Упоминание в тексте об установлении мирных отношений с соседями, живущими по берегам «матери-реки Кем», может быть интерпретировано как отражение периода, наступившего после крупной военной экспедиции Бильге-кагана и Тоньюкука через

Саяны против кыргызского правителя Барс-бега в 711 г.[12] Выделение в памятнике в честь Тоньюкука того обстоятельства, что для внезапности нападения на кыргызов необходимо было искать обходной путь и прибегать к помощи местных проводников, также косвенно подтверждает известность средневековым жителям бассейна Енисея зимнего и летнего пути по реке.

Возможно, что надпись из окрестностей Новоселова, самая северная из найденных в настоящее время в бассейне Енисея, отмечает один из конечных пунктов похода, в результате которого кыргызы были подчинены тюркам. Эти соображения и палеография надписи позволяют датировать ее первой половиной VIII века.[13]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Васильев Д. Д.* 1) Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала. — СТ, 1976, № 1, с. 71—81; 2) Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала. II. — СТ, 1978, № 5, с. 92—95.

[2] *Добродомов И. Г.* О надежности топонимических этимологий.— В кн.: Этимология. 1980. М., 1982, с. 99—102.

[3] *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII—IX вв.). Л., 1980, с. 128—129.

[4] Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 34, 37; *Clauson G.* An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972, p. 135.

[5] *Малов С. Е.* Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 1951.

[6] *Кононов А. Н.* Грамматика языка. . ., с. 148.

[7] *Васильев Д. Д.* Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала. М., 1983, с. 50.

[8] Divanü lûgat-it-türk dizini. Endeks. Yazan B. Atalay. Ankara, 1948 c. 1, s. 371, c. 3, s. 188; *Clauson G.* An Etymological Dictionary. . ., p. 135, 301.

[9] *Тенишев Э. Р.* Перебой s/š в тюркских рунических памятниках. — В кн.: Структура и история тюркских языков. М., 1971, с. 289—295.

[10] *Кызласов Л. Р., Кызласов И. Л.* Средневековая пограничная надпись с низовьев Уйбата (Хакасия). — СТ, 1976, № 1, с. 58—65; *Баскаков Н. А.* Наскальная руническая надпись в Терезеннике-Бююк урочища Мугур-Саргол Тувинской АССР. — Советская этнография, 1978, № 3, с. 152—154; *Кляшторный С. Г.* Рунические надписи Саянского каньона Енисея. — Учен. зап. Тувин. НИИЯЛИ, Кызыл, 1971, вып. 16, с. 228—231; *Васильев Д. Д.* Древнетюркская эпиграфика Южной Сибири. II. — Тюркологический сборник. 1977. М., 1981, с. 57—61; *Кызласов И. Л.* Новые материалы по енисейской рунической письменности. — СТ, 1981, № 4, с. 86—92.

[11] *Румянцев П. П.* Киргизский народ в прошлом и настоящем. СПб., 1910, с. 52; *Марков Г. Е.* Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1975, с. 176; *Кляшторный С. Г.* Наскальные рунические надписи Монголии. — Тюркологический сб. 1975. М., 1978, с. 158.

[12] *Кляшторный С. Г.* Стелы Золотого озера. — В кн.: Turcologica: К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976, с. 265—266.

[13] Когда статья находилась в наборе, появилось сообщение о ревизии памятника (см.: *Кызласов И. Л.* Институт отшельничества в древнехакасском государстве: Енисейские надписи нового жанра. — В кн.: Вопросы советской тюркологии. Тез. докл. и сообщ. IV Всесоюз. тюркологич. конф. Ашхабад, 1985, с. 352—354). Автором сделаны незначительные коррективы по составу надписи, предложена иная интерпретация отдельных знаков и текста в целом. Однако характеристика надписи как доказательства существования «института отшельничества в древнехакасском государстве» вызывает возражения. По нашему мнению, ей препятствует целый ряд лингвистических и источниковедческих данных.

О. В. Васильева

ТУРЕЦКИЕ РУКОПИСИ В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Коллекция турецких рукописных книг Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) насчитывает 218 списков XVI—XIX вв., хранящихся в различных фондах Отдела рукописей и редких книг (ОРиРК): в Основном собрании восточных рукописей, в фонде «Тюркская новая серия», в собрании Н. В. Ханыкова, в Бахчисарайском собрании. Из 218 списков 75 содержат произведения художественной литературы.

Данное сообщение имеет две цели: дать общую характеристику этому небольшому комплексу рукописей (комплектование, оформление, читатель-адресат) и информировать о его составе. Последнее представляется крайне необходимым ввиду того, что каталоги, изданные более ста лет назад,[1] и краткие обзоры фондов и отдельных поступлений [2] не могут удовлетворить потребности исследователей хотя бы в силу разрозненности и разноплановости заключенных в них сведений. Составление и издание каталога всех тюркских рукописей ГПБ является первоочередной, но пока, к сожалению, несколько отдаленной перспективой.

Комплектование рукописной книгой на турецком языке в первые 70 лет существования Отдела рукописей (с 1805 г.) носило достаточно случайный характер. Это были единичные списки в составе собрания преимущественно западных рукописей П. П. Дубровского, первого хранителя «Депо манускриптов»,[3] и в коллекции русской рукописной книги начальника Колывано-Воскресенских заводов в Барнауле П. К. Фролова.[4] Ардебильская (1828 г.) и Ахалцихская (1829 г.) военные экспедиции обогатили фонд еще несколькими списками из вакфов гробницы шейха Сефи и мечети Ахмедие.

Лишь с 1875 г. началось целенаправленное пополнение фонда. Связано оно с именем В. Д. Смирнова (1846—1922), побывавшего в Османской империи в 1875, 1879 и 1892 гг. Профессор Петербургского университета, внештатный сотрудник Восточного от-

деления Публичной библиотеки, востоковед широкого профиля, большой знаток восточной палеографии, В. Д. Смирнов во время своих научных командировок выполнял и задания библиотеки: покупал рукописи в книжных лавках Стамбула и Брусы. Естественно, что такой источник мог дать литературу популярную, имевшую хождение в средних слоях городского населения, и притом — в списках, доступных этому читателю по средствам, в списках, среди которых трудно встретить шедевры оформительского искусства.

В. Д. Смирнов составил не потерявшие значения и по сей день описания приобретенных им рукописей (они публиковались в Отчетах ПБ за 1875, 1879 и 1893 гг.), интенсивно использовал их в своей научной и преподавательской работе (достаточно упомянуть его хрестоматию «Образцовые произведения османской литературы в извлечениях и отрывках», СПб., 1891, и «Очерк истории турецкой литературы», СПб., 1891).

Рукописи на турецком языке продолжали поступать в ГПБ и в дальнейшем, но в значительно меньшем количестве. Примером могут служить коллекция Ю. Н. Данзас, тюркоязычная часть Бахчисарайского собрания, а также отдельные поступления.

Оформление. Как известно, по внешнему виду турецкая рукописная книга представляет собой кодекс, заключенный в «восточный» переплет — переплет с клапаном, предохраняющим обрез. Переплет может быть картонным, оклеенным «мраморной» бумагой, или кожаным, часто с тиснеными медальонами. Бумага западная (итальянская, французская, австрийская) с филигранями или местного производства, на которой филиграни появляются в XVIII в. (обычно это «три полумесяца»). Наиболее распространенный почерк — насх, значительно реже встречаются насталик, рыка, шекесте. Часто, особенно в каллиграфических списках, первый лист украшен унваном — заставкой.

Особенностью турецкой оформительской традиции по сравнению с иранской и среднеазиатской является почти полное отсутствие в рукописях художественных иллюстраций. Но и дошедшие до нас немногочисленные списки с миниатюрами подвергались порче: правоверные фанатики старательно стирали изображения лиц. В неопубликованной работе «О лубочных картинках» В. Д. Смирнов пишет: «. . . мне самому. . . в Константинополе предлагали одну рукопись, в которой до 30 сделанных очень искусно рисунков, и все они испорчены».[5] В дальнейшем В. Д. Смирнов приобрел этот сборник рассказов и анекдотов об известных на Востоке личностях, составленный Ахмадом Сухейли в XVII в. В настоящее время сборник хранится в ОРиРК (шифр: ТНС 64). В ГПБ это единственная оформленная в турецких традициях рукопись с миниатюрами, причем все они выполнены под очень сильным европейским влиянием.

Особенности комплектования и традиции искусства оформления — вот две причины того, что турецкая книжность представлена в ОРиРК списками, не отличающимися особой изыскан-

ностью внешнего вида по сравнению с рукописями среднеазиатского и иранского происхождения. Однако известны случаи, когда рукописные книги на турецком языке создавались за пределами Османского государства и в совершенно иных традициях. Так, один из трех списков XVI в. поэмы Ахмеди «Искандар-нама» (Дорн 565) может служить примером высокохудожественного оформления рукописной книги в Иране.

Рукопись переписана в Герате в 1523 г. известным мастером Мир Али ал-Катибом [6] для правителя Герата Дормиш-хана. Украшена фронтисписом, заставками, золотым крапом на полях, одиннадцатью миниатюрами; заключена в твердый, красной кожи переплет с золотыми тиснеными медальонами.

Факт переписки в иранских традициях поэмы турецкого автора можно объяснить следующим образом. Об Ахмеди известно, что в начале XV в. он был недимом при дворе эмира Тимура, чтившего таланты поэта. Поэтому творчество Ахмеди и было известно в государстве Тимуридов, традиции искусства которого сохранились в Герате вплоть до второго завоевания и разрушения города Шейбанидами в 1529 г.

В иранских же традициях, хотя скорее всего на территории Османской империи, создан другой список «Искандар-нама» (Дорн 566). Он отличается несколько вычурным оформлением, обилием золота, крупным орнаментом, яркими заставками. Рукопись переписана в 1561 г. Хасаном ал-Катибом (полное имя каллиграфа Хасан ал-Хусайни ал-Катиб аш-Ширази) и украшена восемью миниатюрами. На л. 302 об. есть дворянский герб П. К. Фролова, который приобрел «Искандар-нама» у последнего крымского хана Шахин-Гирея (правил 1777—1783, 1785), а судя по печати с тугрой султана Османа III (1754—1757) на л. 1 рукопись принадлежала султанской библиотеке в Стамбуле, откуда и была, видимо, вывезена в Крым.[7]

Обратимся теперь к рассмотрению коллекции с точки зрения содержания составляющих ее сочинений, используя следующую схему: поэзия (поэмы, лирическая и сатирическая поэзия малых форм), комментарии и переводы, биобиблиографии поэтов, художественная проза.

Ранняя тюркоязычная поэзия Малой Азии представлена в ОРиРК «сельджукскими стихами» Султана Веледа (1226—1312). Они занимают л. 92об.—94об. в рукописи конца XVI в. «Рӓбаб-наме» (ПНС 523).[8]

Месневи. Пользовавшиеся большой популярностью поэмы-надире представлены в ГПБ сочинениями следующих авторов:

Ахмеди (1334—1413). «Искандар-нама» (Дорн 565, 566 — упоминались выше; ТНС 137 — список 2-й четв. XVI в.);

Хамди-челеби (1449—1503). «Юсуф ва Зулайха» — первая поэма «Пятерицы» (Дорн 568 — 1538 г.);

Яхья-эфенди (ум. 1591). «Шах ва гада» («Шах и нищий») — пятая поэма «Пятерицы» (ТНС 157 — 1681 г.; ТНС 192 — кон. XVI в.).

В ОРиРК хранятся получившие широкое распространение поэмы религиозного содержания:

Сулейман-челеби (ум. 1410). «Мавлюд-и наби» («Рождение пророка», ТНС 70 — 1809 г.);

Языджи-оглу (ум. 1451). «Мухаммадийа» (Дорн 567 — 1651 г.; ТНС 33 — кон. XVIII в.; ТНС 118 — 1839 г.; ТНС 40 — XVI в., фрагмент; Бахч. собр. 104 — XVII в.). Комментарием к этой поэме является трехтомное сочинение «Фарах ар-рух» («Радость души») Исмаила Хакки (1653—1725), переписанное с автографа комментатора в 1828—1830 гг. (ТНС 50);

Ак Шамс ад-Дин (XV в.). «Вахдат-нама» («Книга единения», ТНС 127 — кон. XVI в.);

Мухаммад Хакани (ум. 1606). «Хулийат ан-наби» («Украшение пророка», Дорн 576, л. 1об. — 25 — 1686 г.).

Следует отметить поэму представителя эпикурейского направления Ильяса Ревани (ум. 1523) «Ишрат-нама» («Книга попойки», ТНС 134, л. 142—147, поля — 1-я пол. XVIII в.) и нравоучительную поэму Юсуфа Наби (1640—1712) «Хайри-нама» (ТНС 158 — 1769 г.; ТНС 161, л. 1об—57 — сер. XIX в.).

Лирическая («диванная») поэзия представлена сборниками стихотворений двух знаменитых поэтов Турции: Неджати (1460—1508; Собр. Ханыкова 58, л. 43—189об. — рукопись близкая времени жизни автора — второй четверти XVI в.) и Баки (1526—1600; Дорн 572 — прижизненный список последней четверти XVI в.), а также произведениями менее известных авторов:

Вейси-эфенди (1561—1628). Касыда (Дорн 573 — 1777 г.); Тарджибанд (ТНС 143, л. 137—138об. — 1729 г.);

Наили (1692—1748). Диван (ТНС 144 — между 1739—1766 гг.);

Партав. Диван (ТНС 83—1865 г. Известно два поэта с этим именем, принадлежность Дивана кому-либо из них пока не установлена);

Рагиб. Диван (Дорн 574 — 2-я пол. XVIII в.);

Рухи (ум. 1606). Диван (ТНС 143 — 1729 г.);

Сабит (ок. 1650—1712). Диван (Дорн 575 — сер. XVIII в.; ТНС 222 — между 1707—1739 гг.); «Барбар-нама» (ТНС 161, л. 78об.—81об. — ок. 1841 г.);

Сабри (ум. 1646). Диван (ТНС 195 — [1683] г.);

Сади (XVI в.). Касыда (Дорн 576, л. 41—49об. — не позже 1687 г.);

Сакыф-эфенди (ум. 1735). Диван (ТНС 68 — 1784 г.);

Фазил-бек (ум. 1810). «Хубан-нама» («Книга красавцев», ТНС 69 — 1796 г.);

Фахим (XVII в.). Диван (ТНС 196 — [1665] г.);

Хафи (XV в.). Диван (Дорн 569 — 1556 г.);

Худаи (ум. 1629). «Наджат ал-гарик» («Спасение утопающего», ТНС 194 — сер. XVII в.).

Особый интерес для истории турецкой сатиры представляют два списка «Сихам-и каза» («Стрелы судьбы») Омара Нефи

(ум. 1635 г.). Они имеют приблизительно одинаковый состав, написаны разными почерками: шекесте и рыка. Это способствует более правильному прочтению и пониманию текста, что имеет особое значение, учитывая пристальное внимание к творчеству Нефи, с одной стороны, и отсутствие полной публикации его произведений — с другой.[9] Первый список датируется промежутком между 1770 и 1785 гг. (датой филиграни и датой приписки — ТНС 253), второй список более поздний — 1873—1874 г., переписчик Сахаф-зада (ТНС 60, л. 1—25).

Хотелось бы отметить не отраженное в доступных нам каталогах, оригинальное по жанру сочинение автора XVIII в. Абди «Джамал-муджизат ва ал-хикайат» («Собрание чудес и рассказов»). Оно представляет собой сборник нравоучительных рассказов в стихах, составленный в 1722—1723 гг., во время правления Ахмада III (ТНС 141 — XVIII в.).

Завершая раздел «поэзия», укажем шифры сборников стихов различных авторов: Дорн 554—557, ТНС 145, 161, 174, 198, 199, 201, 203, 205, Бахч. собр. 111.

Переводы на турецкий язык и комментарии к произведениям персидских авторов отражают большой интерес к могучей литературе сопредельного Ирана и стремление к ее изучению. В ОРиРК хранятся переводы и комментарии «Гулистана» Саади Ширази (ум. 1292) трех авторов: Мусафы ибн Кази Араджа (XV в.; ТНС 237 — список XVI в.), Суди (ум. 1597; Дорн 373 — 3-я четв. XVII в.) и Шами (XVI в.; Дорн — 1591 г.).[10] Имеется подстрочный комментарий к Дивану Хафиза (ум. 1388—89) Суди (Дорн 414 — 1736 г.). Все они содержат тексты персидских оригиналов и потому имеют особое значение для истории не только турецкой, но и персидской литературы.

Биобиблиографии турецких поэтов. Появление в XVI в. жанра «тазкират аш-шуара» («жизнеописания поэтов») объясняется возникновением пристального интереса к собственной литературе, накопившей к этому времени достаточный потенциал, потребностью зафиксировать информацию и дать ей какую-либо оценку.

Биобиблиографии поэтов с образцами их творчества представлены сочинениями трех авторов: Латифи (ум. 1581; ТНС 167 — 1560-е гг.; ТНС 134 — ок. 1730 г.; ТНС 121 — XIX в.), Кинализаде (1546—1604; ТНС 169 — 1592 г.; ТНС 168 — 1606 г.) и Селима-эфенди (ТНС 170 — посл. четв. XVIII в.).

Художественная проза. Существует мнение, что «художественной прозы в нашем понимании этого термина турецкая средневековая литература не знала».[11] Однако даже беглого просмотра каталогов тюркских рукописей различных хранилищ мира достаточно, чтобы заметить, что изящная словесность турок не ограничивалась произведениями поэтических жанров. Публичная библиотека не составляет исключения в этом отношении.

Художественная проза в Турции существовала. Очень своеобразная, тяготеющая скорее к фольклору, часто представляющая

собой переводы с персидского и арабского языков, она составляла круг чтения и образованной, и не очень образованной городской публики. Интерес к занимательному сюжету, веселой шутке и доступно выраженной религиозной идее не мог удовлетвориться поэтическими жанрами с их избыточной условностью, требовал и находил иные формы, заимствуя их из собственного и иноязычного фольклора, литератур соседних стран. Особенно интенсивно этот процесс проходил в XVI в. и обусловливался, по всей видимости, социально-историческими причинами: развитием городов, повышением среднего уровня грамотности, ростом национального самосознания.

Эпические повествования и предания представлены тремя авторскими произведениями.

«Хамза-нама» (ТНС 66 — сер. XIX в.) — три тома (14—16) турецкой версии 24-томного повествования персоязычного автора мавляна Хамзави (ум. 1412), брата поэта Ахмеди. Сочинение имеет арабские корни: главный герой его — дядя пророка Мухаммада султан Хамза.

«Сулайман-нама» (ТНС 136 — 3-я четв. XVII в.) — лишь небольшой фрагмент 360-томной эпопеи турецкого автора Узун Фирдоуси. Сочинение состоит из преданий о Соломоне, сказаний, заимствованных из «Шах-нама» Фирдоуси, и самых разнообразных сведений энциклопедического характера. Эпопея была преподнесена Баязиду II (1481—1512), который распорядился оставить лишь 80 томов, а остальные уничтожить. Написав острую сатиру на султана, Узун Фирдоуси уехал в Иран.[12] История эта обычно воспринимается как курьез, хотя «Сулайман-нама» представляет большой интерес как с точки зрения простого народного языка, так и с точки зрения уровня и объема знания, зафиксированного в ней. Главный герой нашего фрагмента — «туранский шах Афросиаб».

Аналогично по содержанию «Сулайман-нама» (ТНС 43 — 1629 г.), но, вероятно, в одном томе. Автором назван Шауки.

«Народные романы». Этот жанр представлен тремя романами.

«Кисса-и Абу Муслим» (ТНС 139 — кон. XVII—нач. XVIII в.) — первый том турецкой версии персидского романа о жизни Абу Муслима (ум. 755), организатора восстания в Хорасане, которое привело к свержению Омейядских халифов и установлению династии Аббасидов.

«Кисса-и Малик Данишманд» (Дорн 578 — 1622 г.) [13] — роман об основателе династии Данышмендидов в Малой Азии Малике Ахмаде гази (1071—1084) и его борьбе за веру.

«Китаб-и Саййид Батал гази» (ТНС 138 — сер. XVII в.; Дорн 577 — XVIII в., другая редакция) — восходящий к арабским источникам роман о жизни Джафара ибн Хусейна, восьмого потомка Али, затя Мухаммада, и о борьбе первых мусульман с римлянами.

Рассказы, притчи, анекдоты. В ОРиРК имеется несколько сборников, авторы-составители которых известны.

Лями (1472—1532). «Ибрат-нама» («Книга поучений», ТНС 193 — 2-я четв. XVI в.) — нравоучительные истории, написанные в подражание «Гулистану» Саади и «Бахаристану» Джами. Его же. «Латаиф-Нама» («Книга анекдотов», ТНС 142 — 1560-е гг.).

Ал-Кафави (ум. 1601). «Раз-нама» («Книга тайн», ТНС 197 — кон. XVI—нач. XVII в.).

Сухейли (XVII в.). «Аджаиб ал-масир ва гараиб ал-навадир» («Удивительные памятники и диковинные редкости», ТНС 188 — 1725 г.; ТНС 64 — [XVII в.]) — сборник нравоучительных рассказов и анекдотов об исторических личностях, известных на Ближнем Востоке, составленный по персидским и арабским источникам. Второй список (ТНС 64) украшен 42 миниатюрами, о которых уже говорилось выше. В колофоне указана дата — 950 г. хиджры (1543—1544), которая, видимо, является анахронизмом, так как противоречит тому, что сочинение предназначалось Мураду IV (1623—1640). В медальонах более позднего переплета дата — 1285/1858—1859 г.

Из переводных сборников притч и рассказов следует отметить два:

«Хумаюн-нама» («Царская книга», Дорн 583 — 1570 г.; ТНС 233 — до 1638 г.) — предназначенный высоким слоям мусульманской интеллигенции перевод с персидского языка сборника «Анвар-и Сухайли», который, в свою очередь, является обработкой арабской книги «Калила и Димна», восходящей к индийским источникам. Автор персидского перевода — Хусейн Ваиз, автор перевода на турецкий язык — Васи Алиси (ум. 1543).

«Хикайат-и кирк вазир» («Рассказы сорока везирей», Дорн 579 [14] — 1499 г.; Дорн 582 — кон. XVI в., сокращенная редакция; Дорн 581 — посл. четв. XVIII в., рассказы первых шести дней; Дорн 580 — нач. XIX в., отсутствует конец, лакуны в тексте) — рассчитанный на грамотное простонародье перевод с арабского языка сборника «Арбайин сабах ва маса», имеющего индийские корни. Перевод на турецкий язык Ахмада Мисра. В рукописи ТНС 160 (1789 г.) переводчиком назван Шайх-зада (XV в.).

Среди рассказов, притч и анекдотов особого внимания заслуживает «Рассказ о Сефер-бей заде» («Сафар-бик заданин хикайати», ТНС 140 — до 1715 г.) — чисто турецкое прозаическое повествование о приключениях молодого горожанина в Стамбуле во времена султана Османа II (1618—1622). В этом сочинении, действие которого происходит в квартале Кум-капы и на противоположной части Галаты, отражены быт и нравы города. Приписки на полях о прочтении рукописи в разных домах и кофейнях свидетельствуют, видимо, о традиции устного коллективного чтения. Записи же о положительном отношении к прочитанному характеризуют вкусы потребителя, среднего горожанина — круг торговцев и ремесленников.

В разделе «художественная проза» необходимо отметить и сочинение, жанр которого трудно назвать с определенностью. Это — «Хусн ва дил» («Красота и сердце», Дорн 584 — 1565 г., Ускюдар), неоконченная турецкая переработка аллегорического прозаического произведения со вставками стихов персидского автора Фаттахи (ум. 1448). Существовали три турецкие версии этого сочинения. Автор-переводчик нашего списка — Ахи (Бенли Хасан, ум. 1517) .

Коллекция рукописей произведений турецкой литературы ГПБ не является уникальной ни по своему объему, ни по особой ценности составляющих ее сочинений. И хотя отдельные списки представляют интерес как уникальные, редкие, прижизненные и художественно оформленные экземпляры, главная ценность фонда в том, что он дает представление о круге чтения образованного турка. Читатель этот не слишком богат, он мало заботится об эстетике оформления, предпочитая ей увлекательное содержание. Этот грамотный читатель-горожанин имеет достаточно времени, чтобы читать рукописи, и достаточно средств, чтобы их приобретать. Такая категория читателя возникла в Османской империи в пору ее наибольшего экономического, политического и военного могущества — в XVI в. Это не только «золотой век» турецкой поэзии, но и время интенсивного развития художественной прозы и в целом — турецкой словесности, для изучения которой материалы Отдела рукописей и редких книг Публичной библиотеки представляют большую ценность.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque imperiale publique de St. Pétersbourg. Ed. par B. Dorn. St. Pétersbourg, 1852; *Dorn B.* Die Sammlung von morgenländishen Handschriften, welche die kaiserliche öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg im Jahre 1864 von Hrn v. Chanykov erworben hat. St. Petersburg, 1865.

[2] *Дмитриева Л. В.* Тюркские рукописи коллекции «новая серия» Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — В кн.: Восточный сборник. М., 1972, вып. 3, с. 76—85; *Васильева О. В., Лебедев В. В.* Бахчисарайское собрание восточных рукописей. — В кн.: Источники по истории отечественной культуры в собраниях и архивах Отдела рукописей и редких книг. Сб. науч. тр. / ГПБ. Л., 1983, с. 131—139; Сведения о новых поступлениях в ОРиРК см. в Отчетах ГПБ (печатались под разными заглавиями).

[3] О нем см.: *Воронова Т. П.* П. П. Дубровский — первый хранитель «Депо манускриптов» Публичной библиотеки. — В кн.: Археографический ежегодник за 1980 г. М., 1981, с. 123—130.

[4] О нем см.: *Виргинский В. С.* Петр Козьмич Фролов. 1775—1839. М., 1968; *Розов Н. Н.* Горный инженер П. К. Фролов — собиратель русской рукописной книги. — В кн.: Книжное дело Петербурга—Петрограда—Ленинграда. Л., 1981, с. 31—35.

[5] Архив ЛО ИВАН, ф. 50, Смирнов В. Д., ед. хр. 33, «О лубочных картинках», л. 7.

[6] О нем см.: Образцы каллиграфии Ирана и Средней Азии XV—XIX вв./ Сост., вступ. ст. и аннот. Г. И. Костыговой. М., 1963, с. 12—13, ил. 20.

[7] Описания рукописей Дорн 565 и 566 см.: *Нуриахметов А. Х.* «Искан-

дар-нама» Ахмади в рукописных собраниях Ленинграда. — КСИНА, М., 1965, № 69, с. 138—143.

[8] Описание рукописи ПНС 523 см.: Персидские и таджикские рукописи «новой серии» Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Алф. кат./Сост. Г. И. Костыгова. Л., 1973, с. 110, № 323.

[9] См.: *Маштакова Е. И.* 1) Из истории сатиры и юмора в турецкой литературе: XIV—XVII вв. М., 1972, с. 174, примеч. 26; 2) Из собрания сатир Нефʼи «Стрелы судьбы». — В кн.: Письменные памятники Востока: Историко-филологические исследования. 1971. М., 1974, с. 50; 3) О пражском списке собрания сатир Нефʼи. — В кн.: Средневековый Восток: История, культура, источниковедение. М., 1980, с. 173.

[10] Описания и исследования см.: *Алиев Р. М.* Рукописи «Гулистана» Саʼди Ширази в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — В кн.: Восточный сборник. 2. Труды ГПБ (5). Л., 1957, с. 88—90.

[11] *Гарбузова В. С.* Поэты средневековой Турции: Учебное пособие. Л., 1963, с. 7. См. также: *Маштакова Е. И.* Турецкая литература конца XVII—начала XIX в.: К типологии переходного периода. М., 1984, с. 21

[12] См.: *Маштакова Е. И.* Из истории . . ., с. 94—95.

[13] Рукопись исследована: *Гарбузова В. С.* Сказание о Мелике Данышменде: Историко-филологическое исследование. М., 1959.

[14] Опубликован фрагмент рукописи: *Смирнов В. Д.* Образцовые произведения османской литературы в извлечениях и отрывках. СПб., 1891, с. 296—300.

5 Заказ 1165

Н. З. Гаджиева

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНЫХ ВОПРОСАХ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

I. Для складывающейся и развивающейся сегодня компаративистики в любом частном языкознании характерно использование более совершенных приемов реконструкции, операционных приемов проникновения в глубь истории языков. Использование только сравнительного приема не удовлетворяет современного исследователя-компаративиста. Современный сравнительный метод обогащен приемами исторических исследований. Широко привлекаются данные типологического анализа при освещении различных проблем сравнительной грамматики.

С помощью исторического метода мы сравниваем лишь элементы систем, но не можем сравнивать системы, их структуры в целом. Кроме того, эти элементы мы сравниваем односторонне, только с точки зрения их генезиса, но не их функции в современной системе языка. Исторический метод делает возможным сравнение элементов только родственных языков, восходящих к общему праязыку и принадлежащих одной языковой семье.

Типологическое языкознание сравнивает только различные системы, элементы которых, включенные в системы разной структуры, занимают по своей природе разное положение в их пределах и имеют вследствие этого различную функцию.[1] Однако использование данных типологических схождений в частных языкознаниях, в конкретном случае тюркском, представляет немалые трудности. Они проистекают в значительной степени потому, что при всей развитости такой области языкознания, как типология, ее основные понятия и исходные принципы еще недостаточно определены.

При условии строгой дифференциации слова *типологический*, *типовой* с его синонимом *сходный* очень эффективно использование данных языкового типа в рамках родственных языков.

Так, например, реконструкция различных синтаксических единиц в тюркских языках в значительной степени облегчается тем, что все тюркские языки являются языками ярко выраженного агглютинативного типа.

Использование типологических черт особенно надежно, когда они являются продолжением типологических особенностей праязыка определенной семьи языков. Так, например, характерные типологические особенности тюркских языков являются продолжением типологических особенностей праязыка определенной семьи языков: они отражают особенности тюркского праязыка. Типологические приемы, работающие на материале группы родственных языков, помогают установлению относительной хронологии праязыковых архетипов, выделению ранних и более поздних праязыковых состояний.

Твердый закон порядка слов «определение+определяемое» проявляется в структуре всех синтаксических категорий. Любое словосочетание в тюркских языках строится по принципу «зависимый член+главный член», а в широком смысле это фактически «определение+определяемое»; ср.: азерб. *яхшы гыз* 'хорошая девушка' и *яхшы языр* '(она) хорошо пишет'.

Способность имен существительных выступать в роли определения и отсутствие согласования с определяемым явилось почвой для развития в тюркских языках особого типа словосочетаний — изафета. В конструкциях, относимых к I типу изафета, синтаксические отношения в которых связаны, основаны только на простом примыкании, развиваются адъективизированные сочетания слов типа тур. demir kapı 'железные ворота', каз. *ай жарық* 'лунное освещение'. Идущий процесс адъективизации в подобного рода сочетаниях слов сделал излишним употребление аффикса принадлежности как показателя соотнесенности предметов — субстантивов. Случаи предпочтения I типа изафета II и III типам, значительная его развитость в таких языках, как кумыкский, чувашский, а также сам простейший способ выражения синтаксических отношений, на котором он основан, — примыкание —свидетельствуют о его древности и возможном отнесении к тюркской праязыковой общности.

На базе отношений «существительное+существительное» (т. е. определение+определяемое) развивались в тюркских языках притяжательные аффиксы, синтаксические конструкции по типу изафета II (ср. тур. kebap kokuları 'запахи шашлыка', 'шашлычные запахи'). Тотальная распространенность во всех тюркских языках указывает на значительную архаичность II типа изафета, развивающегося на базе значения принадлежности. Об этом свидетельствует материал якутского языка (изафет II выражает отношение определяемого к определению по признаку принадлежности: *Киhи ата* 'лошадь человека'). Развитие значения родовой категориальности, естественно связанной с понятием неопределенности, происходит параллельно со становлением самой категории определенности/неопределенности, существующей в тюркских языках неизначально. Развитие III типа изафета, соотносимого с более поздним периодом тюркской праязыковой общности, связано с развитием категории определенности. Действием закона «определение+определяемое» объясняется типич-

ная для агглютинативных языков препозиция родительного падежа, имеющая в ряде тюркских языков артиклевые функции. Развитие III типа изафета приводило к некоторому разрушению первоначально тесно спаянных именных атрибутивных комплексов (ср. широкие возможности раздвижения у III типа изафета). Последнее создавало условия в тюркских языках для развития развернутых конструкций.

Конечная позиция глагола в тюркских языках и вытекающая отсюда препозиция дополнения, включая развернутые конструкции, продиктованы тем же законом порядка слов «определение+определяемое». Появление объектных конструкций с винительным падежом — явление, очевидно, более позднее, связанное с расчленением спаянного словосочетания, с историческим развитием категории определенности/неопределенности.

Закон порядка слов с сопутствующей ему постоянно действующей тенденцией расширять границы определения и строить все сложное по модели простого определил и развитие структуры предложения.

Таким образом, учет совокупности характерных, повторяющихся в группе языков признаков, составляющих их типовые особенности, помогает в сравнительно-исторических исследованиях.[2]

Наблюдения показывают, что вышеупомянутые типовые признаки тюркских языков не только пронизывает всю их структурную организацию, но и помогают выявлению сопряженных законов.

Так, например, закономерные особенности построения синтаксической структуры тюркских языков, отличающиеся большой устойчивостью, объяснимы и поддерживаются законами морфологической структуры слова; для морфологического типа тюркских языков, который принято называть агглютинативным, характерен такой аффиксальный тонус языка, который исключает возможность префиксов. Стандартная организация морфологической структуры слова и является основой для постоянно действующего закона «определение+определяемое» (ср. тур. evin içinde 'в доме' букв. 'дома во внутренней части его'). Это образование, в котором второй член выражает релятивное отношение, является зародышем конструкции «определение+определяемое». Расположение аффиксов в структуре слова тоже основано на законе «определение+определяемое». Порядок размещения слов и словообразовательных аффиксов идет в плане коллокации, причем фактор нарастания абстрактности распространяется и на словообразовательные элементы, и на сложение слов. Аксиальная структура парадигмы вызвала необходимость появления аффиксов-прилеп, обеспечивающих четкость границ между морфемами. Отсюда скудность дифтонгов, а также наличие дополнительного ударения и гармонии гласных и т. д.

Наилучшим доказательством преемственности типологических черт от праязыка является возможность такого доказательства

родства отдельных показателей путем этимологизации со строгим соблюдением законов сравнительно-исторического метода. В алтаистической литературе наблюдаются случаи, когда типологическое сходство тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и других алтайских языков принимается за генетическое родство. Все противоречия алтайской гипотезы, возникшей в основном на базе трудов Г. И. Рамстедта, Н. И. Поппе и др., происходят по двум причинам: 1) нечеткое соблюдение законов сравнительно-исторического метода при реконструкции алтайского архетипа, 2) отсутствие четко выработанной методики при дифференциации исконно генетических корней и заимствованных.

Большая степень сохранности сходно звучащих тюркских и монгольских слов содержит косвенное свидетельство об отсутствии их материального родства, поскольку одним из условий сравнительно-исторической грамматики генетической группы языков является то, что родственные слова этой группы языков никогда не находятся на одном и том же уровне сохранности. Ср., например, монг. *жил* 'год', каз. *жыл*, кирг. *җыл*, тат. *ел* (*йыл*) и т. д. Монгольские архетипы обычно не дают никаких дополнительных данных для усовершенствования тюркских архетипов, тогда как известно, что родственные слова в индоевропейских языках такие дополнительные данные могут дать.

Так, например, монг **эр* 'мужчина' не может быть использовано для установления архетипа этого слова, который звучал как **эр*, ср.: азерб. *эр*, тат. *ир*. Или ср.: в тюркских языках есть деепричастие на *-гач*, ср. тат. *алгач* 'взяв' и т. д. Г. Рамстедт сравнивает его с монгольским деепричастием прошедшего времени на *-гад*, например: jabugad irebei 'пошедши я вернулся'.[3] Вряд ли между ними есть что-либо общее. В тюркских языках элемент *-ч* в конце деепричастия на *-гач* скорее является окончанием древнего направительного падежа на *-ча*; *килгач* некогда означало 'к приходу'. В монгольском языке *д* — это, по-видимому, окончание направительно-местного падежа на *-д*. Различие значений может указывать на то, что, например, два сходно звучащих форматива генетически не родственные. В алтаистической литературе есть гипотеза, связывающая тюркск. *-дык* с монгольским *-даг/-дег* — окончанием причастия настоящего времени со значением привычного действия (nomen usus). Подкрепляющим фактором этой гипотезы считается наличие в якутском показателя -tax ~ -täx (-dax ~ -däx).[4] Однако данную гипотезу нельзя считать доказанной. Если можно обосновать фонетические соответствия тюркских и монгольских аффиксов, то сложнее обстоит с семантическими оттенками — они у этих аффиксов не совпадают. Тюркск. *-дык* обозначает прошедшее (несовершенное), а монг. *-даг/-дег* выражает настоящее время (привычное). Возможность перемещения таких значений еще достаточно не обоснована. Ср. еще гипотезу об алтайском происхождении аффикса *-ти* (в образовании *-дачы/-тäчи*), этимологически связанного с отглагольными именами *-ти* и *-та*, представленными в монгольских, тунгусо-маньч-

журских и корейском языках.[5] Однако это гнездо отглагольно-именных образований объединяет в названных алтайских языках аффиксы столь разнохарактерные по своей семантике, что трудно установить преемственность в их семантическом развитии, а также само материальное родство (ср. декларатив (инфинитив и индикатив) *-та* в корейском, супин *-дā* в тунгусском, имя на *-да* в монгольском и т. д.). Поэтому вызывает большие затруднения объяснение *-дачы*, *-тäчи* в масштабе алтайских языков без предварительных специальных разработок.

В последние годы появились продуктивные попытки установить критерии дифференциации генетических и типологических схождений тюркских и монгольских языков. И в качестве одного из веских, с нашей точки зрения, критериев предлагается неразвитость лексико-семантических гнезд как один из признаков заимствованного слова.[6]

Следует учитывать случаи, когда определенный тип языка (ср. агглютинативный) может порождать сходные особенности в языках в самых различных точках земного шара (ср. тенденцию на устранение придаточных предложений европейского типа, характерную для многих агглютинативных языков — от тюркских, уральских, тунгусо-маньчжурских до дравидийских языков и др.). Если сходные черты возникли спонтанно, то всякое утверждение о генетическом родстве не будет иметь достаточных оснований. Общие черты, возникшие спонтанно, не поддаются этимологизации. Необходимо строгое разграничение случаев конвергенций — сходных типовых особенностей (ср. изафет в тюркских и венгерском языках и др.).

Современные языки могут сохранить типовые особенности праязыка, и при этом может возникать типологическая инерция. Последняя сводится к тому, что сохраняется тенденция к созданию определенного типа, но средства ее осуществления обновляются (ср. способы сокращения придаточных предложений, которые в тюркских языках не являются абсолютно одинаковыми). При типологической инерции сами средства могут не обнаруживать генетического родства. В качестве сложного случая можно назвать такой: генетическое родство между языками почти утратилось, однако типовая инерция в них продолжается, осуществляясь разными средствами (ср. палеоазиатские языки).

Таким образом, языковой тип обнаруживает достаточную устойчивость. Материально языки изменяются быстрее своей типологической структуры. В некоторых тюркских языках (ср. азербайджанский) тенденция на сокращение придаточных предложений значительно уступила место появлению придаточных предложений европейского типа с союзами, однако реликты прежнего состояния довольно устойчивы (ср. позицию слова *ки* и др.).

Типовые особенности могут быть результатом усвоения. Исследователи отмечают поразительное сходство моделей сложных глаголов в бенгальском с моделями сложных глаголов в дравидийских языках. В результате влияния различных индоевропейских

языков синтаксис таких финно-угорских языков, как венгерский, финский, эстонский, саамский, мордовский и коми-зырянский, приобрел типологические черты синтаксиса индоевропейских языков. В качестве методического руководства при этом могут быть: а) знание предыдущего состояния данного языка, его семьи и б) наличие в географической близости языков другого типа, с которыми было возможно контактирование.

II. Проблема определения кыпчакизмов в тюркских языках — один из вопросов, создающих трудности при изучении истории тюркских языков, в особенности языков Причерноморья и Кавказа. Так, например, зарегистрированный в азербайджанском, турецком и туркменском языках пласт общих «кыпчакизмов», которые повторяют кыпчакизмы тюркских языков таких территориально удаленных ареалов, как Средняя Азия и Поволжье, свидетельствует о том, что эти кыпчакизмы являются исконными, изначальными. От них следует отличать кыпчакизмы, приобретенные в результате вторичных контактов в благоприятных географических условиях. Так, например, ряд кыпчакизмов в туркменском языке мог быть усвоен от соседних языков — узбекского, каракалпакского и др. Типично среднеазиатская форма настоящего времени на *-а* в сочетании со вспомогательными глаголами не характерна для диалектов азербайджанского и турецкого языков; ср. также лабиализованные согласные ногайско-казахского типа, форму прошедшего времени на *-ужы* (каз. *-уші*), многочисленные формы хронологически более поздних причастий: *-(а)ду:рон/-(а)до:рон* (ср. тат. *-атурган*), деепричастия *-ганча*, *-галы* и т. д.

Примером кыпчакизмов, приобретенных в результате вторичных контактов, могут быть и такие, как изоглосса с показателем *-сығыз* (2-е л. мн. ч.), которая объединяет северные районы Азербайджана с соседними районами распространения кумыкского языка — показатель *-гиз/-ғыз* в качестве личного аффикса 2-го л. мн. ч. в сфере прошедшего времени широко употребителен в кумыкском языке.

Сравнительно-исторические разработки при опоре на данные ареальных исследований дают некоторые основания предполагать, что эпохе относительно сформировавшихся так называемых огузских и кыпчакских языков предшествовало общетюркское как бы доогузо-кыпчакское состояние. Процедура реконструкции на всех языковых уровнях подтверждает этот тезис.

Древние причастия эпохи тюркского праязыка существенно отличались от тех причастий, которые мы наблюдаем в современных тюркских языках. Они не имели временной и залоговой дифференциации и, скорее, были отглагольными прилагательными. Отглагольные прилагательные этого типа обозначали какое-либо свойство, присущее глаголу, например результативность действия. Реликты такого причастия — отглагольного прилагательного (реже существительного) представлены во всех тюркских языках, как огузских, так и кыпчакских. Так, например, харак-

терная для современных кыпчакских языков форма *-қан/-ған* реликтово сохраняется в огузских языках. Ср. тур. *чалышкан* 'работающий' (от *чалыш-* 'работать'), *курган* 'крепость' (от *кур-* 'строить'), азерб. *гудурған* 'бешеный' (от *гудур-* 'взбеситься'), *јарған* 'овраг' (от *јар-* 'рассекать'). А характерная для огузских форма *-мыш* реликтово сохраняется в кыпчакских языках; ср. тат. *търмъш* 'жизнь' (от *тър-* 'жить'), *ја$_0$змыш* 'судьба' или 'нечто предписанное' (от *ја$_0$з-* 'писать'), узб. *ўтмиш* 'прошлое' (от *ўт-* 'проходить' и т. д.).

Можно предположить, что кыпчакские и огузские языки образовались не путем распада какого-то единого языка, а путем отстаивания тех или иных по преобладанию черт в определенных географических условиях. Отстаиванию черт предшествовали многочисленные и сложные процессы миграционного разноса смешанных черт и распределения их по огромной территории от Енисея до Босфора.

В отдельных географических районах шли процессы отстаивания черт, процессы формирования отдельных национальных языков; эти процессы нельзя считать окончательно законченными. Кыпчакские языки как бы более чисто отслоились в менее изолированных условиях.

Можно говорить о кыпчакском (условно) колорите казахских, ногайских, татарских диалектов, хотя в недрах этих языков содержатся огузизмы (ср. наличие в сфере словообразовательных элементов формы *-мыш* в башкирском *яҙмыш* 'судьба', хотя в глагольной системе в качестве перфекта отстоялась форма *-ган* и т. д.).

Огузированные черты уже сложились в некоторых диалектах на территории Средней Азии (ср. ранние енисейско-орхонские памятники, диалекты узбекского языка — формы род. пад. *-ын*, дат. пад. *-а* и т. д.).

Приемы ареальных исследований помогают выявить огузированную направленность азербайджанско-турецко-туркменских типовых признаков. Можно предположить, что сельджукская языковая волна (включающая и так называемые кыпчакизмы) была разнесена западной миграцией по обширной территории, включая современные Туркмению, Азербайджан, Турцию.

Доказательством этого предположения является то, что помимо общеизвестных отстоявшихся огузированных черт между азербайджанским, турецким, туркменским языками выявляются изоглоссы общих кыпчакизмов, отражающих раннее состояние тюркских языков, отличающееся смешанностью (термин условный), т. е. пестротой черт. Ср. например: а) в диалектах азербайджанского, турецкого, туркменского языков зарегистрированы факты веляризации гласных — более задней их артикуляции (т. е. гласные кыпчакского типа *ȯ*, *ӱ* и др.); б) в диалектах этих языков наблюдается фонетическое явление оканья; в) островками сохранился заднеязычный смычный *ķ*, свойственный языкам так называемого кыпчакского типа; г) при значительном удельном весе озвонченного анлаута островками встречается глухой анлаут —

реликт раннего состояния тюркских языков, а вибрация глухой ~ звонкий анлаут отражает процессы отстаивания черт в определенной территориальной общности; во всех тюркских языках наблюдается двоякое отражение многих корней, в одних случаях с начальным глухим, в других — с начальным звонким; д) в диалектах всех трех языков зарегистрированы процессы сужения гласных, что особенно характерно для кыпчакских языков; е) в диалектах этих языков наблюдается вибрация показателей мн. числа *-к* и *-з*, *-сиз* и *-синиз*; ж) наличие так называемой общекыпчакской формы настоящего времени на *-а*; з) в диалектах всех трех языков функционирует винительный на *-ы* и *-ны*, дательный на *-а* и *-га* и т. д.

При отстаивании национальных черт отдельных тюркских языков на определенной территории островками могут сохраняться в одних случаях кыпчакизмы, в других — огузизмы и как следы изначально (смешанного) не отстоявшегося состояния тюркских языков и как следы многослойных миграционных процессов. Ср. форму настоящего времени *-ат*, локализованную только в северных говорах (дербентском говоре) азербайджанского языка, форму деепричастия *-гач*, локализованную только в айрумском говоре.

Выделяя в современных так называемых огузских языках кыпчакизмы, необходимо учитывать их неоднородный характер и различать: 1) исконные кыпчакизмы, 2) кыпчакизмы, контактно приобретенные в благоприятных географических условиях; 3) кыпчакизмы как результат влияния литературных языков через поэзию (ср. язык предшественников Навои); 4) ложные кыпчакизмы как результат процессов конвергентного самостоятельного развития, как результат случайных совпадений. Для правильного отграничения вышеназванных кыпчакизмов необходима четкая и строгая методика. Такая методика должна опираться на целый комплекс приемов лингвистического анализа.

Одними из важнейших являются генетические приемы, выявляющие внутрисистемные особенности языка, однотипные по своему характеру процессы, дающие одинаковые результаты и проявляющиеся с достаточно высокой степенью частотности в различных языках мира.

Параллельные явления, зарегистрированные в различных тюркских языках, могут и не служить подтверждением их генетической общности. Поэтому при выявлении кыпчакизмов в современных отстоявшихся огузских языках следует учитывать, что в тюркских языках, как и других языках мира, совершается масса конвергентных процессов благодаря наличию фреквенталий, т. е. потенциально возможных изменений звуков.

Процессы делабиализации, спирантизации и др., зарегистрированные в диалектах азербайджанского, турецкого, туркменского языков, отражают конвергентные изоглоссные явления. Они встречаются в тюркских языках и других географических ареалов.

Сам по себе конвергентный процесс может вызвать сгущение изоглосс в определенных географических условиях, в соседстве с языками, для которых этот процесс характерен и является системно обусловленным. Характерным признаком параллельных конвергентных явлений, помимо их территориальной удаленности (ср. явления сужения гласных в азербайджанском и татарском языках), является различная системная обусловленность этих явлений. Так, например, сужение гласных в татарском языке сопровождалось появлением редуцированных. В азербайджанском же языке сужение гласных не предполагает этого фонетического процесса. Изменение *к* > *х* в чувашском языке иногда приводило к переходу задненебных редуцированных в передненебные редуцированные (тат. *кыш* > чув. *хĕл* 'зима'). В якутском, как и в азербайджанском (для которого *к* > *х* характерно для всех позиций слова), нет такой взаимообусловленности, так что фонетические процессы изменения *к* > *х* в этих языках несинхронны. Синхронность и системная обусловленность характеризуют зональные изоглоссы, возникшие в рамках отдельных общностей. Например, изоглоссами являются переходы *ч* > *ш* и *ш* > *с*. Они особенно характерны для микроареала, включающего казахский, каракалпакский и ногайский языки. Это явление для данного ареала отстоялось в доминантный признак.

Фонетический, морфологический и синтаксический строй тюркских языков способствует совпадению изоглоссных явлений, т. е. их общность обусловлена самой типологической структурой тюркских языков, помимо того что внутри них действовали фреквенталии.

В рамках той или иной генетической группы конвергенции сдерживаются рамками языковых данных. Поэтому в тюркских языках не может возникнуть аналитический строй, невозможно тотальное выражение придаточных предложений европейским способом союзной связи. Изменения в диалектах тюркских языков подчиняется фреквенталиям, и вместе с тем известная перегруппировка данных создает тип языка, а фактически нередко двойной и тройной тип языка.

Изоглоссные явления, зарегистрированные как реликты древнего состояния тюркских языков — ранние кыпчакизмы, могут быть одновременно миграционными, т. е. они являются результатом исторических миграционных потоков (ср. форму настоящего времени *-ат* в дербентском говоре или форму деепричастия *-гач* — в айрумском говоре азербайджанского языка). Такой же исконный характер носят и следующие кыпчакизмы в современных огузских языках (азербайджанском, турецком, туркменском) — форма настоящего времени на *-а*, причастие *-ган*, дат. пад. на *-га* и т. д.

Таким образом, при выявлении исходных кыпчакизмов необходимо использовать приемы ареальных исследований, учитывающих признаки конвергентных явлений — территориальную удаленность и несинхронность возникновения явления, а также раз-

личные приемы лингвистического анализа — только в этом случае, т. е. при использовании комплексной методики, возможно преодоление целого ряда трудностей сравнительно-исторической грамматики тюркских языков.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983, с. 285—286.

[2] См.: *Ярцева В. Н.* О принципах морфологического типа языка. — В кн.: Морфологическая типология и проблема классификации языков. М.; Л., 1965, с. 109; *Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка, с. 287—295.

[3] *Рамстедт Г. И.* Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с. 140.

[4] *Серебренников Б. А.* Являются ли тюркско-монгольские параллели средством проникновения в глубину истории тюркских языков? — СТ, 1980, № 6, с. 30; см.: *Котвич В.* Исследование по алтайским языкам. М., 1962, с. 293—294.

[5] *Рамстедт Г. И.* Введение в алтайское языкознание, с. 112—114.

[6] См.: *Серебренников Б. А., Харькова С. С.* О некоторых эффективных методах исследования проблемы родства тюркских и монгольских языков. — СТ, 1983, № 5.

А. П. Григорьев

ФОРМУЛЯР ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ЖАЛОВАННЫХ ГРАМОТ

Известны и в некоторой мере изучены золотоордынские жалованные грамоты XIV—XV вв., тексты которых сохранились на языке оригинала. Речь идет о ярлыках Токтамыша (1381 г.), Тимур-Кутлука (1398 г.) и Улуг-Мухаммеда (1420 г.).[1] Более широко и давно известны старинные русские переводы шести жалованных грамот XIII—XIV вв. Это ярлыки Менгу-Тимура (1267 г.), Бердибека (1357 г.), Бюлека (1379 г.) и грамоты Тайдулы (1347, 1351 и 1354 гг.).[2] Названные документы, составившие так называемую «краткую редакцию» сборника ханских ярлыков русским митрополитам, неоднократно издавались.[3] В середине прошлого века русские тексты актов сборника ханских ярлыков были проанализированы В. В. Григорьевым, который решительно высказался за их полную достоверность.[4] Несмотря на то что в начале нашего века П. П. Соколову удалось доказать подложность одного из ярлыков сборника в его «пространной редакции»,[5] мнение В. В. Григорьева о близости текстов всех остальных русских переводов ханских ярлыков к их восточным оригиналам разделялось большинством исследователей вплоть до наших дней.

Автор этих строк поставил перед собой задачу восстановить, насколько это возможно, содержание оригинальных текстов, лежащих в основе актов сборника ханских ярлыков. Выяснилось, что скорее всего большинство из них было первоначально написано буквами уйгурского алфавита по-монгольски, а затем переведено на тюркский и русский языки.[6] Только ярлык Бюлека сразу написан уйгурицей по-тюркски и синхронно переведен на русский язык.[7] В целом успешно прошла операция по совмещению монгольских и тюркских оборотов и формул, составлявших начальные и конечные статьи чингисидских жалованных грамот различных регионов [8] с таковыми же в трех ханских ярлыках сборника.[9]

На этом этапе дело реконструкции первоначального содержания документов сборника приостановилось. Прямое наложение монгольских и тюркских формул на русские тексты пожалований не получалось. Только обстоятельное рассмотрение вопроса

о времени составления двух самых ранних из сохранившихся списков сборника ханских ярлыков привело к выводу, который заставил взглянуть на проблему по-новому. Оказалось, что основные тексты переводов актов сборника уже в середине XV в. подверглись по указанию и при непосредственном участии руководства русской православной церкви серьезной переделке, цель которой состояла в том, чтобы превратить ханские ярлыки в полемическое средство борьбы против попыток центральной светской власти ограничить монастырское землевладение. В тексты переводов были внесены многочисленные вставки и другие искажения. Из ярлыка Менгу-Тимура были, наоборот, изъяты некоторые обороты.[10]

Стало ясно, что для реконструкции содержания первоначальных текстов документов, составивших сборник ханских ярлыков, не годится метод механической подстановки готовых оборотов и формул. Нужна в первую очередь углубленная работа по выявлению индивидуальных формуляров актов сборника. Критерием истинности наших суждений о содержании статей индивидуального формуляра любого из документов сборника должны стать соответствующие им статьи формуляров золотоордынских актов, тексты которых сохранились в подлиннике или на языке подлинника. В понятие «актовый формуляр» принято включать схемы четырех типов — формуляры условный, абстрактный, конкретный и индивидуальный.[11] Принимаем, что к условному формуляру относятся всякого рода золотоордынские грамоты; к абстрактному — жалованные грамоты; к конкретному — жалованные грамоты определенного назначения, т. е. набора закрепленных в них феодальных привилегий; к индивидуальному — текст каждой отдельной жалованной грамоты.

Сравнивать между собой напрямую статьи индивидуальных и даже конкретных формуляров мы не всегда можем даже в пределах сборника ханских ярлыков, ибо там наряду с четырьмя жалованными грамотами храмам и монастырям есть и две проезжие грамоты.[12] Три ярлыка XIV—XV вв., сохранившиеся на языке оригинала, не имеют к русской церкви никакого отношения. Значит, их сравнение с актами сборника может идти только на уровне абстрактного формуляра. Мы давно убедились на практике в том, что даже на таком уровне жалованные грамоты разнятся одна от другой лишь основным текстом — пожалованиями. Подытожим наши наблюдения над составом и содержанием всех статей абстрактного формуляра золотоордынских жалованных грамот. Попытаемся уточнить их названия и объем.

Первая статья формуляра сохранилась в ярлыке Токтамыша и предполагается нами в ярлыке Улуг-Мухаммеда.[13] Это сакральная статья, тождественная компоненту «богословие» условного формуляра. Мы бы и назвали ее «богословие» применительно ко всем типам формуляров. Богословие возможно лишь в чингисидских жалованных грамотах, написанных буквами арабского алфавита.[14] Поскольку подлинные тексты сборника ханских ярлыков

были начертаны уйгурицей, то в их формулярах, равно как и в ярлыке Тимур-Кутлука, статьи «богословие» не было. Это первая и единственная в своем роде статья имеет самодовлеющий характер, она никак не связана по смыслу с пожалованием. Формальная связь ее с документом в целом зиждется на обязательности прославления бога для всех мусульман.

Вторая статья формуляра чингисидских, а значит, и золотоордынских жалованных грамот прежде называлась нами мотивировочной.[15] За нею следовала статья, содержащая обращение.[16] Материал золотоордынских жалованных грамот позволяет объединить эти статьи в одну, которую назовем «обращение». Действительно, соответствующие разделы текста любого из трех золотоордынских ярлыков, сохранившихся на языке оригинала, подтверждают этот вывод. Текст статьи «обращение» обычно сосредоточен в одном предложении, которое можно расчленить на два оборота. Первый из них — указ. В ярлыках Токтамыша, Тимур-Кутлука и Улуг-Мухаммеда указ состоит из имени хана-адресанта и слова «указ». В сборнике русских переводов ханских ярлыков при указе в актах Менгу-Тимура, Бердибека и Бюлека находится мотивировка, т. е. ссылка на волю бога. В грамотах Тайдулы от 1351 и 1354 гг. мотивировка при указе выражалась через распоряжение правящего хана. При указе в грамоте Тайдулы от 1347 г. мотивировка отсутствует. Итак, первым оборотом статьи «обращение» в золотоордынских жалованных грамотах был указ, или мотивированный указ.

Следующим оборотом разбираемой статьи, завершающим предложение, был адресат, т. е. перечисление лиц, к которым обращен указ. На этом и кончалась статья «обращение» во всех известных нам золотоордынских актах, кроме одного, последнего по времени выдачи. В ярлыке Улуг-Мухаммеда обращение дополняется еще одним оборотом, который грамматически не связан с остальным текстом статьи. Этот оборот, назовем его «оповещение», состоит из двух слов — tüzünčä biliŋlär. Первое слово слагается из наречия образа действия tüzün 'точно, правильно' [17] и наречного аффикса -čä.[18] Второе слово заключает в себе основу глагола bil- 'знать, ведать' [19] и финитную глагольную форму 2-го л. мн. ч. -iŋlär со значением повеления.[20] Сочетание этих двух слов по-русски передается восклицанием: «Знайте доподлинно!». Оборот «оповещение» как бы стремится оторвать указ от собственно обращения и создать с последним новое смысловое единство. Однако на данном этапе этот процесс только намечается.

За двумя начальными статьями следует сложный комплекс статей и оборотов, который мы назвали «пожалование». Анализ пожалования в ярлыках Токтамыша, Тимур-Кутлука и Улуг-Мухаммеда привел нас к выводу о двуедином составе этой основной части формуляра золотоордынских жалованных грамот, которая содержит в себе объявление о пожаловании и условия пожалования.[21] Включаем эти две статьи пожалования в общий перечень статей абстрактного формуляра.

Третья статья формуляра — объявление о пожаловании. В изначальных жалованных грамотах, таковой является ярлык Токтамыша, эта статья состоит из одного оборота. В подтвердительных, в число которых входят все другие известные нам золотоордынские иммунитетные жалованные грамоты, — она распадается на два оборота: прецедент пожалования и собственно объявление о пожаловании. Прецедент пожалования представляет собой сообщение о прошлом пожаловании, которое служит образцом для настоящего. Рассмотрение этого оборота в ярлыках Тимур-Кутлука и Улуг-Мухаммеда позволяет утверждать, что, несмотря на подчас сложный состав прецедента пожалования, обязательными для него являются три элемента: кто (хан-предшественник), кому (личное имя предка или самого грамотчика) и что́ именно пожаловал. Объявление о пожаловании было, как правило, более коротким и четким. Его непременные элементы: кому (личное имя грамотчика) и что́ именно пожаловано. Личность адресанта специальным словом здесь не обозначалась. Подразумевалось, что жалователь достаточно четко назван в обращении.

Четвертая статья формуляра — условия пожалования. В зависимости от конкретного содержания она могла подразделяться на следующие обороты: иммунитетные привилегии, призыв к содействию, предостережение представителям адресата, предостережение грамотчику, наказ грамотчику.

Иммунитетные привилегии, закрепленные за различными грамотчиками в ярлыке Токтамыша, Тимур-Кутлука и Улуг-Мухаммеда, были такими: общая широкая привилегия — тарханство; податной иммунитет; заповедный иммунитет; права на производство торговли, беспошлинный проезд, самостоятельный сбор налогов. Перечисленные шесть разновидностей феодальных льгот находились в обороте «иммунитетные привилегии» названных ярлыков в различных сочетаниях и не в полном наборе. В ярлыке Улуг-Мухаммеда декларировались две разновидности льгот, в ярлыке Токтамыша — три, в ярлыке Тимур-Кутлука их перечислено целых пять. Этот оборот во всех жалованных грамотах был основным, на нем держалось все пожалование. Он всегда начинался словами: «Отныне и впредь».

Обороты «призыв к содействию» находятся в ярлыках Токтамыша и Улуг-Мухаммеда. По форме они не совпадают, но в обоих случаях речь в них идет об обязательном содействии грамотчикам со стороны представителей адресата в деле сбора налогов с пожалованной территории. Так что этот оборот в статье «условия пожалования» вызывался к жизни только предоставлением грамотчику права собирать налоги в свою пользу или в пользу государства.

Оборот «предостережение» представителям адресата по смыслу продолжал оборот призыв к содействию. Потому мы и встречаем его в ярлыках Токтамыша и Улуг-Мухаммеда. В нем представители адресата в случае, если бы они осмелились действовать наперекор смыслу пожалования, устрашаются формулой «непременно убоятся!».

Оборот «предостережение грамотчику» служил необходимым противовесом обороту «предостережение представителям адресата». Он присутствует в ярлыках Токтамыша и Улуг-Мухаммеда. В этом обороте грамотчику напоминается, что факт пожалования не может служить оправданием в случае, если он будет дурно управлять людьми, вверенными ему жалователем.

Когда в жалованной грамоте отсутствовали три рассмотренных выше оборота, сразу за перечислением иммунитетных привилегий следовал оборот, который прежде мы называли «обязательства со стороны грамотчика».[22] В нем последнему предписывалось постоянно возносить благодарственные молитвы за жалователя и его род. Точнее было бы назвать этот оборот «наказ грамотчику».

Анализируя статьи пожалования, мы намеренно не привлекали материал сборника ха́нских ярлыков русским митрополитам. Этот материал требует специального более скрупулезного рассмотрения. Содержащиеся в сборнике проезжие грамоты Тайдулы от 1347 и 1354 гг. уже разбирались нами прежде.[23] Основной текст грамот расчленяется на две статьи, названные нами «разрешение на проезд» и «условия проезда». По общему смыслу и отдельным элементам эти статьи совпадают со статьями «объявление о пожаловании» и «условия пожалования» иммунитетных жалованных грамот. Грамота Тайдулы от 1354 г. является проезжей охранной, грамота от 1347 г. — проезжей охранно-иммунитетной.

Пятая, последняя статья формуляра золотоордынских жалованных грамот называлась нами «удостоверительной».[24] Теперь, руководствуясь соображениями единства стиля, будем именовать ее «удостоверение». Статья состоит из трех оборотов: удостоверительные знаки, время и место написания, представление.

Оборот «удостоверительные знаки» грамматически связан со статьей «условия пожалования», составляя с нею единое предложение. В монгольских грамотах великих ханов и ханов — наследников престола этот оборот отсутствовал.[25] В единственной из сохранившихся золотоордынской жалованной грамоте XIII в. — ярлыке Менгу-Тимура — оборот «удостоверительные знаки» читался: «грамота выдана». Собственно удостоверительные знаки здесь не обозначены. Их заменяет название документа — «грамота». Так и должен был называться иммунитетный акт, выданный не великим, а улусным ханом — чингисидом. В тексте документа отсутствует указание на печать или иные удостоверительные знаки. В жалованной грамоте уйгурского письма на тюркском языке тимурида Шахруха от 1422 г. форма и содержание рассматриваемого оборота точно такие же.[26] Последний акт сохранился в подлиннике, на нем отчетливо видны оттиски печатей.[27] Та же картина наблюдается и в единственной из дошедших до нас в подлиннике жалованной грамоте квадратного письма на монгольском языке, выданной будущим великим ханом Хайсаном сыном Дарма́балы в 1305 г. В формуляре грамоты оборот «удостоверительные знаки» вообще отсутствует. Однако на самом документе находятся три оттиска квадратной печати.[28]

Во всех остальных сохранившихся золотоордынских жалованных грамотах XIV—XV вв. рассматриваемый оборот в целом писался так же, как и в ярлыке Менгу-Тимура, только слова «ярлык» или «грамота» дополнялись названиями удостоверительных знаков. В ярлыке Бердибека это были пайцза и оттиск алой тамги на документе, в грамотах Тайдулы — нишаны, в ярлыке Токтамыша — алая тамга, в ярлыках Тимур-Кутлука и Улуг-Мухаммеда — золотой нишан и алая тамга. Удовлетворительных исследований об удостоверительных знаках, сопровождавших золотоордынские жалованные грамоты или оттиснутых на этих документах, пока не имеется.

Элементы оборота «время» и «место написания» в золотоордынских жалованных грамотах обычно были грамматически связаны в одно предложение глагольной формой «написан», которая помещалась в конце оборота. Поскольку элемент «время написания» в рассматриваемых документах за период от XIII до XV вв. претерпел больше изменений, чем элемент «место написания», рассмотрим их отдельно.

Элемент «время написания», как и весь оборот в целом, в монгольских грамотах великих ханов и ханов-наследников престола начинался словами «ярлык наш» или «грамота наша», за которыми следовало обозначение года по животному циклу. Во всех золотоордынских документах этот оборот начинался сразу с названия года. Слова «ярлык» или «грамота» только подразумевались, ибо с них начинался оборот «удостоверительные знаки». Обозначение года, месяца и числа в золотоордынских грамотах можно расчленить на пять разновидностей, которые сменяли одна другую примерно в хронологическом порядке.

В ярлыке Менгу-Тимура обозначение времени написания совпадало с таковым в монгольских грамотах великих ханов и ханов — наследников престола. Сначала назывался год по животному циклу. Затем следовал порядковый номер месяца одного из четырех времен года, т. е. номер месяца не мог быть больше третьего. В заключение приводился порядковый номер дня (без слова «день») первой («новой») или второй («старой») половины обозначенного выше месяца.

В грамотах Тайдулы время написания обозначалось в целом так же, как и в ярлыке Менгу-Тимура. Только номер месяца писался не в соответствии с сезоном, а так, как это было принято в древнеуйгурском календаре. Последний начинался с месяца арам и заканчивался месяцем чакшапут. Остальные десять месяцев именовались порядковыми числительными — от второго до одиннадцатого.[29] В ярлыке Бердибека система обозначения времени была той же. Этот хан почему-то избегал называть в своих актах день составления документа.

В ярлыках Бюлека, Улуг-Мухаммеда и крымского хана Менгли-Гирея (1468 г.),[30] а также в письмах Токтамыша от 1393 г.[31] и Махмуда от 1466 г.[32] время написания документов обозначалось одинаково, но не так, как прежде. После названия года по живот-

ному циклу стали писать слово «тарих», означавшее, что следующее за ним, начертанное прописью, число следует воспринимать как год по мусульманскому летосчислению (без слова «год»). Далее по-тюркски писалось слово «месяц» в родительном падеже, а за ним приводилось арабское название одного из месяцев мусульманского лунного года. Обозначение дня месяца сохранилось прежнее.

Ярлык Тимур-Кутлука дает пример четвертой разновидности обозначения времени написания золотоордынских документов. От третьей разновидности его элемент время написания отличался тем, что начинался он со слова «тарих» и трехзначного числа мусульманского лунного года. Только потом следовало обозначение года по животному циклу. Причем сочетание слова, которым обозначалось одно из 12 животных цикла, со словом «год» выражалось конструкцией изафет II, а не изафет I, как в трех предшествующих разновидностях. Кроме того, день месяца сопровождался словом «день», написанным по-тюркски.

Пятая разновидность написания анализируемого элемента представлена в ярлыке Токтамыша и письме Улуг-Мухаммеда от 1428 г.[33] Расположение отдельных формул в ярлыке не совсем такое, как в письме. Общее, что объединяет интересующие нас элементы, заключается в том, что, во-первых, обозначение в них времени написания по хиджре смещено вниз и занимает позицию после указания на место написания. В четырех предшествующих разновидностях элемент «место написания» всегда располагался на последнем месте. Во-вторых, дата по мусульманскому летосчислению начертана в пятой разновидности по-арабски и в соответствующей последовательности: день, месяц, год. Приписанный отдельно год по животному циклу обозначен конструкцией изафет I.

Элемент «место написания» в золотоордынских жалованных грамотах имел древнейшую форму, сохраненную в ярлыке Менгу-Тимура, и основную форму, представленную во всех остальных документах XIV—XV вв. В первой форме называлась только местность или населенный пункт, где в момент составления акта находилась ставка хана. Вторая форма состояла из трех частей — слова «орда», означавшего ханскую ставку; названия местности или населенного пункта; глагольной формы, которую мы переводим словами «когда находилась». Единственное исключение в рассматриваемом элементе обнаруживается в ярлыке Тимур-Кутлука, где отсутствует слово «орда». Возможно, такой была третья форма элемента «место написания» в золотоордынских актах. Не исключено, что она предшествовала второй форме, являясь связующим звеном между первой и второй формами. Первая форма была характерна для монгольских грамот великих ханов и ханов — наследников престола. Третья форма встречалась в монгольских документах 1267—1320 гг., составленных в канцеляриях хулагуидов. Вторая форма является порождением золотоордынской канцелярии.

Оборот статьи «удостоверение», названный нами «представле-

ние», писался на другой стороне документов.[34] В свою очередь он состоял из двух элементов — собственно представление и помета писца. В первом элементе назывались ходатаи за грамотчика, которые представляли хану или ханше его прошение о пожаловании. Во втором элементе писец, составлявший жалованную грамоту, называл себя и свою должность (бахши). Полная форма представления сохранилась в ярлыке Бердибека. В грамоте Тайдулы от 1351 г. во втором элементе этого оборота пропущено обозначение должности писца. В грамоте Тайдулы от 1354 г. есть только первый элемент представления. Дошедшие до нас на языке оригинала тексты золотоордынских ярлыков оборота «представление» не сохранили. В подлинном ярлыке Toктамыша этот оборот, видимо, был написан на другой стороне нижнего края документа, который позднее в результате механического повреждения был утрачен.

Составляющие последнюю статью обороты все вместе и каждый в отдельности являлись формальными признаками, которые определяли каждый золотоордынский акт во времени, пространстве, принадлежности данному жалователю и его канцелярии, т. е. удостоверяли жалованную грамоту. Потому мы и объединили их в одну статью — «удостоверение».

Итак, абстрактный формуляр золотоордынских жалованных грамот состоял из пяти статей: богословие, обращение, объявление о пожаловании, условия пожалования, удостоверение. Конкретный и индивидуальный формуляры отличались от абстрактного набором и содержанием оборотов и отдельных элементов, образующих каждую из перечисленных статей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Историю изучения и публикации текстов ярлыков см.: *Григорьев А. П.* 1) Пожалование в ярлыке Токтамыша. — В кн.: Востоковедение, 8. Л., 1981, с. 126—136; 2) Пожалование в ярлыке Тимур-Кутлука. — В кн.: Востоковедение, 9. Л., 1984, с. 124—143; 3) Пожалование в ярлыке Улуг-Мухаммеда. — В кн.: Востоковедение, 10. Л., 1984, с. 122—142.

[2] *Зимин А. А.* Краткое и пространное собрания ханских ярлыков, выданных русским митрополитам. — Археографический ежегодник за 1961 год. М., 1962, с. 28—40.

[3] Ярлыки татарских ханов московским митрополитам (краткое собрание). — В кн.: Памятники русского права. Вып. 3 / Под ред. Л. В. Черепнина. М., 1955, с. 463—491.

[4] *Григорьев В. В.* О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству: Историко-филологическое исследование. М., 1842.

[5] *Соколов П. П.* 1) Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV века. Киев, 1913; 2) Подложный ярлык Узбека митрополиту Петру. — Русский исторический журнал, [Пг.], 1918, кн. 5, с. 70—85.

[6] *Григорьев А. П.* Официальный язык Золотой Орды XIII—XIV вв. — В кн.: Тюркологический сборник. 1977. М., 1981, с. 81—89.

[7] *Григорьев А. П.* Дополнение к «Монгольской дипломатике XIII—XV вв.» — В кн.: Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки, вып. 6. Л., 1982, с. 51—52.

[8] *Григорьев А. П.* 1) Монгольская дипломатика XIII—XV вв.: Чингизидские жалованные грамоты. Л., 1978; 2) Дополнение к «Монгольской дипломатике XIII—XV вв.», с. 28—52.

[9] *Григорьев А. П.* 1) Эволюция формы адресанта в золотоордынских ярлыках XIII—XV вв. — В кн.: Востоковедение, 3. Л., 1977, с. 132—156; 2) К реконструкции текстов золотоордынских ярлыков XIII—XIV вв. — В кн.: Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки, вып. 5. Л., 1980, с. 15—38; 3) Обращение в золотоордынских ярлыках XIII—XIV вв. — В кн.: Востоковедение, 7. Л., 1980, с. 155—180.

[10] *Григорьев А. П.* Время составления краткой коллекции ханских ярлыков русским митрополитам. — В кн.: Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки, вып. 8. Л., 1985, с. 93—134.

[11] *Каштанов С. М.* Очерки русской дипломатики. М., 1970, с. 26.

[12] *Григорьев А. П.* Время составления краткой коллекции ханских ярлыков русским митрополитам, с. 118—125.

[13] *Григорьев А. П.* Дополнение к «Монгольской дипломатике XIII—XV вв.», с. 36—38.

[14] *Григорьев А. П.* Монгольская дипломатика XIII—XV вв., с. 16—17.

[15] Там же, с. 17—33.

[16] Там же, с. 33—55.

[17] Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 603.

[18] Там же, с. 650.

[19] Там же, с. 98.

[20] Там же, с. 659—660.

[21] См. выше, прим. 1.

[22] *Григорьев А. П.* Пожалование в ярлыке Тимур-Кутлука, с. 139.

[23] *Григорьев А. П.* Время составления краткой коллекции ханских ярлыков русским митрополитам, с. 118—125.

[24] *Григорьев А. П.* Монгольская дипломатика XIII—XV вв., с. 155—170.

[25] Там же, с. 55—62.

[26] Там же, с. 63.

[27] *Deny J.* Un soyurgal du timuride Šāhruḫ en écriture ouigure. — Journal asiatique, 1957, t. 245, fasc. 3, p. 253—266.

[28] *Pelliot P.* Un rescrit mongol en écriture «'Phags-pa». — In: Tucci G. Tibetan painted scrolls, vol. 2, pt. 4. Roma, 1949, p. 621—624.

[29] *Kotwicz W.* O chronologji mongolskiey. — Rocznik orjentalistyczny. Lwów, 1928, t. 4, s. 140—146.

[30] *Березин И. Н.* Тарханные ярлыки крымских ханов. — Записки Одесского общества истории и древностей, т. 8. Прибавление к сборнику материалов. Одесса, 1872, с. 11—12.

[31] *Березин И. Н.* Ханские ярлыки. I: Ярлык Токтамыш хана к Ягайлу. Казань, 1850.

[32] *Kurat A. N.* Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan hanlarına ait yarlık ve bitikler. İstanbul, 1940, s. 167—170.

[33] Ibid., s. 161—166.

[34] *Григорьев А. П.* Дополнение к «Монгольской дипломатике XIII—XV вв.», с. 50—51.

Э. А. Грунина

О СИНТАКСИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА)

В любом высказывании отражена соотнесенность описываемого события и акта речи, в свою очередь референтно включающего говорящего и опорные точки его пространственно-временного положения: «здесь», «сейчас».[1] Широко признана точка зрения, согласно которой категория времени входит в содержание предикативности предложения и выступает элементом его коммуникативного механизма.[2] Среди формальных средств выражения грамматического времени центральное место занимает глагол, реализующийся в предложении в одной из своих функциональных форм (финитных и инфинитных). Специфика их статуса разных глагольных подсистем и различия в синтаксической позиции в предложении не позволяют говорить о единой категории времени для глагола в целом. Категория времени финитных форм (ФФ) сложилась на базе их сказуемостной функции в комплексе с другими категориями предикативности предложения. ФФ выступает как член определенной синтаксической структуры и тем самым предстает как синтаксическая сущность в комплексе связей с другими членами предложения и как некая содержательная единица. Таким образом, «синтаксическое время» (в формальном облике ФФ глагола) это объект синтактико-семантического анализа предложения, при котором важна семантико-грамматическая характеристика его обязательных и необязательных компонентов. С другой стороны, те же основания позволяют видеть в ФФ и компонент другого синтаксического единства — сложного синтаксического целого (фразы, периода и др.).

Основное внимание при изучении грамматической категории времени глагола в тюркских языках обычно сосредоточивается на выявлении системного значения каждого из членов ее парадигмы. Хотя парадигматическая направленность такого анализа опирается на выявление различного рода употреблений, т. е. синтагматику формы, последняя предстает как набор «условий» употребления, не систематизированных в своей внутренней связи. Очевидно, что разграничение «морфологического» и «синтакси-

ческого» времени глагола возможно лишь на уровне лингвистического анализа. При морфологическом подходе синтаксическая реализация выступает как набор смыслов, в которых предстает инвариантное значение категории, и задача исследователя — определить, что́ же именно образует системную значимость формы. Переход к ее рассмотрению как компонента единицы более высокого яруса — предложения и сложного синтаксического целого — ориентирует анализ не на лексико-морфологическую единицу (морфему), а на морфокомплекс или же глагольное сочетание с полузнаменательным глаголом. Выделяемый таким образом формальный сегмент имеет двоякий статус: а) план выражения морфологической (глагольной) категории времени, рассматриваемой в парадигматическом аспекте при отвлечении от сопряженности разных категориальных значений; б) синтагматическая реализация морфологического времени в составе ФФ как единстве нескольких категорий, включенных в модально-коммуникативное устройство предложения. Понятие «синтаксического времени» применимо именно к такому участию морфологической категории времени в составе ФФ.

Анализ ФФ как элемента синтаксической конструкции предполагает, что́ именно будет рассматриваться в качестве таковой: структурная или семантическая (типовое значение) модель предложения. Любая ФФ участвует в выражении предикативности, поэтому понятие структурной модели как в ее минимальном варианте,[3] так и в терминах расширенной структурной схемы [4] не раскроет специфики синтаксического времени. Наличие ФФ — это уже включение пропозитивной номинации в модально-коммуникативный механизм предложения. Расширение его состава (развертывание смысла) связано не столько с предикатными свойствами глагола, сколько с семантико-грамматическими условиями его реализации в структуре. Поэтому изучение ФФ в аспекте «внутрипредложенческого» синтаксиса представит бо́льший интерес, если учитывать прежде всего семантическую структуру предложения, типовое значение ее субъектно-предикатных связей.[5]

Акцент на анализе именно ФФ, повернутой как к пропозиционной, так и коммуникативной организации предложения, делает необходимыми: а) характеристику глагола как предикатного выражения, причем значимыми здесь оказываются такие свойства, как динамика / статика глагольного признака, фазовость действия, категориальные значения определенности / неопределенности семантических актантов и др.; б) интерпретацию категориального значения ФФ как причины / следствия семантической структуры предложения (например, возможность интерпретации категории акциональности / неакциональности как отражение событийного / несобытийного типа семантической структуры предложения);[6] в) рассмотрение категориальных значений ФФ в свете коммуникативных параметров предложения — модального типа предложения, ремо-тематической организации; г) рассмотрение

ФФ как способа организации сложного синтаксического целого, тем самым как элемента организации текста.

Синтагматика ФФ внутри предложения, расширение его смысла — это взаимосогласованность (плеоназм) семантических признаков его компонентов, т. е. организация смысла предложения по принципу полевой структуры,[7] а следовательно, и запрет на расширение при опасности рассогласования. Например, в типовой семантической структуре квалифицирующего значения On yıldanberi çalışmışım 'Я [здесь] уже десять лет работаю' обнаруживается запрет на введение конкретизирующих темпоральных распространителей типа 'вчера', 'в прошлом году' и др., фазисных уточнителей (типа 'начал', 'кончил') и т. д. Их введение переводит семантический тип предложения в событийный, что обусловливает иную ФФ.

Итак, остановимся на некоторых вопросах синтагматики ФФ в предложении, взяв в качестве объекта формы турецкого индикатива. В противопоставлениях форм внутри парадигмы индикатива обнаруживается, что такие пары в сфере настоящего, как -iyor и -(^{0})r, а также -dı и -mış в сфере прошедшего не получают адекватной интерпретации в темпоральных признаках. Внутри каждой пары имеет место противопоставление по признаку акциональности. Это свойство состоит в способности актуализировать действие как таковое, в его реальном процессе, или снимать таковой, актуализировать не действие / состояние, а его субъект, используя характеризующие возможности глагольного признака. Акциональность является преломлением в морфологической системе форм индикатива типа семантической структуры предложения, в которой отражен событийный или логический компонент смысла предложения.

В паре -iyor : -(^{0})r первая выступает акционально насыщенной, вторая акционально опустошенной. Традиционно отмечаемое в -(^{0}) r значение «вневременности» получало разное толкование: через аспектуальную оппозицию,[8] как значение абстрактности действия,[9] как особое наклонение потенциальности.[10] Если иметь в виду историческую акциональность -(^{0})r, то ее угасание объясняется положением данной формы именно в системе индикатива, но не проявлением ее причастных свойств. Следует отметить, что акциональное / неакциональное представление не совпадает с семантическим признаком динамики / статики в глаголе, так как и состояние может иметь акциональное выражение. Ср. yatıyor 'лежит', bulunuyor 'находится' и др. Форма -(^{0})r имеет такие функции: а) не сигнализирует о факте прошлого, б) актуализирует характеристику субъекта через действие / состояние, в) указывает на способность субъекта к осуществлению действия / состояния. Функции б) и в) связаны с семантическим признаком неакциональности в форме. Определение значения -(^{0})r в терминах абстрактности действия оправдывает себя лишь в случаях, когда субъект представляет некоторый класс предметов. Ср. Kuş uçar 'Птица (птицы) летает'. Выделение единичного

представителя класса или его конкретизация не способствует сохранению этого значения, смещая его в план потенциальности: Bir kuş uçar 'Одна птица может полететь (из нескольких)' и Bu kuş uçar 'Эта птица может (у)лететь'. Только в условиях ситуационной противопоставленности двух предметов эта форма может выступить со значением свойства: Bu kuş uçar, ötekisi uçmaz 'Эта птица летает (=летающая), а та — нет'. Обе функции обусловливаются взаимодействием следующих факторов: типом семантического содержания глагольной основы и свободой или связанностью ее актантов с характером деятельности. Имеется в виду связь типа içmek 'пить' (воду, чай, молоко, вино и др., но при конечном наборе объектов) и тип çalışmak 'работать' с достаточно неограниченным количеством сфер деятельности. Внутри первой группы можно выделить глаголы активной деятельности, в которых объект указывает на вид деятельности, определяет ее, сближаясь с одноместными глагольными предикатами. Ср. piyano çalmak 'играть на фортепиано', cigara içmek 'курить'. Глаголы этого типа могут выявлять обе функции: характеристику субъекта (piyano çalarım 'играю на фортепиано' / 'умею играть'; cigara içerim 'курю'=имею такую привычку) и способность к действию ('могу играть', 'могу курить' / 'выкурил бы'). Глагол действия, свободно связанный со своим конкретизатором, типа fabrikada çalışmak 'работать на заводе', parkı gezmek 'гулять по парку' в минимальном контексте не передает первой функции: Fabrikada çalışır — это скорее 'Он может работать на заводе', нежели 'Его характеризует работа на заводе'. Последнее значение возникает лишь в условиях особого контекста: в сложном синтаксическом единстве, где первый компонент имеет квалифицирующее значение. Ср. İşçiyim, fabrikada çalışırım 'Я рабочий, работаю на заводе'. Неакциональное представление действия исключает в предложении его расширение через темпоральное определение: *yirmi yıldanberi fabrikada çalışırım для смысла «вот уже двадцать лет работаю на заводе».

В глаголах состояния функция свойства субъекта ограничена конкуренцией именных предикатов: для «я ленюсь (=ленивый)» не *tembelleşirim, но tembelim; для «я трусливый» не *korkarım, но korkağım, т. е. в случае значения квалификации субъекта предпочитается именная структура предложения при наличии соответствующего отглагольного прилагательного. В реализации функции свойства субъекта от глаголов состояния может наблюдаться семантическое сближение зон двух форм: -(⁰)r и -iyor. Ср. Türk atasözleri bilir misin? / biliyor musun? 'Ты знаешь турецкие пословицы?' Однако и в этом случае часто проступает именно неакциональное значение. Ср. Sen Şirini çok seversin, Mehmene Banu (N. Hikmet) '(Да), ты очень любишь (=умеешь любить) сестру, Мехмене Бану'. Глаголы состояния даже в прямой соотнесенности с моментом речи могут выступать с неакциональным значением, передавая характеристику субъекта через его действие. Ср. Bakın, general general yürürüm ben (Nesin) 'Смотрите, я хожу

как генерал (=такая у меня походка)'. Именно неакциональное содержание -(^{0}) r обусловливает эту форму в высказываниях перформативного типа, где глагол, по существу, формирует модальную рамку, для которой выражение акциональности несущественно. Ср. Zannederim ki gelmeyecek 'Я полагаю, что он не придет', Geç gelecek sanırım 'Я думаю, он придет поздно', Korkarım, gelmeyecek 'Боюсь, что он не придет'. Ср. пример акционального представления тех же глаголов: Düşünüyorum, demek, varım 'Я мыслю, следовательно, я существую'.

Приписываемое форме -(^{0}) r значение вневременности (всеобщности, абстрактности) поддерживается лишь на уровне предложения расширением его смысла семантическими элементами обобщенности субъекта (Insan yaşar, ölür 'Человек живет, умирает'), множественности реализаций (Her gün spor yapar 'Каждый день он занимается спортом'), ситуацией референтной невозможности приписать субъекту определенное свойство (*ailesini kıt kanaat geçindirir для «он с трудом содержит семью»; в этом случае возможна лишь вторая функция — потенциальности действия), параллельным употреблением трансформов (Öğretmenim, öğretmenlik yaparım 'Я преподаватель, преподаю'). Для реализации второй функции (потенциальности действия) нет контекстуальных ограничений, хотя именно условия контекста определяют одну из указанных двух функций -(^{0})r. В силу контекстуальной неограниченности значения потенциальности понятно развитие в некоторых тюркских языках этой формы в будущее предположительное. Инвариантным значением -(^{0})r для турецкого языка на современном этапе развития этой формы является ее неакциональность, или акциональная опустошенность.

При индивидуальном субъекте ограничения в неакциональном представлении налагаются особенностями денотата, например, если деятельность субъекта не может быть индивидуализированным свойством, выделяющим его из класса. Ср. *Volga akar для «течет Волга», но возможное Volga donar 'Волга замерзает'. В первом случае неакциональное представление действия возможно, если структурная схема включает в свой состав приглагольное определение типа yavaş 'медленно'.

Аналогичное соотношение мы наблюдаем в паре -dı : -mış. Инвариантное значение формы -mış не связано с действием как таковым. Оно трансформируется в качество, характеристику субъекта, в материальный результат, характеризующий субъект. С точки зрения морфологии можно говорить об обособлении надкатегории наклонения / модальности пересказывательности, парадигма которой включает формы -mış, -ırmış, -iyormuş, -acakmış, -mışmış (тем самым -mış — это два омоморфа). Претеритальная функция -mış как модальности пересказывательности и имплицирует прежде всего указание на вторичный источник сведений о действии, но не действие как таковое. Сама модальная трансформация этой формы стала возможна в силу ее акциональной пустоты. На ее основе формируется третий компонент смысла пред-

ложения — оценочный.[11] Семантико-грамматические свойства ФФ -miş в отличие от -(⁰)r менее связаны семантико-грамматическими признаками глагольной основы. Так, значение результативности может возникать вопреки непредельности глагольной основы. Ср. Bizi beklemiş '[A] он нас ждал' (на основании косвенных результатов непредельного действия). «Внутрипредложенческая» синтагматика -miş как перфекта и -miş как элемента пересказывательной модальности складывается таким образом.

а) Для перфектной функции свойственно ограничение на сочетаемость с обстоятельствами календарного времени. Например, Buraya dün [12 Haziranda v. s.] gelmiş воспринимается только как факт вторичной информации, но ср.: Buraya otuz yıldan önce gelmişiz 'Мы сюда приехали тридцать лет тому назад' (='мы здесь уже тридцать лет'). Следует отметить, что квалифицирующий тип семантической структуры предложения в тюркских языках в своем формальном выражении широко использует именно глагол (в отличие от именной структуры, например, русского предложения квалифицирующего типа). Как частное проявление значения перфектности именно для турецкого языка следует отметить тенденцию к сращению с оценочным значением (отсюда многочисленные экспрессивные оттенки особенно в формах 1-го, 2-го лица). Ср. Neler görmüşüz! '[Эх], чего мы только ни повидали!'

б) Для пересказывательной функции -mış необходимо указание на вторичный источник информации, который может содержаться и в общей ситуации сообщения (текста вообще, ср., например, жанр сказки).

Наличие неакциональных форм выявляет себя и в следующем ярусе коммуникативного устройства предложения — модальном типе и ремо-тематическом устройстве предложения. Значительная часть употреблений неакциональных форм в кажущемся акциональном значении или сдвиге темпоральных значений форм приходится на вопросительные предложения и на употребления, содержащие отрицание. Ср. Sen buralarda ne ararsın, aşık? (Taner) 'Ну, что потерял здесь, поэт?' (букв. 'что ты здесь ищешь?'). В вопросительных предложениях с местоименным выражением ремы фиксированная позиция глагола-сказуемого — рематического центра предложения — противоречит общему коммуникативному заданию предложения. Формальный способ разрешения этого противоречия — перевод актуализированной акциональности действия в неакциональность, тем самым перевод самого действия на второй план. В ряде тюркских языков акциональная опустошенность перфекта служит способом ремо-тематической организации и повествовательного предложения. Ср. перевод известного отрывка из «Ревизора» Н. В. Гоголя, где купцы приходят жаловаться на городничего: *Допустите, батюшка! Мы за делом пришли!* Ср. азерб. *Биз иш үчүн кәлмишик*, узб. *иш блан келганмиз*, якут. *биһиги киниэхэ дьыалалаахпыт*, но тат. *без эш белән килдек*, туркм. *биз иш үчүн гелдик*, тур. *biz bir iş için geliyoruz* и т. д. Обратим внимание на то, что модально-оценочная

спецификация -mış в турецком языке оттесняет ее собственно нейтральное перфектное значение. В этом смысле категория акционального / неакционального представления действия, являющаяся результатом воздействия семантической структуры предложения, как сформировавшаяся формальная категория самостоятельна в своем морфологическом статусе и определяет иное формальное выражение соответствующей семантической структуры. Так, семантический тип наличия / отсутствия, связанный с глагольным признаком, но не актуализирующий действие, в турецком языке обусловливает и иной структурный тип предложения. Для передачи смысла «кто не брал билеты?» [обычный вопрос в трамвае] может быть использована только именная структура: Bilet almıyanlar var mı? букв. 'есть ли не бравшие билет?', поскольку финитная форма будет актуализировать действие или субъект, что не существенно в данной ситуации.

Синтагматика акциональных форм внутри предложения и их роль в организации его смысла также имеет свои закономерности. Акциональное представление действия включает его количественную характеристику, потенциальную исчисляемость (дискретной—недискретной протяженности, кратности), фазисность. Форма -dı считается нейтральной к подобного рода характеристикам, хотя толкование ее значения как «завершенности» [12] не очень точно отграничивает ее от славянского совершенного вида и значений, связанных с семантико-грамматической категорией предельности. В тюркологии нашла достаточно широкое признание точка зрения, согласно которой в системе индикатива, на узком ее участке, существует аспектуальное противопоставление форм, включенное в темпоральную и, добавим, акциональную организацию этой категории сложной иерархии.[13] Инвариантным признаком -dı, помимо ее акциональности, является аспектуальный признак целостного охвата действия («взгляд на действие извне»). Качественно-количественные характеристики действия в форме -dı лежат в сфере ее синтагматики, обусловливая тем самым расширение состава и смысла предложения. Другим следствием синтагматики -dı внутри предложения является его роль в сложном синтаксическом целом.

Известно, что тюркская глагольная основа может отражать лишь денотативную направленность деятельности к пределу, тем самым к своей терминальной фазе (например, düşmek 'упасть'), или ненаправленность (и к начальной фазе), например, beklemek 'ждать'. Форма -dı говорит о терминальной фазе единичного действия лишь при предельно-отнесенных глаголах. Ср. Evine vardı 'Он добрался до дома'. Контрольным тестом терминальной фазы или принципиального отсутствия таковой могут быть ограничительно-темпоральные и предельно-темпоральные детерминанты действия. Ср. Evine iki saatte vardı [*iki saat] 'Дошел до дома за два часа'; İki saat bekledi [*iki saatte] 'Ждал два часа'. Выраженность терминальной фазы при предельно-нейтральных глаголах (даже таких, где денотативно предполагается завершение

действия каким-либо результатом, например «строить») зависит от роли семантического объекта — квалифицирующей действие или собственно объектной. Ср. Ev kurduk 'Мы строили дом' = 'занимались строительством дома', поэтому возможен детерминант типа iki yıl 'два года' (указатель протяженности), но не iki yılda — указатель количественной предельности. При формальной выделенности объекта (единичность или определенность) денотативное представление о результате действия получает выражение и в формальной языковой структуре. Ср. Bir ev kurduk 'Мы построили дом' (при возможном iki yılda, но не iki yıl). То же в случае определенности объекта: Evi kurduk (iki yılda, но *iki yıl). Количественный детерминант при -iyordu исключен, поскольку инвариантным значением формы является протяженность действия вне фиксации его границ, т. е. *iki saatte evine varıyordu или *iki saat bekliyordu. Возможность связи -iyordu с детерминантом типа iki gün içinde букв. 'внутри двух дней' согласуется с основным значением -iyordu (русский перевод 'в течение двух дней' подчеркивает не содержащееся в турецком обороте указание на протяженность, а лишь количественное содержание отрезка действия.

Синтагматическая выраженность терминальной фазы в -dı обусловливает сильную позицию аспектуального противопоставления -iyordu : -dı. Ср. Gülizar merdivenlerden aşağı iniyordu. . . Usta durdu. Gülizarın aşağı inmesini bekledi (N. Hikmet) 'Гюлизар спускалась по лестнице. Мастер остановился. Ждал, когда она спустится'. Именно такая позиция (типа -iyordu . . . -di) определяет границы сложного синтаксического целого («ситуационный тип»). В случае непредельного глагола (ср. iniyordu. . . bekledi 'она спускалась. . . он ждал'; русский перевод 'подождал' был бы примысливанием русской видовой специфики) границы ситуативного типа оказываются неопределенными и оставляют место для завершения ситуации. Это или форма -dı со значением предельности, или аналитическая форма с анафорической отнесенностью к другому событию.

Акциональность включена в темпоральное противопоставление форм индикатива. Собственно темпоральное содержание форм примарной временной оси (простых форм, или собственно категории времени) взаимосвязано с семантической структурой предложения лишь через акциональное содержание форм и не выступает определяющим фактором синтаксической роли ФФ как элемента формальной структуры предложения, т. е. для формальной структуры глагольного предложения в принципе нерелевантно распределение ее примарных форм по сферам прошедшего, настоящего, будущего. Однако категория глагольного времени имеет иерархическую структуру, так как включает в себя категорию таксиса (формально выраженное членение временного пространства на вторичной, относительной временной оси с опосредованной отнесенностью к абсолютной точке отсчета — позиции субъекта речи). Специфика тюркского таксиса состоит в том, что

его формы маркируют отнесенность от момента речи в дистанцированное прошедшее (функция сигнала о переходе к повествованию). Ср. Onun hikâyesi vardır. . . diyerek başladı. Nahiye müdürü haber *yollamıştı*: Bu yıl sizin köyde otuz domuz vuracaksınız (Nesin) 'Это целая история, — начал он свой рассказ. — Волостной начальник прислал распоряжение: «В этом году вы должны отстрелять тридцать кабанов»'.

Связь с другим событием (событиями) обусловливается наличием системы форм, в целом повторяющей характер соотнесенности форм примарной оси. Сфера «чистого» повествования, основывающегося на формах таксиса, ведущей формой тем не менее имеет простую форму -dı, на которую проецируется позиция говорящего (в моноповествовании также -mış). Наличие формы одновременности с этим вторичным моментом ориентации и создает основу аспектуального противопоставления двух форм -iyordu : -dı, однородных и по акциональности, и по позиции на временной оси. Как ведущая форма сферы повествования -dı играет определяющую роль в формировании минимальных синтаксических единств, больших, чем отдельное предложение. В их организации участвуют и другие средства: темпоральные наречия, местоимения и др., но важнейшую роль играют именно формы времени как способ синтаксической связи предложений. Разветвленность системы таксиса, вероятно, в известной степени предопределила слабое развитие союзов собственно тюркского происхождения.

Сложная конструкция с формами таксиса как способа связи обычна при повторе глагола в обеих частях синтаксического целого. Ср.: Dün *geldi*. Geçen sene de *gelmişti* 'Вчера приехал. Прошлый год тоже приезжал'; Geçen sene *geliyordu*, şimdi *gelmez oldu* 'В прошлом году приходил, теперь перестал'.

Существование минимальных синтаксических единств, объединенных соотносительностью употребления форм сказуемого, более отчетливо прослеживается в сфере повествования. В диалогической речи связанное событие минимального синтаксического единства может быть скрытым в общем знании участников коммуникации. Ср.: Uyuyor muydun? — Uyuyordum (Nesin) 'Спишь? — Сплю' (букв. 'Ты спал? — Спал [когда прозвенел телефон]'). Оно может содержаться в анафорическом элементе, указывающем на обещанное в прошлом исполнение действия. Ср. Hani gelmişti? 'Ты говорил, что он придет. Ну, и где же он?' (букв. 'Где он пришел?'); Hani korkmazdın? 'Ведь ты говорил, что не боишься!' (букв. 'Ну-ка, ты не боялся!').

Для сферы повествования, прежде всего языка художественной литературы, характерны различные типы соотнесенности минимум двух ФФ с определенным типом семантической связи. Двухкомпонентность такого целого фактически сохраняется даже тогда, когда один из них представлен цепью однородных событий. Ср. Güz geçti. Kış geçti. İlkbahar gelip de mayıs güneşi bir genç kızınkine benzeyen ılık nefesine tabiata hohlayınca bademler birden beyazlara büründü. Kırlar kokularını süründü. Deniz anide duruldu.

O sâkin mavisini yeniden buldu. Bu arada ihtiyar kavak da tomurcuklanıp yaprak *açmıştı* (Taner) 'Так прошла осень. Прошла зима. А когда пришла весна и майское солнце одарило природу своим легким как у юной девушки дыханием, миндаль вдруг окутался в белое. Потянулся аромат с полей. Море вдруг стихло, стало снова безмятежно голубым. И тогда старый тополь распустил листву'. ФФ в частях сложного целого могут быть связаны:

а) квалификативным значением второго предложения в отношении семантического актанта первого предложения. Ср.: Ben vaktiyle Kandilli iskelesinde ihtiyar *bir gişe memuru* tanıdım. İnsanın eline bakıp . . .geçmişini geleceğini . . . *teşhis ederdi* (Taner) 'В свое время я знал одного старого кассира на пристани Кандилли. Он мог, глядя на руки человека . . . определить его прошлое и будущее'; Takım kaptanımız Ercüment mebus oğlu idi. Toplarla formaların parasını o veriyordu (Taner) 'Капитаном команды был сын депутата Эрджюмент. Это он давал деньги на мячи и форму';

б) причинно-следственными соотношениями двух событий. Ср. тип -di. . . -mişti: Ben okumasını askerde öğrendim. Benim çocukluğumda köydeki bu okul daha yapılmamıştı (Nesin) 'Грамоте я научился на военной службе. . . В детстве в деревне еще не было этой школы'; тип -mıştı. . . -dı: Şimdi size yeni düzdüğüm bir Şarkıyı okuyacağım, dedi. Herkes kulak kesilmişti (Taner) '«Сейчас я вам исполню свою новую песню», — сказал он. Все прислушались';

в) разграничительной связью динамики / статики одного тематического отрезка. Ср.: Kadın Bekçiye doğru derin bir soluk verdi. Onun ılık nefesini Zulfikâr ta burnunda, bıyıklarında *hissetmişti*. «Sonbahar da geliyor gayri» dedi (Taner) 'Женщина глубоко вздохнула прямо [в лицо] сторожа. Зульфикар почувствовал ее теплое дыхание прямо у носа, на устах (~ на усах). «Осень, однако, идет», — сказал он'. Форма -mişti снимает хронологическую последовательность действий, которую вносит цепочка форм -dı;

г) однородностью действий (при одном и том же глаголе) разных субъектов или хронологически дистанцированных действий одного субъекта. Ср.: Kim bakan olmak ister? Tımarhaneyi dolduran akıllıların hepsi birden iki ellerini de havaya *kaldırdılar*. Bazıları yere sırt-üstü yatıp hem ellerini, hem ayaklarını havaya *kaldırmışlardı* (Nesin) 'Кто хочет стать министром? — Все нормальные, заполнившие сумасшедший дом, подняли каждый обе руки. Некоторые, лежа на земле, подняли и руки, и ноги'; Ücretin yarısını peşin *ödemiştim*, mütebakisini de o gün *tediye ettim* (Taner) 'Половину стоимости я оплатил вперед уже тогда, а остальное выплатил в тот день';

д) соотношением динамики / статики двух акционально представленных событий. Тип -iyordu. . . -di: Şapkamı aldım *sıvışıyordum*. . . Arkamdan *seslendi* (Taner) 'Я взял шляпу и [хотел было] уже ускользнуть. . . как она окликнула меня'. Тип -di . . . -iyordu: Asım Necmi'ye, Necmi Asıma *baktı*. Birinin bakışında

dehşet, öbürünün bakışında memnuniyet *okunuyordu* (N. Hikmet) 'Асым посмотрел на Неджми, Неджми на Асыма. Во взгляде одного проглядывал ужас, у другого — удовлетворение'.

Изучение ФФ в организации синтаксических единств далеко не исчерпывается перечисленными типами. Можно лишь подчеркнуть, что некоторые типы сочетаний ФФ являются обязательными в создании синтаксического единства определенного семантического типа. Другие служат скорее для создания «рельефа повествования»[14] и входят в область стилистики определенных функциональных разновидностей языка. Их детальное изучение было бы одним из подготовительных этапов работы по созданию лингвистики текста на материале тюркских языков.[15]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974, с. 296.

[2] Общее языкознание: Внутренняя структура языка. М., 1972, с. 277.

[3] Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 746.

[4] *Ахматов И. Х.* Структурно-семантические модели простого предложения в современном карачаево-балкарском языке. Нальчик, 1983, с. 198.

[5] *Золотова Г. А.* О структуре простого предложения в русском языке. — ВЯ, 1967, № 6, с. 92.

[6] *Шмелева Т. В.* О семантике структурной схемы предложения. — Изв. АН СССР, СЛЯ, 1978, т. 37, № 4, с. 356.

[7] *Адмони В. Г.* О синтаксической семантике как семантике синтаксических структур. — Изв. АН СССР. СЛЯ, 1979 т. 38, № 1, с. 34.

[8] *Johanson L.* Aspekt im Türkischen. Uppsala, 1971, S. 100.

[9] *Кузнецов П. И.* Система функциональных форм глагола в современном турецком языке: Автореф. дис. . . . докт. филол. наук. М., 1983, с. 20.

[10] *Любимов К. М.* Абстрактное наклонение в турецком языке. — СТ, 1973, № 3, с. 11.

[11] *Шмелева Т. В.* О семантике структурной схемы предложения, с. 356.

[12] *Кузнецов П. И.* Система функциональных форм глагола. . ., с. 20.

[13] *Кошмидер Э.* Турецкий глагол и славянский глагольный вид. — В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962, с. 384; *Грунина Э. А.* Индикатив в турецком языке (в сравнительно-историческом освещении): Автореф. дис. . . . докт. филол. наук. М., 1975, с. 13; *Johanson L.* Aspekt im Türkischen, S. 100.

[14] *Weinrich H.* Tempus. Stutgart, 1964, S. 160.

[15] *Николаева Т. М.* Лингвистика текста: Современное состояние и перспективы. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII, М., 1978, с. 23.

В. Г. Гузев

К ВОПРОСУ О «КАТЕГОРИИ ЛИЦА» В ТЮРКСКОЙ МОРФОЛОГИИ

Признание того, что понятию «грамматическая словоизменительная категория» соответствует онтологическая реальность в виде, скажем, некоей подсистемы (или микросистемы), представляющей собой составную часть системы языка в целом,[1] делает необходимым уточнение некоторых бытующих в тюркском языкознании понятий, для обозначения которых принято пользоваться термином «категория». В этом плане представляет интерес понятие «грамматическая категория лица», содержанием которого признается совокупность личных форм глагола[2] и с которым связывается также все многообразие глагольных показателей лица и числа.[3]

Характерной особенностью сложившихся в тюркском языкознании представлений о «категории лица» и о личных аффиксах является признание их в первую очередь атрибутами глагола, связывание их с понятиями «сказуемость» и «глагольность» («вербальность»), в чем, возможно, сказалось влияние традиционной для отечественного языкознания вербоцентрической концепции предложения.[4] При этом личные формы глагола в соответствии со сложившейся в индоевропейском языкознании традицией нередко обозначаются термином «финитная форма»,[5] что предполагает отнесенность обоих терминов к одному и тому же понятию.

Если грамматическая категория признается объективно существующей подсистемой языка, то главным в ее грамматической структуре предстает то значение (или значения), которое объединяет разные формы в один ряд и обеспечивает выполнение ими одинаковых или родственных коммуникативных функций, т. е. к а т е г о р и а л ь н о е з н а ч е н и е. С этой точки зрения, категория лица — это ряд форм, объединяемых о д н о р о д н ы м и значениями, указывающими: 1) на говорящее лицо или лица, от имени которых говорящий осуществляет акт коммуникации, 2) на лицо или лица, к которым обращена речь, 3) на лицо или предмет (лица, предметы), находящиеся вне акта коммуникации. На основе этих однородных значений лица объединяются в один ряд личные местоимения.[6] Но местоимения — лексемы, а не грамматические формы. Следовательно, и нет смысла утверждать, что

они конституируют словоизменительную категорию. Однако вне всякого сомнения они составляют подсистему языка на лексическом уровне, и в этом плане вполне можно говорить о наличии в тюркских языках лексической категории лица.

По лицам и числам различаются формы трех тюркских словоизменительных категорий: 1) категории принадлежности,[7] 2) именной категории сказуемости,[8] 3) глагольной категории сказуемости.[9] Значит, для того чтобы решить вопрос о роли показателей лица и числа в системе тюркского словоизменения, необходимо уяснить устройство этих трех категорий. Но уже сам тот факт, что личные формы обнаруживаются не только у категорий сказуемости, представляющих собой совокупности именных и глагольных финитных форм, но и у именной категории принадлежности (совокупности форм принадлежности), позволяет заключить, что: 1) термины «личная форма» и «финитная форма» должны обозначать разные понятия, поскольку последним в языке соответствуют различные по своей природе единицы; 2) функции личных аффиксов у категории принадлежности, с одной стороны, и у категорий сказуемости — с другой, различны, что и отражено широко распространенными терминами «аффиксы принадлежности» и «аффиксы сказуемости».

Категория принадлежности представляет собой совокупность шести именных форм, которые объединяются одним общим для каждой формы грамматическим значением — значением «грамматической принадлежности», посредством которого передаются самые разнообразные предметные связи. В речи соответствующие словоформы сигнализируют о том, что предмет, называемый основой, истолковывается говорящим как объект отношения принадлежности, как объект обладания, а предмет, репрезентируемый личным значением присоединяемого к основе показателя, — как субъект этого отношения, как обладатель. Иными словами, любая конкретная словоформа несет информацию о некоторой ситуации определенного типа с двумя участниками: два предмета (объект обладания и обладатель) вступают в какое-либо отношение, которое поддается истолкованию в качестве притяжательной связи.

Главным с функционально-коммуникативной точки зрения у каждой из шести форм является ее категориальное значение — сложный образ, включающий объект обладания и обладателя, связанных притяжательным отношением. Репрезентация обладателя значением лица предстает как второстепенная семантическая особенность форм и всей категории принадлежности. Нетрудно видеть, что в основе всех личных форм этой категории лежит одна общая грамматическая форма — это сочетание основы и показателя любого лица. Замена одного личного показателя другим нисколько не затрагивает категориального значения формы и представляет собой поэтому не замену одной формы другой, а лишь изменение одной и той же формы, которое имеет целью переменную репрезентацию объекта, выступающего с точки зре-

ния носителя языка всегда в одном и том же амплуа — в качестве обладателя.

В свете сказанного представляется необходимым различать в сфере словоизменения два явления: 1) механизм образования форм как носителей категориальных значений, для обозначения которого наиболее пригоден уже имеющийся термин «формообразование» (как было сказано, форма категории принадлежности — основа+любой личный аффикс); 2) свойственный не всем, а лишь отдельным категориям механизм изменения форм, никак не модифицирующий их категориальных значений и служащий для регулярной переменной репрезентации в речи участников какого-либо отношения, которые с точки зрения носителей языка вступают в это отношение всегда в одном и том же амплуа (упомянутое изменение формы категории принадлежности по лицам и числам, имеющее целью репрезентацию обладателя); такой механизм было бы оправдано именовать формоизменением.[10] Важно подчеркнуть, что основная разновидность словоизменения — это, конечно, формообразование, поскольку оно включает в себя и такие категории, которые не имеют формоизменительного механизма (например, числа, склонения,залогов и др.). Формоизменение предстает как особенность внутренней организации некоторых категорий, как их дополнительный механизм.

В качестве по меньшей мере типологического свидетельства в пользу тезиса о дополнительности, второстепенности формоизменительного механизма категории принадлежности может быть истолкован тот факт, что в некоторых алтайских языках (в частности, в тунгусских) наряду с личными имеются «безлично-притяжательные» показатели, посредством которых образуются синтетические формы принадлежности со значением «свой»,[11] т. е. формы, лишенные формоизменительного механизма.

Наименьшими структурными единицами языка, которые конституируют именную и глагольную категории сказуемости, являются соответственно именные и глагольные финитные формы.

Как именные, так и глагольные финитные формы имеют одну общую (для всех финитных форм) синтаксическую особенность — способность выступать только в функции сказуемого. С коммуникативной же точки зрения общим для них является то, что каждая форма всегда участвует в передаче суждения, т. е. мысли, имеющей субъектно-предикатную структуру: субъект (предмет мысли) — предикат (сообщение о предмете мысли). Естественно полагать, что для передачи суждений посредством соответствующих словоформ каждая финитная форма должна иметь своим грамматическим значением некий образ суждения, в котором обобщена, закреплена модель суждений, их двучленная структура. Сказанное позволяет с функционально-семантической точки зрения понимать финитную форму как морфологическое средство выражения мысли, облеченной в форму суждения, что также свидетель-

ствует в пользу тезиса о необходимости разграничения понятий «личная форма» и «финитная форма».

Из предложенного понимания финитных форм следует, что в соответствующие категории сказуемости их объединяет сформулированное общее для всех форм грамматическое значение (образ суждения), которое, следовательно, и является в обоих случаях категориальным. Посредством этого значения любая конкретная финитная словоформа в речи передает какое-либо суждение, включающее субъект (предмет, о котором идет речь) и предикат (то, что сообщается о субъекте). И именные, и глагольные финитные формы в тюркских языках чаще всего (об исключениях будет сказано ниже) репрезентируют субъект личным значением входящего в состав словоформы личного аффикса. Содержание предиката раскрывается посредством имени, формы имени или глагольной основой, которые выступают в финитной форме в функции именного или глагольного сказуемого.

В основе всех именных финитных форм лежит одна и та же общая грамматическая форма — сочетание основы с личным аффиксом (он же — «аффикс сказуемости»). В составе многообразных глагольных финитных форм легко вычленяется общая форма, имеющая следующую структуру: основа+показатель наклонения / времени+личный аффикс. Показатели наклонений и времен в ней принадлежат механизму образования форм более частных категорий, входящих в состав глагольной категории сказуемости и имеющих свои собственные категориальные значения. Изменение общих грамматических форм обеих категорий сказуемости по лицам (спряжение) представляет собой формоизменение, с помощью которого осуществляется репрезентация субъекта выражаемого суждения через значение лица. Оно не затрагивает категориального значения ни той, ни другой категории сказуемости, как и категориальных значений более частных категорий — наклонений и времен, — входящих в состав глагольной категории сказуемости.

Передача суждений в тюркской речи может, как известно, осуществляться не только морфологическим способом, т. е. посредством финитных словоформ, но также и лексическим способом — путем прямого называния субъекта и предиката, как это имеет место в предикативных конструкциях типа турецкой Ben babası 'Я его отец', которые не могут признаваться конструкциями, организуемыми финитными формами. Чаще всего оба способа взаимодействуют в речи, чем достигается или конкретизация субъекта (Ahmed geldi 'Ахмед пришел'), или избыточное выражение его (Sen çocuksun 'Ты ребенок'). Но и в рамках морфологического способа передачи суждений выражение субъекта производится не только путем репрезентации его значением лица. Имеются тюркские языки — сарыг-югурский и саларский, — которые утратили изменение по лицам и числам в сфере временных форм.[12] Такие формы в этих языках, как представляется, также являются финитными, поскольку каждая из них выражает сужде-

ния. Но, так как они не способны представлять субъект грамматическим лицом, их едва ли корректно признавать личными. Подобную картину исследователи наблюдают в большинстве других алтайских языков.[13] Возможно, что содержание семы (компонента значения), в которой в составе сложного значения таких безличных финитных форм обобщены представления о субъектах суждений, является еще более абстрактным, чем в языках с личными финитными формами. Допустимо, что оно сводится к некоторому следу, способному лишь сигнализировать о н а л и ч и и субъекта, никак его не уточняя.

Изложенная трактовка устройства обеих категорий сказуемости дает основание полагать: 1) в них также необходимо различать два механизма — формообразование и формоизменение; 2) формообразование — это присутствующая в каждой финитной форме общая форма, ассоциированная с общим категориальным значением (обобщенным образом суждения); 3) формоизменение — механизм изменения форм по лицам и числам (спряжение). Наличие тюркских и других алтайских языков с безличными финитными формами подкрепляет тезис о второстепенном, побочном характере формоизменительного механизма, отсутствие которого не сказывается на способности форм функционировать в качестве морфологического средства передачи суждений и, следовательно, не меняет их сути.

Факт существования в тюркских языках безличных финитных форм — еще одно свидетельство в пользу предположения о необходимости разграничения понятий «личная форма» и «финитная форма», в которых, как было показано, отражены явления, относящиеся к двум отличным друг от друга разновидностям словоизменения: финитные формы — это структурные морфологические единицы ведущей, основной разновидности словоизменения — формообразования, в то время как личные формы — это структурные единицы неосновной, второстепенной ее разновидности — формоизменения. Личные формы в тюркских языках — это компоненты формоизменительных механизмов категории принадлежности, именной и глагольной категорий сказуемости. В принципе (если выйти за пределы тюркских языков) переменная морфологическая репрезентация участников какого-либо отношения, выступающих в нем в одном и том же амплуа, может осуществляться посредством иных языковых значений, например значениями рода и числа, как представление субъекта в русском прошедшем времени: *читал*, *читала*, *читало* (*я*, *ты*, *он*, *она*, *оно*), *читали* (*мы*, *вы*, *они*). Отличительной чертой тюркских языков следует считать то, что в них формоизменение (там, где оно имеется) носит личный характер.

Признание формообразования ведущей, а формоизменения — второстепенной разновидностью словоизменения с неизбежностью приводит к выводу, что совокупность личных форм той или иной категории (ее формоизменительный механизм) не может рассматриваться в одной плоскости с другими словоизменительными (по

своей сути формообразовательными) категориями языка и выделяться в самостоятельную «категорию лица». Следовательно, распространенное мнение, согласно которому любой ряд форм, объединяемых общностью грамматических значений, представляет собой грамматическую категорию, является поверхностным и нуждается в уточнении.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Подробнее см.: *Гузев В. Г., Насилов Д. М.* Словоизменительные категории в тюркских языках и понятие «грамматическая категория». — СТ, 1981, № 3, с. 22—35.

[2] См., например: *Баскаков Н. А.* 1) Система спряжения или изменения слов по лицам в языках тюркской группы. — В кн.: ИСГТЯ. Ч. II. Морфология. М., 1956, с. 263—303; 2) Историко-типологическая морфология тюркских языков (структура слова и механизм агглютинации). М., 1979, с. 232—246; *Шайхайдарова Д. Ш.* Грамматическая категория лица татарского глагола и персональность. Канд. дис. Казань, 1979.

[3] См.: *Щербак А. М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Глагол). Л., 1981, с. 23—40.

[4] См.: *Храковский В. С.* История вербоцентрической концепции предложения в русском языкознании. — ВЯ, 1983, № 3, с. 110—117.

[5] См., например: *Насилов В. М.* Язык тюркских памятников уйгурского письма XI—XV вв. М., 1974, с. 72—96.

[6] Особые свойства и функциональные возможности значения 3-го лица едва ли оправдывают вывод Э. Бенвениста: «„третье лицо" не есть лицо» (*Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974, с. 262).

[7] См.: *Дмитриев Н. К.* Категория принадлежности. — В кн.: ИСГТЯ. Ч. II. Морфология. М., 1956, с. 22—37; *Севортян Э. В.* Категория принадлежности. — Там же, с. 38—44; *Иванов С. Н.* К истолкованию категории принадлежности (на материале турецкого языка). — СТ, 1973, № 1, с. 26—36; *Нигматов Х. Г.* Синтаксическая сущность форм принадлежности в языке восточно-тюркских памятников XI—XII вв. — СТ, 1975, № 5, с. 21—26.

[8] *Севортян Э. В.* Категория сказуемости. — В кн.: ИСГТЯ. Ч. II. Морфология. М., 1956, с. 16—21; *Гузев В. Г.* Система именных форм тюркского глагола как морфологическая категория: (На материале староанатолийского и турецкого языков). — В кн.: Turcologica: К семидесятилетию акад. А. Н. Кононова. М., 1976, с. 56—64.

[9] *Гузев В. Г.* Парадигма глагольных финитных форм как морфологическая категория: (На материале староанатолийско-тюркского языка). — СТ, 1982, № 4, с. 67—79.

[10] Это слово, по-видимому, как синоним термина «формообразование», встречается у А. И. Смирницкого (*Смирницкий А. И.* Морфология английского языка. М., 1959, с. 12).

[11] *Суник О. П.* Существительное в тунгусо-маньчжурских языках: В сравнении с другими алтайскими языками. М., 1982, с. 225—241.

[12] См.: *Тенишев Э. Р., Тодаева Б. Х.* Язык желтых уйгуров. М., 1966, с. 25—32; *Щербак А. М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Глагол), с. 23—24.

[13] *Рамстедт Г. И.* Введение в алтайское языкознание: Морфология. М., 1957, с. 81.

Г. А. Давыдова

ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ

Как известно, Алишер Навои стремился доказать и показать возможность самостоятельного существования художественной литературы на языке тюркй [см. 8, с. 102; 13]. Тюркоязычная литература в Чагатаевом улусе находилась под мощным влиянием таджикско-персидской классической поэзии. Немного было поэтов, которые писали только на тюркй, большинство сочиняли стихи на двух языках или только на фарси [см. 1; 16, с. 20, 28, 91, 101]. «Многие, а может быть, и все обратились к языку персидскому и были расположены к сложению стихов на этом языке» [2, с. 138]. Алишер Навои много труда и сил затратил на то, чтобы изменить эту традицию: «Поскольку совершенство тюркского языка подтверждается столькими доказательствами, следовало бы, чтобы появившиеся из среды этого народа даровитые люди приложили бы способности и дарования свои к собственной речи, а не проявляли бы себя в иных языках. . .» [2, с. 122]. Поэт обосновывал право на литературную жизнь языка тюркй теоретически — в таких трактатах, как «Лисан ат-тайир» («Язык птиц») и «Мухакамат ал-лугатайин» («Суждение о двух языках»): «Я . . . раскрыл чистоту и утонченность, красноречивость и необъятность языка тюркского народа» [2, с. 139]; а практически он демонстрировал возможности родного языка, создав великолепные образцы поэтической речи: «Так как мое усердие на этом пути было высоким, а нрав бесстрашен и безбоязнен. . . войско моей поэзии совершало набеги по-тюркски . . . розы следствия этого стали открываться людям без меры и числа и сыпаться невольно на их головы» [2, с. 124—125].

Алишер Навои составил с этой целью пособие по стихосложению «Мизан ал-авзан» («Весы стихотворных размеров»): «И с годами я проник в суть языка тюркского, в правила и основы стихосложения его, кои были неведомы мне дотоле» [2, с. 138]. Он собрал сборник своих писем под названием «Муншаат», чтобы дать образцы эпистолярного жанра: «В письмах тюрков, в мышлении и речи этого народа, когда они изъясняются перед могущественными вельможами или дорогими друзьями, или когда один пишет письмо другому. . ., их выражения лишены изящества и сочинения их свободны от красноречия. Их послания не имеют красоч-

ных вставок и содержание не украшено цветистыми и чеканными стихами. И напротив, сочинения на языке фарси прекрасны, и письма и документы бесчисленны и достойного стиля. И [мне] пришло в голову, пусть так же будут написаны письма и на тюркском языке, и на этом языке и по тому же образцу пусть пишутся письма» [17, л. 99б].

Из этого следует, что сама по себе идея собрать свои письма в книгу не нова для средневековой мусульманской культуры. Так, А. Мец писал, что уже в X в. в литературе Халифата письма представляли собою «цвет изящнейших произведений мусульманского художественного ремесла, работавшего с самым благородным материалом — с живым словом. . . Отнюдь не является случайностью, что множество везиров в то время мастерски владели стилем и их письма смогли удостоиться чести быть изданными в форме книг» [12, с. 204]. Эпистолярный жанр был удивительно тонко разработан, письма отделывались не менее тщательно, чем поэтические сочинения. Была создана и композиционная структура письма и форма его как жанра.

В «Муншаат» входит 87 писем и Предисловие (по Бакинскому изданию 1926 г. [4]), о рукописях «Муншаат» см. [11]). Первые девять писем — это не письма в привычном понимании. Они никому не адресованы и представляют собой художественную прозу с вкраплениями рубайи, бейтов и маснави (так они называются в тексте), изобилующую метафорами, замысловатыми аллегориями с широким спектром литературных, исторических и культурных ассоциаций. Это образцы воистину восточного красноречия. Остальные письма достаточно конкретного содержания, хотя их контекстуальный смысл не всегда очевиден, так как большей частью неизвестен адресат, называть которого не было принято, а ситуация, побудившая писать письмо, требует реконструирующего исследования. Здесь обширное поле для историко-культурных разысканий.

Что касается композиции письма, то Алишер Навои следовал культурной традиции арабо-персидской эпистолярной прозы [12, с. 206—212]. Сначала идет бейт или рубайи, где автор сообщает, что получил ожидаемое письмо, иногда кратко указывает содержание, на которое дается ответ, или, наоборот, сожалеет, что не получил письма, говорит о своем безмерном счастье и радости в первом случае или о своем великом горе и тягостной тоске в разлуке — во втором. Это — непременная вводная часть. Потом идет сам текст письма с какой-то информацией и концовка.

Вот для примера письмо 51, в котором сообщается только о получении известия. (Нумерация писем условная, проведенная мною по Бакинскому изданию, где каждое следующее письмо называтеся *нав'и дигар* 'другое'.) Рубайа:

Пока ветер-гонец [не] принес весть о возлюбленной моей
И не растолковал известия о моем розоволанитном кипарисе,

Сердце ничего не знало о той, что терзает мою душу.
И вот гонец принес весть о моей прекрасной наезднице.[1]

Для тех, кто в ночи разлуки потерял надежду на утро свидания, не может быть более радостного известия, чем добрая весть утреннего ветерка-гонца, и для тех, у кого в страстном желании глаза сумрачны от любви к красавице, нет ничего светлей, чем восход солнца соединения. Хвала Аллаху, первые достигли счастья и, слава Аллаху, последние удостоились блага. После нижайших приветствий сообщается, что некий стремянный в такой-то день такого-то месяца прибыл и доставил высочайшее письмо, в котором Вы вспомнили об этом рабе. Вы — повелитель, поскольку своим посланием, переданным гонцом, возвысили и отличили [меня] среди [других] Ваших подданных. Пусть вечным будет благоденствие государства и пусть будет постоянным счастье. Аминь! [17, л. 99; 3, с. 50].

Значительная часть писем написана Навои в Астрабаде, где он был правителем (хакимом) в 1487—1488 гг. Адресованы они, по всей вероятности, Султану Хусейну мирзе, властителю Хорасана, господину и другу Алишера Навои. В них говорится о тяжести разлуки, о желании поэта быть в Герате, при дворе, на службе у мирзы. Во многих письмах Навои приносит благодарность за полученное известие или сетует на отсутствие таковых. По мнению И. Султана, несколько писем в начале книги (письма о временах года) написаны Навои в молодости (в самаркандский период и ранее) [19, с. 186, примеч. 1]. Некоторые письма посланы, видимо, из Мешхеда: в них сообщается о посещении гробницы имама Ризы, которая, как известно, находится в этом городе.

Часто речь идет о стихах, которые поэт посылает адресату. В некоторых письмах Навои просит за подателя письма, например за неких Чападара Кунгулташа, Махмуда Табризи. Мы узнаем о болезнях Султана Хусейна, самого поэта, о подарках (парадное платье и книги), в письмах упоминаются переписчик рукописей поэта Султан Али, художник Бехзад. В некоторых случаях можно определить, кому адресовано письмо. Это султан Махмуд Барлас мирза, царевич Бади' аз-Заман мирза, царевич Музаффар Хусейн мирза, ходжа Хафиз Гийас ад-дин и др.

Письма Навои представляют несомненный интерес для исследователя в аспекте выяснения отдельных фактов биографии поэта, его отношений с Султаном Хусейном и другими лицами, определения его роли в некоторых исторических событиях.

Для историка литературы очень интересно, например, письмо, в котором Навои рассказывает, как он создал свои четыре дивана стихов. Оно не оставляет никаких сомнений в том, что «Хазайин ал-ма'ани» («Сокровищница мыслей») — это не антология из газелей Навои, как считали, например, Е. Э. Бертельс и С. А. Волин [7, с. 111, 126; 9, с. 216—217], а другое название «Чар дивана». Из этого письма становится известным, что большинство стихов Алишер сочинил за два года перед тем, как собрать их и объеди-

нить. Подтверждается известный факт, что сделал он это по совету и с согласия Султана Хусейна. В Предисловии к «Хазайин ал-маʿани» Навои писал: «Я доложил в подобной раю беседе с его величеством Султаном Сахибкираном[2]: „Что если собрать пятьдесят, шестьдесят или сто газелей. . .“, и его величество посмотрел на это милостиво» [19, с. 376].

В этом же письме, адресованном одному из придворных Султана Хусейна в связи с представлением последнему Алишером редакции дивана [9, с. 216], поэт сообщал: «В эти два последних года на голову Вашего раба сыпались сто видов несчастий от превратностей судьбы и сотни различных испытаний от несправедливостей притеснения любви. . . Содержание тех несчастий и тягот я мечтал сделать предметом нескольких бейтов и матла. В короткое время мною было сочинено много стихов и собраны газели каждого жанра. Нельзя же было их растерять! Повинуясь повелению собрать их, я соединил стихи прежних двух диванов[3] с теми, что были написаны позднее и разделил их на четыре цикла. И были даны им четыре названия: для чудесных вещей, случающихся в детстве, — „Чудеса младенчества“; для диковин юного возраста — „Редкости юности“, для чудес, блистающих в середине жизни, — „Фантазии среднего возраста“, для выгод, относящихся ближе к концу жизни, — „Польза старости“. Еще этому целому, которое раньше было смешанным, подобно тому как появляется смысл, возникающий из сокровищниц вдохновения, было дано название — „Сокровищница мыслей“» [17, л. 105].

Исследователю, занимающемуся вопросами мировоззрения Навои, безусловно, предоставит необходимый материал письмо, в котором Навои высказывает свои соображения относительно государственного устройства и предлагает программу управления страной. Это письмо дано в вольном изложении в книге А. Шарафуддинова [20, с. 70—72].

Внимание историков эпохи Тимуридов привлечет письмо, адресованное царевичу Badиʿ аз-Заману в связи с раздорами, которые возникли в семье Султана Хусейна. Это письмо свидетельствует о том, что у Алишера Навои не было иллюзий в оценке последствий династийных распрей и он старался предотвратить трагические события по мере своих сил и возможностей. Этот эпизод привлекал внимание историков, зафиксирован в источниках («Раузат ас-сафа» Мирхонда, «Хабиб ас-сийар» Хондемира, «Бадеʿ ал-вакаʿ» Васифи, «Бабур-наме» Бабура), присутствует во всех описаниях жизни и творчества Алишера Навои [см. 6; 7; 20; 19; 15].

Старший сын Султана Хусейна — Бадиʿаз-Заман мирза, по традиции бывший правителем Астрабада, пришел на помощь отцу во время войны с Хисаром, оставив в Астрабаде своего сына Мухаммеда Мумина мирзу. После войны Султан Хусейн мирза дал старшему сыну в управление Балх, а Астрабад отдал Музаффару Хусейну мирзе [7, с. 224]. «Это был любимый сын Султан Хусейна мирзы, хотя его качества и поступки не могли вызвать любви. Сыновья Султан Хусейна мирзы из-за того, что он ставил

[Музаффара] выше других, в большинстве восстали против него. . . С тех пор и до этого времени ездило взад-вперед много послов. В конце концов даже Алишер бек прибыл послом к Бадиʿаз-Заману мирзе, но сколько он ни старался, Бадиʿ аз-Заман не соглашался отдать Астрабад младшему брату. Он говорил: когда мирза справлял обрезание моего сына Мухаммеда Мумина мирзы, он подарил [Астрабад]» [5, с. 54].

Проблема решилась войной: Султан Хусейн разбил Бадиʿ аз-Замана и взял Балх, «Бадиʿ аз-Заман мирза, ограбленный и обобранный, пошел со своими конными и пешими в Кундуз, к Хусрау шаху» [5, с. 55]. Музаффар Хусейн мирза победил под Астрабадом Мухаммеда Мумина мирзу, взял в плен и отправил в Герат. Там события развивались дальше. Мать Музаффара Хусейна мирзы и везир Низам ал-Мулк составили приказ о казни царевича, и, воспользовавшись опьянением Султана Хусейна («В первые шесть-семь лет после занятия престола он воздерживался от вина, потом стал пить. За те сорок почти лет, что он был государем в Хорасане, не было дня, чтобы он не пил после полуденной молитвы, но утром он никогда не пил» [5, с. 189]), получили его подпись. Приказ был приведен в исполнение до утра [7, с. 225; 19, с. 379, примеч. 1]. Это повлекло за собой новые казни и войны, что имело тяжелые последствия для правления Султана Хусейна, как и предвидел Навои. «Хондемир уверяет, что несколько раз слышал в эти дни от Мир Али-Шира предсказание, что убиение царевича будет иметь такие же последствия, как в свое время убиение Меджд ад-Дина Багдади, с которым, как известно, связывали нашествие Чингисхана. Предсказание Мир Али-Шира было потом отнесено к нашествию узбеков» [6, с. 250].

Драматические эти события происходили в 1496-97 (902 г. х.). Письмо Бадиʿаз-Заману мирзе, о котором шла речь выше, так или иначе упоминается всеми историками и исследователями, но текстуально не приводится (за исключением И. Султана, который дает это письмо в значительной мере сокращенным в узбекской графике с минимальными пояснениями в «Книге признаний Навои» [19, с. 245—249]). Помимо того интереса, который вызывает это письмо непосредственно своим содержанием, оно помогает определить дату написания «Муншаат».

В самом тексте «Муншаат» нет прямых указаний на то, когда был составлен сборник. Исследователи датируют «Муншаат» временем после 1492 (897 г. х.) [см. 20, с. 95; 9, с. 229; 19, с. 404]. Эта дата возникла следующим образом: в «Хамсат ал-Мутахайирин» («Пятерице смятенных») Навои рассказывает о том, как он пришел к Джами в последний год его жизни и тот посоветовал ему дать отдельное название для каждого дивана, что Алишер и исполнил. Джами умер в 1491-92 (897 г. х.). В Предисловии к «Хазайин ал-маʿани», где Навои сообщает, что собрал свои стихи и разделил их на четыре цикла, т. е. то же, что и в приведенном выше письме из «Муншаат», он упоминает «Маджалис ан-нафаис» («Собрание прекрасных»), про которое известно, что

оно написано между 1491 и 1492 гг. На этом основании определяется дата «Хазайин ал-ма'ани» и делается вывод, что «Муншаат» не могло быть составлено ранее этого времени [9, с. 125].

Но здесь возникает вопрос, почему «Хазайин ал-ма'ани» не могло быть составлено позднее. Е. Э. Бертельс считал, что этот поэтический сборник был собран в последние годы жизни поэта — 1498—1499 гг. [7, с. 111]. По мнению Х. Сулейманова, составление «Хазайин ал-ма'ани» продолжалось несколько лет, а именно 1492—1498 гг. [19, с. 375, примеч. 5; ср. также 13, т. 1—4]. С. А. Волин к 1491-92 г. относит четвертую редакцию в виде четырех диванов, разделенных по периодам жизни, с «новым» предисловием, а пятую, сборную — «Хазайин ал-ма'ани» к 1498-99 г. И тогда дата «Хазайин ал-ма'ани» перестает быть основанием для определения времени составления «Муншаат».

Более того, письмо царевичу Бади' аз-Заману, судя по обстоятельствам, там упомянутым, по напряженности и драматизму, по рискованности и настойчивости, с которой Алишер Навои пытается предотвратить кровавую междоусобицу, с нашей точки зрения, относится к событиям 1496—1497 г. И. Султан осторожно относит это письмо к 90-м годам XV в. [19, с. 249, примеч. 1], поскольку, как он отмечает, было несколько стычек из-за Астрабада между Султаном Хусейном и Бади' аз-Заманом [19, с. 246, примеч. 2]. Кроме того, И. Султан считает, что письма, написанные Алишером в разное время, расположены в «Муншаат» в хронологическом порядке [19, с. 186, примеч. 1]. Но письмо Бади' аз-Заману помещено перед письмом о государственном устройстве (53-м), которое послано из Астрабада и датируется, следовательно, 1487-88 г., а значит, не могло быть написано позже. Поэтому это утверждение пока не кажется основательным хотя бы потому, что письмо о составлении «Хазайин ал-ма'ани» является 40-м, а должно датироваться или 1492 г., или 1498 г. Кроме того, в разных рукописях порядок расположения писем значительно отличается [см. 11], а это тоже заставляет усомниться в том, что они расположены хронологически.

Относительно довода, что было несколько столкновений из-за Астрабада, так ведь только одно из них привлекло столь пристальное внимание историков и мемуаристов: «Когда Султан Хусейн пришел к Балх, то ради пользы Мавераннахра отдал Балх Бади' аз-Заману мирзе, а его владение — Астрабад отдал Музаффар Хусейну мирзе. Он заставил обоих ради Балха и Астрабада преклонить колени в одном и том же собрании. Бади' аз-Заман мирза из-за этого разобиделся. Причиной стольких лет вражды и смуты было именно это обстоятельство». А согласно Бабуру, это событие года 902 г. х., т. е. 1496-97 [5, с. 46]. Кроме того, самая ранняя сборная рукопись произведений Навои, где имеется «Муншаат», датирована 1498-99 (22 зу-л-хиджжа 904 г. х.). Эта рукопись из собрания Ханыкова, шифр хранения 55 (ГПБ им. Салтыкова-Щедрина) [см. 9, с. 225; 11, с. 167]. Можно

предположить поэтому, что «Муншаат» составлено между 1496 и 1499 гг.

Но далее начинаются осложнения. Дело в том, что в рукописи Ханыкова 55 отсутствует письмо Бадиʿ аз-Заману мирзе (52-е), как и следующее за ним письмо о государственном устройстве (53-е). Всего в этой рукописи два пропуска текста — оба раза это неосознанные лакуны, поскольку это пропуск целых страниц и на стыках потеря смысла. Но каждый раз на полях переписчик указывает, что следующая страница лежит правильно. Из пяти ленинградских рукописей «Муншаат» письмо Бадиʿ аз-Заману мирзе имеется только в двух: сборной рукописи произведений Навои из собрания К. П. фон Кауфмана 1825—26 гг. (ГПБ, шифр Турецкая новая серия 7) и рукописи из собрания С. Ф. Ольденбурга, датируемой XIX в. (ИВ АН СССР, В 581). В остальных это письмо утеряно или изъято после переписки, поскольку характер пропуска не свидетельствует о сознательном исключении переписчиком. Скорее всего, листы были утеряны до поступления рукописей в фонды хранения, а если судить по рукописи XIX в. под шифром Тур. Н. С. 12 (Из собрания фон Кауфмана, ГПБ), переписчик которой копировал и корректировал упомянутую выше рукопись Ханыкова 55 [см. 11], то это произошло значительно раньше.

До сих пор текст «Муншаат» менее всех других сочинений Алишера Навои привлекал внимание исследователей. Упоминания о нем крайне лаконичны и в основном исходят из «Бабур-наме»: «Алишер бек был человек бесподобный. С тех пор, как на тюркском языке слагают стихи, никто другой не слагал их так много и так хорошо. Он сложил шесть книг месневи. . . четыре дивана газелей. . . Хорошие рубайи у него тоже есть и еще некоторые сочинения, но они ниже и слабее упомянутых. К числу их принадлежат его письма; следуя примеру Абд ар-Рахмана Джами, он собрал их, и получился сборник писем, которые он писал кому-нибудь по какому-либо поводу» [5, с. 198].

Впервые текст «Муншаат» был опубликовал в Баку Б. Чобан-заде в 1926 г. без указания на рукопись, положенную в основу издания. В собрание сочинений Алишера Навои, изданное в 1963—1968 гг. в Ташкенте в узбекской транскрипции, он вошел в 13-й том, подготовленный П. Шамсиевым [см. 3]. Несколько писем с лакунами неясных по содержанию частей и с пояснениями на узбекском языке используется в увлекательной книге И. Султана в качестве материалов для творческой биографии поэта [см. 19].

Ниже предлагается полный перевод письма царевичу Бадиʿ аз-Заману (52-е) по рукописи Тур. Н. С. 7 1825-26 г. из собрания фон Кауфмана. Для сопоставления привлекался текст «Муншаат», изданный Б. Чобан-заде [4, с. 51—55].

* * *

Священный хадис [4]: «Тот, кто с богом, с тем бог» [5], то есть если для бога живет человек, то и бог живет для того человека. Смыслом бытия ради бога называют вот что: поступать в соответствии с повелениями Всевышнего и воздерживаться в соответствии с его запретами. Смыслом существования для такого человека Всевышний называет вот что: если есть у раба [божьего] какие-либо цели и стремления, они осуществятся, раз он поступает в соответствии с повелениями Господа, и будет он [тогда] сохранен от всяких бед и несчастий. Непременно!

Каждый человек, если он хочет, чтобы желания его и намерения исполнялись, а беды и несчастья миновали, пусть поступает согласно повелениям Всевышнего и уклоняется от того, что запрещено! Нет на свете такого человека, который не имел бы хоть каких-нибудь желаний и который не хотел бы уберечь себя от беды!

Однако, чем больше желаний у человека, тем в большей степени он должен подчинять себя повелениям Всевышнего. А в особенности властители! Ведь ясно: желание нищего — драхма серебра [6], стремления же падишаха — весь мир! И хотя для Всевышнего нужда этих двух одинакова, тем не менее в желаниях их большая разница. Поэтому должно быть так, чтобы и в их способности повиноваться разница была такой же большой.

Цель этого предисловия такова: поскольку властители — это рабы Всевышнего, которые превыше всех избранных, а их нужды и потребности больше, чем у прочих рабов [его], определено, что для них смиренность и покорность, а также подчинение установлениям должны быть больше. Вообще повиновение сам высокочтимый пророк, да благословит его Аллах, мир ему, установил в качестве законного пути. Любой человек на путях закона более стоек, более покорен Всевышнему богу и пророку, мир ему, и желания его более осуществимы и от несчастий он сохраннее.

Пророк, мир ему, повелел: «Одобрение Господа в одобрении отца, неодобрение Господа в неодобрении отца» [7], то есть согласие Всевышнего бога зависит от согласия отца и гнев Всевышнего также связан с гневом отца. Итак, если человек добьется согласия отца, это значит, что он как бы уже получил согласие Всевышнего, и если он вызвал гнев отца, то это означает, что он уже разгневал Всевышнего. И после всего этого, как может человек высказываться, не сообразуясь с согласием отца, или поступать по-своему?!

Слово шейхов [8], да будет над ними милость Аллаха, таково: «Твой отец — твой Господь!» [9], то есть твой отец — твой создатель (творец), потому что он был средством, [с помощью которого] Всевышний бог сотворил [материализовал] тебя из небытия, и его трудами [ты] был воспитан от младенчества до молодых лет.

А вот что говорит Хаким Сулейман [10], да будет над ним Его милость: «Отец могуч и вечен, мать же кормилица обычно!»

Адиб Ахмад, да благословит его бог, говорит (рубайи):

Если отец ошибется, не ошибка это,
Даже, если ошибается отец, знай, прав он!
Ошибку отца почитай за истину,
Так Господь избавляет тебя от сотен бед!

Отец Ибрахима Халиля, да будет над ним милость и благословение божье, известен тем, что был он из сословия брадобреев [11], и когда тот стал давать совет своему почтенному отцу, он воскликнул: «Советуй, но с почтением и уважением!»

Йусуф [12], хвала ему, совершил ошибку перед Йакубом [13], хвала ему, так как нарушил все приличия, и, как известно, ему было обещано посланником, что вступит он в рай семьдесят лет спустя после остальных пророков.

Хам [14] был сыном пророка Ноя, хвала ему. Он совершил проступок по отношению к своему высокочтимому [отцу]. И по просьбе того высокочтимого был опозорен, а потомство его было лишено благословения.

Цель этого предисловия такова: я [Ваш верный] раб, всегда сообщал Вам только добрые вести, и я молился за Вас, желая Вам счастья на всю жизнь. Но неподходящее дело мне обвинять Вас, однако в моих книгах я уже начертал Письма назиданий [15] и довел их до Вашего сведения.

И вот сейчас стало известно о некоторых Ваших делах. Нужно Вам доложить, что все они оказались такими, что интересы Мирзы[16] не принимались во внимание. Одно из них то, что без совета были собраны налоги [17] в вилайете, а это не по закону. Ни на третий, ни на четвертый день все это изобилие не появилось. Хотя Вы и подали знак, «Нет!» не было сказано.

И еще Вы написали: «Не посылай никого в Астрабад, так как я не хочу его отдавать» [18]. Это же Вы могли бы выразить и помягче. Вы написали: «Я захватил вилайеты Ирака» [19]. Ну, слава Аллаху, пусть вошел в Ирак, но раз это дело оказалось совершенным без того, чтобы поговорить несколько раз с Мирзой, доложить [ему] до того, как решиться войти [и захватить Ирак], то произошли события удивительные, если не для других людей, то для Вас.

И еще недостойные [события]: хотя Вы и совершили грубую ошибку, приказав стричь бороды [20] сановникам Вашим, но, возможно, Вы и согласитесь, что произошло действительно удивительное дело. Необходимо, ради сохранения достоинства, чтобы [Вы] сами по крайней мере не стригли, но как достичь этого? Вы приказали также стричь Ваших людей, но об этом лучше не распространяться [21].

Еще вот что. Принесли Ваше письмо, и в его монограмму [22] не было вписано имя Мирзы. Подобает ли так поступать молодому человеку, умному, воспитанному по-мусульмански, такому, как Вы? Если Вы сами писали это письмо, то какая же была цель? Если писец или кто другой совершил ошибку, почему Вы

сами не просматриваете каждое письмо, а потом уж пусть будет оно отправлено.

Есть большая разница между [одними] сыном и отцом и [другими] сыном и отцом. Если Вы не такой, как Бабур мирза [23], один из сыновей Байсунгара мирзы, то как могли Вы не проявить большего уважения? Подобно Абд ал-Латифу мирзе [24], одному из сыновей Улугбека [25], или Хасану Али [26], из сыновей Джаханшаха мирзы.

Бог свидетель [27], я, Ваш покорный слуга, более других осведомлен о Ваших делах. Вы же всегда были махдумом [28] среди всех сыновей махдума и махдумом Мирзы и любимцем Мирзы и зеницей ока его. Вы сами знаете, что нет никого, кто бы лучше Вашего покорного слуги знал сокровенные мысли Мирзы, касающиеся Вас. Клянусь Аллахом и почтенным Али, я осведомлен в том, что изложил.

А теперь положение таково: отдав Астрабад, они собрали хороших нукеров и послали на Вас. Эти вести пришли из Ирака, но при этом они рассчитывают на помощь. А беки из царских сыновей и других приближенных рассчитывают на Вас: если вы завоюете Ирак, то тем возвеличите Ваше положение подданного и подчиненного Мирзы. Вот таковы дела, которых до сих пор нигде не бывало. Так что ясно, из-за Вас в немилости четвертое по отношению к Мирзе поколение Тимура [29]. Мирза каждую пятницу в соборной мечети во время службы заставляет читать молитву [30] во имя Бека, духа святых [31]. А что еще остается Мирзе, кроме молитвы, раз Вы из монограммы своего письма вычеркиваете благословенное имя Мирзы. Хорошо, если Вы захватили бы все земли от Ирака, даже Мекки вплоть до Магриба [32], но этого не случилось. Если Вы предполагали ослабить Мирзу, но бог могуч. А сын, будучи по необходимости слабым, пусть услужит своему отцу, не жалея своей души.

Клянусь дорогой головой Мирзы и Вашей дорогой головой, что дата, когда это послание было написано, двадцать дней назад. Каждое утро до ночи и от полудня до вечера, сидя, это дело делалось. Скольким диванам [33], писцам, парваначи [34] надоел, с помощью скольких хитростей они освободились! О содержании его осведомлен сын мауланы Дарвиш Мухаммада до мельчайших подробностей. И если бы хоть десятая часть этого произошла в прошлые времена. . ., но такие дела разве могли бы случиться!

Сахиби давлат [35] обычно прислушивается к бескорыстным словам своего желающего добра и пекущегося о [благе] государства раба. Вы сами знаете, что на службе Мирзы этот раб какими только словами не дерзил. И в Вашем присутствии происходило то же самое. Пусть длятся Ваши молодые лета! Редко случалось, чтобы Вы отвергали когда-либо слова этого раба. Сейчас же, когда у раба Вашего душа горит, у других даже подол не тлеет! Этими словами совершена дерзость, но надеюсь, что примете [их]. Если же нет, слова, которые сказал этот [Ваш] раб, я изложил с покорностью.

Господь свидетель, послание написано не по приказу Мирзы, никто об этом не осведомлен. Оно написано по приказу, о котором Вы и не помышляете, ибо, поскольку я у Вас на службе, я обязан говорить слова доброжелания. По этой причине это дерзкое послание написано [36].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *йāрим, шаҳсувāр* перевод возможен и в мужском роде

[2] *Cāҳибқирāн* титул Тимура и вообще монарха; счастливый, победоносный, рожденный под знаком Венеры и Юпитера.

[3] *бурунғи икки диван* это «Бадаи' ал-бидайа» и «Навадир ан-нихайа», два дивана стихов Алишера Навои, рукописи которых были найдены и атрибутированы Хамидом Сулейманом [18, с. 3—4].

[4] *ҳадӣс* рассказ, или предание, входящий в сунну — мусульманские священные предания, передававшиеся устно и служившие дополнением к писаному закону. Это воспоминания сподвижников пророка о его словах, поступках и даже молчании, которые могли служить примером в тех или иных обстоятельствах

[5] текст на арабском языке

[6] *дирам сим* дирхем, драхма, 25-я часть динара

[7] текст на арабском языке

[8] *машайӣх* шейхи, здесь глава племени у арабов

[9] текст на арабском языке

[10] *Хаким Сулейман* Хаким-ата Сулейман Бакыргани, тюркский святой из Хорезма, ученик Ахмеда Йасави (XII в.) [6, с. 532]

[11] *аз рутб тарраш эрди*

[12] *Йусуф* Иосиф Прекрасный, не послушался предостережений отца (Коран, сура 12)

[13] *Йаққӯб* библейский пророк Иаков

[14] *Хам* один из трех сыновей библейского пророка Ноя. Проступок его состоял в том, что он показал братьям, Симу и Йафету, отца, спящего обнаженным в опьянении

[15] «Письма назиданий» царевичу Бади' аз-Заману мирзе в главе XX «Хайрат ал-абрар», советы, как справедливо управлять страной (1483)

[16] *Мирза Султан Хусейн* сын Мансура, сына Байкары, сына Омаршейха, сына Тимура, таким образом, он праправнук Тимура. Годы жизни 1438—1506. «Это был благородный государь, родовитый по отцу и матери. Их было два единородных сына. . . Байкара мирза был старше Султана Хусейна и был его нукером, но не присутствовал в диване. . . Младший брат дал Байкаре мирзе область Балх. . . [Султан Хусейн] был говорун и весельчак. Нрав у него был немного несдержанный и речи его такие же, как нрав» [5, с. 189].

[17] *мāл* казна, харадж, земельный налог [20, с. 19]

[18] *Астрабāд* богатая и важная в стратегическом отношении провинция Султана Хусейна, которой обычно управляли наследники престола или особо доверенные лица. В данном случае речь идет о том, что Бади' аз-Заман препятствовал отцу отдать эту провинцию брату Музаффар Хусейну

[19] *Ирāқ* видимо, Персидский Ирак. Это была область за пределами владений Султана Хусейна: «Область, которой он владел, была Хоросан. На восток от его земель лежат Балх, Газни, Бистан, Дамган, на севере — Хорезм, на юге — Кандахар и Систан» [5, с. 192]. Бабур называет Ирак «чужбиной» [5, с. 196]. В источниках не удалось найти каких-либо упоминаний о войне Бади' аз-Замана в Ираке с Йакуб ханом. Скорее всего речь идет о хвастливом заявлении Бади' аз-Замана

[20] *аркāн давлатингизнинг сақалин қирқтурмакнинг қабаҳати* Бартольд со ссылкой на Хондемира сообщает о казии, которому Улугбек за неправильное решение дела хотел сбрить бороду и провести по городу в таком виде [6, с. 132, примеч. 75]. Гафуров упоминает о том, что посол Чингисхана, прибывший в столицу Хорезмшахов, был по приказанию Мухаммеда Хорезмшаха казнен, а его спутникам обрезаны бороды [10, с. 448].

[21] В тексте «Муншаат», изданным Чобан-заде, этот эпизод опущен, также и в тексте, приведенном И. Султаном

[22] *Туғра* монограмма в виде вязи из имени падишаха государства, которую наместники вилайетов обязаны были ставить на каждом документе

[23] *Бабур мирза* Абу-л-Касим пришел к власти в Герате в 1457 г., убив своего брата Султана Мухаммеда. Оба они сыновья Байсункара, сына Шахруха

[24] *Абд ал-Латиф мирза* сын Улугбека. В 1449 г. начал борьбу за власть против отца. Последний по его приказу был убит. «Был желчный, мнительный и буйный человек. Помимо этого он отличался скверными пороками. Чтобы упоминать о них, нужно не иметь стыда. Тленного мира ради он казнил своего мудрого отца — падишаха» [1, с. 147]

[25] *Улугбек мирза* (1393—1449), сын Шахруха, правитель Самарканда. «Был мудрым падишахом. У него было много достойных качеств. Он знал священный Коран наизусть и читал суры его семью способами чтения. Хорошо знал он астрономию и математику. Он составил астрономические таблицы и соорудил обсерваторию. И поныне его таблицы распространены среди астрономов» [I, с. 146]

[26] *Хасан Али* сын Джаханшаха — последнего упоминает Бабур как государя Тебриза во времена Улугбека [5, с. 20]

[27] *тенгрилик ўртададур*

[28] *маҳдум* здесь уважаемый человек, старший сын

[29] *мирзаға Тимурбек тўртинчи насб*

[30] *хутба* пятничная молитва в мечети, в которой обязательно упоминается имя правящего государя

[31] *бекнинг атига шариф руҳиға*

[32] *керак эрдиким 'Ирāқдин Макка балки Мағриб заминғача āлсангиз бу ваҡ'е бўлмаса эрди* видимо, Навои смеется по поводу завоевательных претензий царевича

[33] *дивāн* здесь чиновник канцелярии

[34] *парваначи* помощник везира

[35] *Сахиби Давлат* Султан Хусейн

[36] *Бади' з-Заман* мирза старший сын Султана Хусейна. «Султан Бадиуззаман красив внешним и внутренним обликом и украшен многими достоинствами и совершенствами. В боевых состязаниях он великолепен, а в пиршествах общителен, щедр и бесподобен. Дарование его прекрасно и в поэзии» [1, с. 148]. «В те несколько лет, когда власть правителя Астрабада принадлежала Бади' аз-Заману мирзе, его приближенные, челядь и всадники были роскошно и нарядно [одеты]. У него было множество золотой и серебряной посуды и утвари, а шелковым подушкам и породистым коням его не было числа» [5, с. 55]

ЛИТЕРАТУРА

1. *Алишер Навои.* Собрание избранных. — Соч. в 10-ти т. Ташкент, 1970, т. IX.
2. *Алишер Навои.* Суждения о двух языках. — Там же, т. X.
3. *Алишер Навоий.* Асарлар. Т. 1—15. Тошкент, 1963—1968.
4. *Али-Шер Неваи.* Мюншеат. Бакы, 1926 (на арабском шрифте).
5. *Бабур-наме.* Записки Бабура. Ташкент, 1958.
6. *Бартольд В. В.* Соч. М., 1964, т. II, ч. 2.
7. *Бертельс Е. Э.* Навои. М.; Л., 1948.
8. *Боровков А. К.* Алишер Навои как основоположник узбекского литературного языка. — В кн.: Алишер Навои. М.; Л., 1946.
9. *Волин С. А.* Описание рукописей Навои в ленинградских собраниях. Там же.
10. *Гафуров Б. Г.* Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972.
11. *Давыдова Г. А.* Палеографическое описание рукописей Муншаат («Сборник писем») Алишера Навои. — Краткие сообщения ИВАН СССР. М., 1961, вып. 84.

12. *Мец А.* Мусульманский Ренессанс. М., 1973.
13. *Наджип Э. Н.* Кыпчакско-огузский литературный язык мамлюкского Египта XIV в. Автореф. дис. . . докт. филол. наук. М., 1965.
14. *Наджип Э. Н.* Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV в. М., 1979.
15. Ойбек. Навоий. Тошкент, 1956.
16. *Рустамов Э. Р.* Узбекская поэзия в первой половине XV века. М., 1963.
17. Сборная рукопись сочинений Алишера Навои из собрания Ханыкова, шифр X55 (ГПБ им. Салтыкова-Щедрина).
18. *Сулейман X.* Опыт изучения составления критического текста рукописных диванов Алишера Навои. — В кн.: XXV Международный конгресс востоковедов: Доклады делегации СССР. М., 1960.
19. *Султон И.* Навоийнинг қалб дафтари. Буюк шоирнинг ҳаёти билан ижоди ўзининг ва замондошларнинг тасвирида. Тошкент, 1969.
20. *Шарафуддинов А.* Алишер Навои. Ташкент, 1948.
21. *Якубовский А. Ю.* Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера Навои. — В кн.: Алишер Навои. М.; Л., 1946.

И. Г. Добродомов

ЭМИЛДЕШ — ИМИЛЬДЕШЪ

В истории русской тюркологии, летописцем которой является А. Н. Кононов, [1] мы имеем немало случаев, когда тюркологические проблемы разрешались путем обращения к материалам русского и других языков народов нашей страны, и наоборот. Не случайно тюркологи обращались к данным русской письменности, а русисты часто занимались смежными проблемами тюркологии. Подобная необходимость совместного изучения тюркского и русского материала из письменных источников будет показана в этой заметке.

В арабском трактате XIV—XV вв. التحفة الزكية فى اللغة التركية («Ат-тухфа аз-закййа фй-л-лугат-ит-туркййа»), посвященном тюркскому языку, есть раздел о показателе *-ш*, имеющем значение «сообщности», хотя фактически здесь в большинстве случаев речь идет об аффиксе *-даш* (*-дäш*): *ķардаш* 'брат, друг', *ķарындаш* 'родные (братья и сестры)', *ҳошдаш* 'друг, соученик', *вайнаш* 'партнер; играющий вместе', *йолдаш* 'спутник', *ӱйдäш* 'соседи (живущие в одном доме)', *йäрдäш* 'земляк', *äмилдäш* 'молочный брат', *кöкдäш* 'родственник', *бойдаш* 'одинаковый по росту; ровесник'. Однако в русском переводе этого трактата вместо *äмилдäш* вслед за колеблющимся узбекским переводом читается *äмикдäш*, хотя в турецком издании памятника напечатано точно emildeš с приведением синонимичному ему слова emikdeš из словаря Махмуда Кашгарского.[2]

Причины, заставившие тюркологов отрицательно относиться к данным словаря «Ат-тухфа», станут ясны, если мы процитируем из «Тюркского этимологического словаря» Дж. Клоссона словарную статью: «emigdeš 'молочный брат (или сестра)' существительное со значением лица соучастия или сопровождения от emig 'грудь; сосок'. Сохраняется только [?] в северо-восточной части тюркских языков (тувинск. по: В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. I. СПб., 1888, стб. 954, но отсутствует в «Тувинско-русском словаре» под ред. А. А. Пальмбаха, М., 1955); в некоторых языках (кирг., казах.) заменено на emčekteš, в других — перифразами; в чагатайском одно время заменялось монгольско-тюркским сложением kökelteš. В языке хаканских тюр-

ков XI в. (в разделе об аффиксе **-daš (-deš)**) al-ṯady 'грудь, сосок' называется emig, а те, кто сосут одну грудь, называются **emigdeš**, то есть muṣāhibu'l-ṯady 'друзья по груди'; [3] второстепенные фиксации: в хорезмско-тюрк. языке XIV в. emügdeš [4] 'молочный брат', у кыпчаков XV в. (в разделе о суффиксе **-daš (-deš)**) **emigdeš** (ошибочно написано *emildeš*) rafīqu'l-riḍā' 'товарищ по сосанию';[5] осман. XV—XVI вв. **emigdeš** с некоторым варьированием написания, в разных текстах».[6]

Однако признать справедливым эти соображения об исключительно ошибочном характере формы emildeš в кыпчакском языке XV в. по сочинению «Ат-тухфа» мешают данные русских памятников письменности XVI в., где в «Памятниках дипломатических сношений Московского государства с Крымом, Нагаями и Турциею» (т. 2, 1508—1532 гг.) неоднократно встречается слово *имил(ь)дешъ*:

«И нынѣ есмя твоего здоровья отвѣдати съ тяжелымъ поклономъ, а съ лехкимъ поминкомъ *имилдеша* своего Карача послал есми» (Посольство от царя Менгли-Гирея к великому князю Василию Ивановичу 24 октября 1508—14 января 1509 г.).[7]

«. . . а вчерась, господине, пришодъ ко мнѣ, твои люди силою Мамакъ-дуванъ да Янъ-Суфу *имилдешъ*, со многими людми, да у казны печать мою сорвали» (Приезд к великому князю Василию Ивановичу посланцев с грамотами от царя Магмет-Гирея 10—22 апреля 1516 г.).[8]

«Ино по знатью съ твоихъ рѣчей прислал ко мнѣ Багатырь своего *имелдеша* Мансыра» (Возвращение в Крым товарищей Дмитрия Ивановича Александрова и приезд царского гонца Девлет-Кильдея Имерекина с грамотами 22 октября 1517 г.).[9]

«*Имелдешъ* мой Тагиръ» (Бумаги посольства к великому князю Василью Ивановичу от царя Магмет-Гирея 10—18 ноября 1517 г.).[10]

Встречается это слово и в «Памятниках дипломатических сношений Московского государства с Польско-литовским» (т. III, 1560—1571 гг.): «крымской прислалъ ко государю нашему съ грамотами государя нашего татаръ, которые были задержаны у царя за посла его за Янъ-Болдуя *имилдеша*, а писано государю нашему о дружбе» (Отправление посольства от царя Ивана Васильевича к королю Сигизмунду-Августу. . . 18 августа 1560 г.).[11]

«Для литовскіе войны Асанакъ мирза Кошумовъ сынъ прислалъ. . . Бакшаиша *имелдеша*» (Посольство от царя Ивана Васильевича к королю Сигизмунду-Августу с дворянином Владимиром Матвеевичем Желнинским, сентябрь 1565—22 февраля 1566 г.).[12]

В XVII в. встречается слово в документах «Смутного времени Московского государства 1604—1613 гг.» (вып. 3):

«А онъ де, Иштерекъ князь, посылаетъ къ племянникомъ своимъ дву *имилдешевъ* своихъ, Аскова родства Баихожу да Коурадскова родства Акбулата Богатыря, съ тѣмъ чтобъ деи они

государева повелѣнья не ослушелись. . .» (Черновой статейный список посольства Прокофья Вражского к нагайскому князю Иштереку 4 июня—14 августа 1611 г.).[13]

Употреблялся этот термин и в более позднее время (середина XVII в.):

«И ныне мы послали *имельдеша* своего Исмаила, а с ним нашего товару четыре телеги».[14]

В конце XVII в. встречается уже искаженная форма, свидетельствующая о выпадении слова из обихода. Ср. в письме Петра I к патриарху Адриану от 4 июля 1696 г.: «. . . а Нурадинъ и паша едва сами ушли, и Нурадинъ раненъ въ руку, и конечно Нурадинъ взятъ былъ, естли бъ не замѣнилъ его собою Бекъ мурза, его, Нурадиновъ, *омелдешъ*, который съ иными Татары взятъ въ полонъ» (в издании опечатка: *омелдетъ*, исправленная в списке опечаток и в указателе). В письме к А. А. Виниусу от 11 июля 1696 г. это же событие от 9 июня 1696 г. описано несколько в иных выражениях: «. . . и конешно [Народынъ-салтанъ] был бы взятъ, только дятка его, пересадя на свою лошадь, упустилъ, а самъ, против гонителей его ставъ и бився, въ руки нашимъ за спасение его отдался, того для, дабы тѣмъ временемъ, какъ онъ бился и какъ его брали, онъ ушолъ».[15] Но считать, что слова *омелдешъ* и *дядька* могут быть отождествлены как синонимы, было бы ошибкой: первое слово указывает на происхождение и сословную принадлежность, а второе на выполняемую функцию адъютанта, хотя и относятся к одному лицу.

В «Словаре русского языка XI—XVII вв.» (М., 1979, вып. 6, с. 230) из приведенных выше ранних цитат использована лишь вторая 1516 г. (более поздняя), а слово *имельдешъ* истолковано как «Название человека, вскормленного вместе с царевичем одной кормилицей (у татар)». Эта дефиниция восходит к маргинальной глоссе к слову *имильдеши* в некоторых списках «Истории о великом князе Московском» А. М. Курбского (XVI в., по спискам XVII в.): «мамичи, яже бываютъ питаеми единѣмъ сосцомъ съ царскимъ отрочатемъ». Эта глосса, названная в словарной статье почему-то вариантом, в некоторых случаях внесена в тексты, относится к следующему пассажу в сочинении А. М. Курбского: «И отдаша намъ царя своего со единымъ корачомъ, што небольшимъ ихъ, и со двема *имилдеши*».[16] Синонимичный тюркскому *имильдешъ* собственно русский термин *мамичь*, *мамчичь* в том же «Словаре русского языка XI—XVII вв.» (М., 1982, вып. 9, с. 24, 25) толкуется более четко («Сын мамки, молочный брат»), хотя стоило бы указать на то, что сын мамки является мамичем лишь по отношению к приемному сыну, к воспитаннику, а также на синонимическую связь со словом *имильдешъ*.

Фиксации тюркского слова emildeš в русских памятниках XVI—XVII в. в форме *имильдешъ* представляются весьма существенными для тюркологии не только в качестве подтверждения реальности этого слова в памятнике «Ат-тухфа», но и как очень

точное указание на то, что уже в началу XVI в. в казанско-татарском языке произошел переход *э*(*e*) начального слога в *u*(*i*).

Крымско-татарское слово попадало в русские памятники письменности через казанско-татарское или мишарское посредство (служилые татары).

Впрочем, уже Л. З. Будагов в своем «Сравнительном словаре турецко-татарских наречий» (СПб., 1869, т. I, с. 211) обратил внимание на наличие слова emildeš в чагатайском языке, а также на интересную параллель из сочинений А. М. Курбского: «*дж.* ايميلداش (от ايممك) молочный брат, сверстник (лиц владетельного дома, — в тексте летоп. Курбского: *имильдеши*, сирѣчь мамичи, яже бываютъ питаемы единым сосцомъ со царскимъ отрочатемъ — Курб. 34. Исслед. о Касим. ц. стр. 439); у Баб. встречается ايمالداش вместе с كونكلتاش (стр. 72)».[17] Для последнего слова отмечено (там же, СПб., 1871, т. II, с. 166) наличие вариантов: «كونكلتاش, كوكلداش 'сердечный, искренний друг, молочный брат' (*п.* همشيره)», что свидетельствует о чисто графическом сближении монголизма kökeldeš 'молочный брат' и собственно тюркского köŋildeš 'доверенное лицо'.

В «Опыте словаря тюркских наречий» В. В. Радлова (СПб., 1893, т. I, стб. 957—958) есть указание на то, что слово *äмiлдäш* 'молочный брат' известно и таранчинскому наречию (новоуйгурского языка). При этом почему-то даны две цитаты с точной паспортизацией из изданных В. В. Радловым «Образцов народной литературы северных тюркских племен» (ч. VI. Наречие таранчей. СПб., 1886): *Caiнÿl Mäliкнiң äмiлдäшī бiр мунча ekin бiр кyрykka чiктi* 'молочный брат Сейфуль Мюлька несколько поплавал по воде и вышел на сушу' (с. 101); *Бäдälвāнiнiң äмiлдäшīнī ciңнiм дäдī* 'он назвал молочную сестру Бедельвани сестрой' (с. 103_{22}). В других случаях отсылки к текстам часто отсутствуют.

Из современных тюркских языков слово emildeš 'молочный брат' знает лишь балкарский вариант карачаево-балкарского языка (в карачаевском ему соответствует описательное выражение emček qarnaš).[18]

Сейчас трудно решить, образовалось ли рассматриваемое наименование на базе исчезнувшего наименования груди; соска *emil или же, что более вероятно, возникло на базе контаминации вполне ясного в словообразовательном плане слова em(č)igdeš под влиянием монголизма kökelteš с тем же значением.[19]

Здесь можно было бы упомянуть также еще одно древнерусское название молочного брата *кормиличичь*, *кормичичь* (первоначально 'сын кормилицы'), которое осталось без толкования в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (т. I. Спб., 1893, стб. 1405), а в «Словаре русского языка XI—XVII вв.» (вып. 7. М., 1980, с. 319, 322) трактуется как 'воспитатель, дядька'. Ср. также параллель в примерах из «Писем и бумаг императора Петра Великого» (т. I, с. 81, 73) на с. 117 данной статьи.

Существенным в данных заметках представляется еще одно свидетельство о важности материалов старинной русской письменности для решения спорных вопросов при изучении памятников тюркской письменности.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Кононов А. Н.* История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период. Л., 1972; 2-е изд., с испр. и доп. Л., 1982.

[2] Изысканный дар тюркскому языку. Ташкент, 1978, с. 250. За два года до этого один из издателей решительно именовал этот памятник «Искренний подарок по тюркскому языку»; см.: *Фазылов Э. И.* Замечания о рукописи и языке «Ат-тухфа». — Turcologica: К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976, с. 335. Аттуҳфатуз закияту филлуғатит туркия. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. Тошкент, 1968, с. 155, 176; Ettühfet-üz-Zekiyye fil-lûğat-it-Türkiyye. Çeviren Besim Atalay. Istanbul, s. 125, 167.

[3] Divanü lugat-it-türk tercümesi. Çeviren Besim Atalay. C. I. Ankara, 1939, s. 407.

[4] *Zajączkowski A.* Najstarsza wersja turecka «Ḫusräv u Šīrīn» Quṭba, cz. III. Warszawa, 1961, s. 20.

[5] Ettühfet-üz-Zekiyye fil-lûğat-it-Türkiyye. İstanbul, 1945, 86_9.

[6] *Clauson G.* An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972, p. 160.

[7] Сборник Русск. ист. об-ва, СПб., 1895, т. 95, с. 31.

[8] Там же, с. 286.

[9] Там же, с. 362.

[10] Там же, с. 395.

[11] Сборник Русск. ист. об-ва, СПб., 1892, т. 71, с. 8.

[12] Там же, с. 324.

[13] Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1915, кн. 4 (255), с. 17.

[14] Посольство князя Мышецкого и дьяка Ключарева в Кахетию. 1640—1643 / Документы издал и введением снабдил М. Полиевктов. Тифлис, 1928, с. 76. В глоссарии «Древнерусские и малоупотребительные слова в документах» (с. 185) слово объяснено неточно: *имельдеш* «тот, кому дают какие-либо хозяйственные поручения, приказчик». Это толкование контекста, а не слова.

[15] Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1887, т. I, с. 81, 73.

[16] Русская историческая библиотека, т. 31: (Сочинения князя Курбского, т. 1). СПб., 1914, стб. 200 (*корачомъ* в некоторых списках имеет глоссу на полях *советникомъ*).

[17] Здесь имеются в виду следующие издания: Сказания князя Курбского, 2-е изд. / Испр. и дополн. Н. Устрялова. СПб., 1842, с. 34; *Вельяминов-Зернов В. В.* Исследование о касимовских царях и царевичах. СПб., 1864, ч. II, с. 438—440 (толкование термина и интересный материал из русских памятников); «Бабер-намэ» или Записки султана Бабера. Изданы в подлинном тексте Н. И. [Ильминским]. Казань, 1857, с. 72.

[18] *Хаджилаев Х.-М. И.* О различиях в лексике карачаевского и балкарского вариантов современного литературного карачаево-балкарского языка.— СТ, 1979, № 2, с. 73.

[19] Этот вопрос можно будет решить лишь после изучения истории всех слов для обозначения молочных братьев в тюркских языках. Эти названия уже привлекали внимание исследователей: *Цинциус В. И.* К этимологии алтайских терминов родства. — В кн.: Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972, с. 24; *Бартольд В. В.* Мир Али-Шир и политическая жизнь. — *Бартольд В. В.* Соч. М., 1964, т. II, ч. 2, с. 212; *Doerfer G.* Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1963, Bd. 1, S. 481—482.

Н. А. Дулина

ИЗ ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

(40-е годы XIX в.)

После провозглашения Гюльханейского хатта (1839 г.) передовые государственные деятели Османской империи приступили к проведению его идей в жизнь.

В период Танзимата (1839—1878) наиболее широкие изменения произошли в административной системе, так как именно на административные институты всех уровней возлагалась задача осуществлять предусмотренные Гюльханейским хаттом реформы буржуазного характера.

Преобразования в администрации не ограничивались созданием новых учреждений. Деятели Танзимата стремились привлечь к реформам всеобщее внимание и убедить население в их необходимости. Сторонников преобразований буржуазного характера в стране, где капиталистические отношения только складывались, было мало. Чиновничество в массе своей было заинтересовано в сохранении старой системы управления, дававшей простор для злоупотреблений и незаконного обогащения. Поэтому Порта принимала различные меры для «воспитания» чиновников в духе новых идей.[1] Сам султан Абдулмеджид в начале каждого года стал лично посещать заседания Высшего совета юстиции,[2] где произносил речи о реформах и присутствующие отвечали ему благодарственными адресами. Подобный способ участия султана в деятельности Совета подчеркивал новую форму взаимоотношений падишаха и членов меджлиса, их как бы взаимное сотрудничество.

Помимо чиновничества в дело осуществления преобразований стали вовлекаться и представители неслужилых состоятельных слоев населения, которые в источниках [3] именовались muteber, dirayetli ahvale vakıf esdikayi vücuh, rüesayi reaya, kocabaşı, т. е. уважаемыми, компетентными, преданными лицами, имеющими общественный вес, а также главами райи [4] и сельскими старостами. По-видимому, представители названных категорий населения не занимали официальных должностей (за исключением

сельских старост, которые, однако, не являлись государственными служащими).

В годы Танзимата впервые в истории Османской империи правительство стало формировать представительные органы из достаточно широких слоев населения. Одним из таких органов были местные меджлисы, часть членов которых избиралась населением.[5] Другим — собрание общественных делегатов, назначаемых из каждой провинции или вилайета для участия в заседаниях Высшего совета юстиции.

До 1856 г. представители из вилайетов созывались в столицу, вероятно, дважды: в 1840 и 1845 гг. Султанский хатт 1856 г. декларировал постоянное представительство делегатов из мусульманских и немусульманских миллетов на заседаниях Высшего совета юстиции для участия в тех дебатах, которые затрагивали интересы всех подданных. Делегаты миллетов после 1856 г. назначались на один год и считались в этот период членами Высшего совета юстиции.[6]

Сведения источников и данные литературы о созыве делегатов в столицу империи в 1840 и 1845 гг., особенно о первом, немногочисленны и чрезвычайно кратки (часто и противоречивы).

В этой статье сделана попытка собрать их воедино и уточнить, опираясь на малоизвестный источник — речь председателя Высшего совета юстиции, обращенную к делегатам и произнесенную на заседании Совета в мае 1845 г.[7]

Единственным, как нам известно, источником, в котором идет речь об ассамблее 1840 г., является сочинение по истории Турции весьма компетентного современника событий, прусского дипломата Д. Г. Розена. Его книга основана кроме собственных впечатлений и контактов с государственными деятелями Османской империи на обширном круге источников.[8] Сведения Д. Г. Розена о созыве делегатов в 1840 г. повторил русский историк С. С. Татищев.[9] Известные исследователи наших дней —турецкий Х. Инальджик и американский Р. Х. Дэвисон — упоминают лишь о фермане султана Абдулмеджида, распорядившегося в начале мая 1840 г. созвать представителей провинций в Стамбул, чтобы узнать их мнение о реформах.[10] К сожалению, Х. Инальджик ссылается при этом на книгу Б. Льюиса,[11] в которой, по нашим сведениям, об упомянутом фермане султана речь не идет. Из-за этой библиографической ошибки для нас остается неизвестным, где хранится ферман. И Х. Инальджик, и Р. Х. Дэвисон вместе с тем считают, что первый и единственный созыв делегатов в 40-е годы XIX в. имел место лишь в 1845 г.

Сведения Д. Г. Розена о собрании делегатов провинций в 1840 г. следующие. Оно было организовано по инициативе министра иностранных дел Мустафы Решида паши и состояло из двух палат, делегаты которых были назначены правительством. Вероятно, под первой палатой Розен имел в виду состав Высшего совета юстиции,[12] а под второй — общественных представителей из каждого вилайета Румелии и Анатолии, которые

участвовали в заседаниях упомянутого Совета так же, как высшие и низшие чиновники. Розен заметил, что эта попытка закончилась полной неудачей, так как «министры не были расположены выслушивать мнения приглашенных делегатов о положении в провинциях», зная и без того, что везде царствует нужда.[13]

Гораздо больше упоминаний в источниках и литературе содержится о втором созыве представителей провинций в Стамбул в 1845 г.[14] Еще до их приезда Совет сельского хозяйства (meclisi ziraat) подготовил подробную анкету с вопросами о причинах упадка сельского хозяйства в различных частях империи и о самых необходимых средствах их устранения. Эту анкету и решено было распространить среди делегатов из провинций.[15] В конце февраля 1845 г. в фермане султана было дано распоряжение призвать в столицу по два представителя от каждого эйялета для участия в заседаниях Высшего совета юстиции. Приглашенные делегаты должны были не только информировать правительство о нуждах населения и экономики в своих районах. При возвращении в родные места на них возлагалась задача рассказать широким слоям населения об инициативах правительства в деле преобразований.[16] От каждого вилайета назначались по два делегата: один от мусульман, другой от немусульман (очевидно, при условии, что население в провинции было смешанным).

Так как вилайеты были удалены от столицы на различное расстояние, то прибытие делегатов не было одновременным. В Стамбуле они находились в качестве гостей сановников и жили в их особняках (конаках), расходы на дорогу оплачивала казна. Отъезд делегатов в родные места состоялся в конце мая 1845 г. Таким образом, те из них, кто ранее других прибыл к месту назначения, пробыли в столице около двух-трех месяцев.[17] На первом же заседании Высшего совета юстиции, куда они были приглашены, делегатам была вручена инструкция. В ней указывалась цель их приглашения и содержались вопросы, на которые они должны были дать ответы, причем подчеркивались те из них, которые требовали к себе особого внимания. Помимо письменных ответов на вопросы, делегаты, по-видимому, давали необходимые разъяснения и во время заседаний Высшего совета юстиции.[18] Их письменные ответы (которые в литературе называются рапортами либо докладными записками, ляиха) были тщательно изучены Высшим советом юстиции и использовались в дальнейшем при подготовке реформ.

Выступая с заключительной речью перед членами Высшего совета юстиции об итогах их совместной работы с делегатами провинций, председатель Совета Сулейман паша обобщил предложения, высказанные приглашенными.[19] Они были следующими: 1) для поднятия уровня благосостояния провинций делегаты просили оказать денежную помощь (земледельцам и промышленникам); 2) строить и ремонтировать пути сообщения между отдельными населенными пунктами; 3) смягчить и уравнять налоги.

Все эти предложения были признаны полезными и подлежащими удовлетворению. На заседаниях было принято решение о сборе налогов только во время жатвы, а не до снятия урожая.

Подвергся предварительному обсуждению вопрос о том, какие сухопутные дороги и русла рек нуждаются в ремонте и очистке в первую очередь. Для конкретизации и уточнения принятых решений султан приказал создать меджлисы по благоустройству (meclisi imariye), на которые возлагалась задача тщательно обследовать провинции еще раз и представить рекомендации о мерах, необходимых для развития экономики. Такая же задача — продолжать изучение тех мер, которые необходимы для «благоустройства провинций и благосостояния подданных» сохранялась и за делегатами из провинций, возвращавшимися к месту жительства. Они должны были выполнять ее в контакте с членами меджлисов по благоустройству и помогать им в их деятельности.

Председатель Высшего совета юстиции Сулейман паша предложил продолжать обследование платежеспособности населения и таким образом бороться с завышением налогов, а в следующем году — 1846 — обещал произвести урегулирование и снижение налогов. Он подчеркнул, что помимо конкретизации предложений делегатов султан поручил чиновникам меджлисов по благоустройству дополнительную обязанность: исследовать причины заболеваемости населения для охраны его здоровья. Кроме того, по распоряжению султана был создан Временный совет просвещения, который должен был принять необходимые меры для ликвидации невежества подданных.

По мнению Сулеймана паши, для осуществления намеченных планов требовались четыре условия: 1) разрешение и одобрение султана, которое, очевидно, имеет место; 2) непрерывные усилия векилей Османской империи, которые также все время проявляются; 3) повсеместные старания чиновников, которым посланы приказы, инструкции и наставления для руководства при исполнении обязанностей; 4) верная служба и старания, в согласии с государственными чиновниками, достойных лиц, подобных присутствующим. За усердие председатель Высшего совета юстиции обещал награду, за ослушание — наказание. В заключение он выразил надежду на то, что, вернувшись домой, присутствующие делегаты расскажут «достойным лицам» и всему населению о справедливых мерах султана.

В выступлении Сулеймана паши неприятие реформ Танзимата и сопротивление их осуществлению значительной части чиновников и населения обойдено молчанием.

В другом источнике — в Публикации Порты [20] о результатах совместных с провинциальными делегатами заседаний Высшего совета юстиции — повторялось в основном содержание речи Сулеймана паши. Вместе с тем в Публикации были и некоторые дополнительные сведения. Например, отмечалось, что делегаты участвовали в заседаниях Высшего совета юстиции (в 1845 г.)

неоднократно. В связи с просьбой представителей провинций снизить налоги султанское правительство разъяснило, что некоторые районы перегружены налогами потому, что в других местностях они несправедливо занижены, и что поэтому необходимо отрегулировать налогообложение. Правительство обещало предоставить нуждающимся провинциям денежные суммы для помощи сельскому хозяйству и промышленности. Относительно ремонта и строительства дорог, а также поддержания в судоходном состоянии рек и каналов отмечалось, что эти меры связаны с развитием торговли и сельского хозяйства и должны координироваться таким образом, чтобы приносить пользу прежде всего тем районам, где производится товарная продукция. В этом документе также подчеркивалось, что делегаты провинций по возвращении домой должны установить контакты с членами комиссий по благоустройству и договариваться о мерах, которые предстоит исполнять.

В заключении содержалось оповещение о том, что после завершения деловых заседаний депутаты провинций и члены комиссий по благоустройству будут приглашены в Высокую Порту и представлены султану.

Меджлисов по благоустройству [21] было создано десять — пять для Румелии и пять для Анатолии. Каждый из них состоял из трех человек, один из которых был председателем, другой секретарем, третий — членом меджлиса. Они назначались из военных, чиновников и улемов в равной мере. Длительность существования этих меджлисов не оговаривалась. Они должны были исполнять возложенную на них задачу до ее полного завершения. Члены меджлисов не должны были задерживаться на одном месте, но непрерывно переезжать из одного населенного пункта в другой, чтобы лично исследовать положение населения и экономики во всех уголках провинции. На каждой остановке они отсылали в Порту отчеты об увиденном с предложениями о необходимых в данной местности преобразованиях. Их деятельность продолжалась около семи-восьми месяцев.

Членами меджлисов по благоустройству были такие лица, как историограф Лютфи, мирмиран Тосун паша, дефтердар Видина Сабыкы Сулейман эфенди, кади Антепа Хюсейн Хюсню эфенди и др.[22]

Оценки мер, выполненных султанским правительством на основании предложений делегатов провинций и меджлисов по благоустройству, в литературе различны.[23] Большая часть авторов считает, что из-за отсутствия средств в казне большинство проектов осталось без последствий. Однако С. Дж. Шоу, ознакомившийся с турецкими архивами, считает, что такая оценка свидетельствует о плохой информации европейских авторов. Шоу отмечает, что большинство рапортов, присылавшихся меджлисами по благоустройству, явились базой для многих законов, принятых в следующем десятилетии в области налогообложения, образования, общественных работ и земельной реформы. Под-

линные рапорты, отмечает этот автор, находятся в делах Центрального государственного архива (Başvekâlet arşivi), относящихся к Высшему совету юстиции (Meclisi Vâlâ), среди законов и декретов, основанных на содержавшихся в них предложениях.[24]

Многие идеи и обещания, провозглашенные Гюльханейским хаттом, как известно, не были осуществлены либо осуществлялись частично. Неисполнение обещаний султанского хатта 1839 г. было причиной многочисленных восстаний населения во всех частях империи. Однако период Танзимата сыграл большую роль в формировании ряда буржуазных институтов и буржуазной идеологии и способствовал складыванию капиталистических отношений в Османской империи.

Созыв делегатов провинций, их участие в заседаниях высшего законодательного органа Османской империи и в деятельности меджлисов по благоустройству свидетельствует о том, что в 40-е годы XIX в. деятели Танзимата делали попытки создать представительные органы управления как на низшем уровне (местные меджлисы), так и на более высоком. Участие общественных представителей в деятельности названных учреждений было явлением непостоянным. Делегаты провинций в данном случае не избирались, а назначались, их статус не был узаконен. Однако созыв делегатов способствовал внедрению идеи представительных органов в османском обществе, которая нашла дальнейшее развитие в хатте 1856 г. и в создании первого турецкого парламента в 1876 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Источники, свидетельствующие об усилиях Порты сформировать сословие чиновников, которые разделяли бы идеи Танзимата и успешно выполняли возложенные на них задачи, см.: *Kaynar R.* Mustafa Reşit paşa ve Tanzimat. Ankara, 1954, s. 198—283.

[2] Высший совет юстиции (Meclisi Valâyi Ahkâmi Adliye) был верховным органом, который разрабатывал законы и проекты реформ Танзимата. В 1854 г. эта задача была возложена в основном на вновь созданный Совет Танзимата. В 1861 г. оба Совета были объединены. О визитах султана на заседания этого Совета см.: *Shaw St. J.* The central legislative councils in the nineteenth century ottoman reform movement before 1876. — International Journal of Middle East studies, London, 1970, vol. 1, no 1, p. 62.

[3] См. газету: Takvimi Vekâyi, 23 rebiulahir 1261 (1 мая 1845), цит. по: Türk zıraat tarihine bir bakış. Istanbul, 1938, s. 85; Müntehabatı asar. Б. м., б. г., ч. III, s. 3; *Kaynar R.* Mustafa Reşit paşa ve Tanzimat, s. 633.

[4] Райя — в XIX в. податное немусульманское население Османской империи.

[5] О местных меджлисах, их составе, способах формирования, правовом статусе и деятельности существует значительная литература и изданные источники. См., например: Военно-статистический сборник на 1868 год. СПб., 1868, вып. II, с. 247—248; *Новичев А. Д.* История Турции. Л., 1973, т. 3, с. 139; *Davison R. H.* The Advent of the Principle of Representation in the Government of the Ottoman Empire. — In: Beginning of Modernization in the Middle East. Chicago, 1968, p. 93—108; *Engelhardt Ed.* La Turquie et le Tanzimat ou histoire des réformes dans l'Empire Ottoman depuis 1826 jusqu'a nos jours. Paris, 1882—1884, p. 107—108; *Maoz M.* Syrian urban politics in the Tanzimat period between 1840 and 1861. — Bulletin of the School of Oriental and African Studies

University of London. 1966, vol. XXIX, part 2, p. 277—301; *Rosenthal S.* The politics of dependency: Urban reform in Istanbul. London, 1980, p. 87—107, 196—199; *Shaw St. J.*, *Shaw E. K.* History of the Ottoman Empire and modern Turkey. 1977, vol. II, p. 85—95; *Inalcik H.* Tanzimatın uygulanması ve sosyal tepkileri. — Belleten, Ankara, 1964, cilt 28, № 112, s. 625—627, 633, 636, 660—671; *Karal E. Z.* Osmanlı tarihi. Ankara, 1961, cilt 5, s. 192; cilt 6, s. 203—204; *Kaynar R.* Mustafa Reşit pasa ve Tanzimat, s. 226—258, 264—295.

[6] Текст хатта 1856 г. см.: *Karal E. Z.* Osmanlı tarihi, cilt 5, s. 258—264; о представительном принципе в тексте хатта см. там же, с. 251; см. также: *Davison R. H.* The Advent of the Principle of Representation. . ., p. 101.

[7] Текст речи см.: Muntehabatı asar, III, s. 2—5.

[8] См.: *Розен Д. Г.* История Турции от победы реформы в 1826 году до Парижского трактата в 1856 году / Пер. с нем. СПб., 1872. О созыве представителей провинций в 1840 г. см. ч. II, с. 26—27.

[9] См.: *Татищев С. С.* Внешняя политика императора Николая I. СПб., 1887, с. 579.

[10] См.: *Inalcik H.* Tanzimatın uygulanması. . ., s. 627; *Davison R. H.* The Advent of the Principle of Representation. . ., p. 100.

[11] *Lewis B.* The Emergence of Modern Turkey. London, 1961, p. 110—111.

[12] Высший совет юстиции состоял из 14 постоянных членов. Кроме того, в него входили садразам, шейхульислам, сераскер, министр торговли, мюшир монетного двора, мюшир султанского двора и другие лица, занимавшие различные должности в Порте.

[13] См.: *Розен Д. Г.* История Турции от победы реформы в 1826 году до Парижского трактата в 1856 году.

[14] Заметим здесь, что во время второго созыва делегатов провинций (февраль—май 1845 г.) Мустафа Решид паша был послом в Париже, откуда вернулся лишь в декабре 1845 г. Поэтому он не имел непосредственного отношения к этому мероприятию.

[15] См.: *Karal E. Z.* Osmanlı tarihi, cilt 6, p. 229.

[16] См.: *Davison R. H.* The Advent of the Principle of Representation, p. 100; *Ubicini M. A.* Lettres sur la Turquie. Paris, 1853, т. 1, p. 369—370, 568; *Lewis B.* The Emergence of Modern Turkey, p. 110—111.

[17] *Новичев А. Д.* История Турции, т. 3, с. 137; *Розен Д. Г.* История Турции. . ., ч. II, с. 95; *Davison R. H.* The Advent of the Principle of Representation. . ., p. 100; *Engelhardt Ed.* La Turquie et le Tanzimat. . ., p. 75—76; *Lewis B.* The Emergence of Modern Turkey, p. 110—111; *Shaw St. J.* The central legislative councils. . ., p. 62—63; *Ubicini M. A.* Lettres sur la Turquie, p. 369—370, 566—568; *Inalcik H.* Tanzimatın uygulanması. . ., s. 627; *Karal E. Z.* Osmanlı tarihı, cilt 6, s. 229—261; *Kaynar R.* Mustafa Reşit paşa. . ., s. 633; Türk zıraat tarihine bir bakış, s. 84—85.

[18] См. перевод на французский язык документа, который назван «Публикация Блистательной Порты о комиссиях по благоустройству» (в кн.: *Ubicini* M. A. Lettres sur la Turquie, p. 566—568). К сожалению, Убичини не указал, где находится оригинал документа. Документ отражал итоги деятельности провинциальных делегатов в Высшем совете юстиции и, по-видимому, был подготовлен для печати. Его содержание схоже во многих деталях с речью председателя Высшего совета юстиции, изданной в книге «Müntehabatı asar» (III, с. 2—5), которая уже упоминалась выше (она была произнесена 17 мая 1845 г. / 10 джемазиульэвveля 1261 г. х.). Может быть, документ, переведенный Убичини, идентичен сообщению об итогах деятельности провинциальных делегатов в Высшем совете юстиции, напечатанному в газете «Takvimi Vekâyi» 17 джемазиульэвveля 1261 г. х. (24 мая 1845) и упоминаемому в книге «Türk zıraat tarihine bir bakış», с. 86. Из-за отсутствия этого номера газеты в наших хранилищах проверить идентичность не представляется возможным.

[19] Текст речи председателя Высшего совета юстиции, произнесенной 17 мая 1845 г. (10 джемазиульэвveля 1261 г. х.), был подготовлен членом Совета юстиции Садыком Рифатом пашой, незадолго до того занимавшим пост министра иностранных дел. Поэтому речь была издана в собрании сочинений Садыка Рифата паши — Müntehabatı asar (Б. м., б. г., ч. III, с. 2—5).

[20] См. выше, примеч. 18.

[21] В литературе иногда идентифицируются меджлисы по благоустройству и делегаты из провинций, заседавшие в Высшем совете юстиции (см., например: *Shaw St. J.* The central legislative councils.; p. 62). Это, как показывают источники, не соответствует действительности, хотя после участия в заседаниях Высшего совета юстиции делегаты провинций и должны были оказывать содействие меджлисам по благоустройству в их работе. Как выражалось содействие — не вполне ясно. Возможно, в указании объектов, которые требовали первостепенного внимания и решения о преобразовании. Турецкие авторы в книге «Türk ziraat tarihine bir bakış», с. 85, высказали мнение, что члены меджлисов по благоустройству разъезжали по провинциям вместе с делегатами провинций.

Разница между теми и другими выражалась и в том, что члены меджлисов по благоустройству являлись чиновниками и назначались центральным правительством, тогда как делегаты провинций скорее всего не состояли на государственной службе и назначались провинциальной властью (местными меджлисами) (см.: *Shaw St. J.* The central legislative councils. . ., p. 62).

[22] О меджлисах по благоустройству см. литературу, указанную в примеч. 15.

[23] Там же.

[24] *Shaw St. J.* The central legislative councils. . ., p. 62—63.

К. А. Жуков

ОСМАНСКИЕ ХРОНИКИ XV—XVII ВВ. О СОЗДАНИИ ВОЙСК «ЯЯ ВЕ МЮСЕЛЛЕМ»

Известно, что перемены в социально-политической и экономической жизни общества неизбежно влекут за собой изменения в сфере военной организации. По этой причине исследование эволюции военных институтов Османского государства представляет интерес не только для военной истории, но и для более точного определения этапов социально-экономического развития государства Османидов.

Источники донесли до нас весьма скудные сведения о том, что представляли собой корпуса (таифе) пехотинцев (яя, пияде) и всадников (мюселлем, мюселлим) вплоть до второй половины XV в. Этим во многом объясняется тот факт, что в справочных пособиях и общих работах по османской истории «яя ве мюселлем» трактуются (на основе данных османских документов второй половины XV—XVI вв.) как вспомогательные войска, использовавшиеся в обозной службе, для транспортировки пушек, ремонта дорог и мостов и т. п. Как вспомогательные рассматривает эти категории османского войска и Д. Калди-Надь, делая, правда, оговорку, что таковыми они стали лишь во второй половине XV в.[1]

Что же представляли собой «яя ве мюселлем» и какова была их роль в османской армии до завоевания Константинополя (1453 г.), когда турецкое оружие одерживало одну победу за другой?

Как явствует из средневековых османских хроник, таифе яя было создано при султане Орхане еще до захвата турками византийской Никеи (Изник), т. е. до 1331 г. Запись в новое войско осуществлялась кадием Биледжика Чандарлу Караджа Халилом из податного населения (реайа) Османского бейлика. Поскольку записанные в таифе яя становились служилыми людьми, или «людьми повелителя» (хюнкар'ун хаслары), то, как пишут хронисты, многие даже пытались дать взятку кадию, умоляя записать их в таифе яя. Как служилые люди, пехотинцы-яя стали носить белые колпаки (берки); [2] впоследствии белые колпаки стали носить султанские янычары, которые, так же как и яя, были служилыми людьми. Другие категории османского войска и прежде всего самая многочисленная — азебы продолжали носить берки красного цвета, поскольку являлись ополчением, набираемым

лишь во время войны среди реайи. Белый колпак, таким образом, был символом, свидетельствующим о принадлежности его владельца к служилым людям. «И приказал им носить белые шапки, и чтобы никто другой не смел их носить на голове, кроме дворян, как это и существует по сей день», — писал о создании войска jenikichaje [3] Константин из Островицы.[4] Здесь необходимо отметить, что обычай носить белые колпаки в Анатолии был впервые введен не султаном Орханом, а около 1260 г. Мехмедом ал-Уджи, основателем первого тюркского бейлика (с центром в г. Денизли), независимого от сельджуко-монгольских властей.[5] Можно ли говорить в таком случае о существовании определенной традиции, приведшей к созданию в Османском бейлике таифе яя? Видимо, да, поскольку ранние османские хроники не только сообщают о том, что это войско было создано по совету кадия Чандарлу Караджа Халила и одного из родственников шейха Эдебалы, но и дают основание полагать, что простой люд (реайа) не воспринял это как нечто совершенно новое. В пользу этого предположения говорит, на наш взгляд, и то, что прибывшие к кадию уже после окончания набора в таифе яя просили записать их в качестве запасных (ямаков). «Пусть один год они отправляются в поход, а на следующий год мы пойдем», — говорили опоздавшие кадию.[6]

Пехотинцы-яя, численность которых первоначально была определена в тысячу человек, продолжая обрабатывать землю, освобождались от уплаты всех налогов (как «свободные люди» [7]), а во время военных походов получали плату: 1 акче в день. Во главе тысячи стоял яя-бей, во главе сотни — мюселлем.[8] Ямаки, вероятно, обрабатывали землю ушедшего на войну. На следующий год вернувшийся из похода менялся ролями со своим ямаком.[9]

Численность таифе яя быстро росла, а дисциплина и боевые качества были низки. Это побудило султана Мурада I (1360—1389) создать таифе ени чери (корпус янычар).[10] Что касается пехотинцев-яя, то им просто перестали платить жалованье, но они по-прежнему участвовали в военных походах, а в мирное время обрабатывали землю и были освобождены от уплаты налогов.[11]

Поскольку до 60-х годов XIV в. в Османском государстве система тимарного землевладения еще не вполне сложилась,[12] то тимариоты (сипахи), т. е. тяжеловооруженная кавалерия, не могли играть главной роли в османской армии. Ограниченной была и роль янычар. Численность их была невелика (например, в битве на Косовом поле 15 июня 1389 г. участвовало 2 тысячи янычар), а по своим боевым качествам они еще ничем не отличались от других категорий османского войска.[13] Янычары стали представлять внушительную силу лишь при султане Мураде II (1421—1451).* Что касается азебов, то это было обычное опол-

* Например, в 1422 г. 500 янычар султана Мурада II наголову разгромили пятитысячный отряд всадников и азебов претендента на султанский престол Мустафы.[14]

чение, причем по численности сравнимое с таифе яя. Например, в походе против Узун Хасана (1473 г.) кроме других сил приняли участие 30 тысяч азебов (20 тысяч анатолийских и 10 тысяч румелийских) и 20 тысяч энюк яя.[15] Трудно, таким образом, выделить основную категорию войска, игравшую главную роль в успехах османского оружия. Ясно одно, что примерно до середины XV в. нет оснований считать таифе яя вспомогательным войском.

Что касается таифе всадников (мюселлем), то мы не встретим упоминания о нем в османских хрониках XV в., повествующих о событиях предшествующего столетия. Лишь Идрис Бидлиси (первая половина XVI в.), а вслед за ним (уже в XVII в.) Хюсейн пишут о том, что султаном Орханом было создано также таифе сювари. Всадникам (сювари) выделялись определенные земли, они были освобождены от налогов и были обязаны «конно и оружно» отправляться в военные походы. Таифе сювари, так же как и таифе яя, разбивалось на десятки, сотни и тысячи. Тысячник имел знамя (санджак) и значок (алем).[16] Правда, авторы второй половины XVI в. (Саадеддин и Али), использовавшие в своих сочинениях хронику Идриса Бидлиси, называют это таифе не сювари, а мюселлем, причем Али добавляет, что численность этого войска также первоначально была определена в тысячу человек.[17]

Однако, если мы вернемся к хроникам XV в., то в этих текстах впервые термин мюселлем встречается при описании событий, связанных с борьбой Дюзме Мустафы (претендента на престол) и султана Мурада II в 1421—1422 гг. В 1421 г. измирский бей Джунейд, ставший великим везиром Мустафы, провел реорганизацию румелийского войска, а именно «румелийских яя сделал мюселлемами».[18] Пять пехотинцев-яя сводились в особые единицы (оджаки). Из членов оджака лишь один (эшкинджи) должен был отправляться в поход, причем остающиеся (ямаки) выплачивали ему по 50 акче каждый (эта плата именовалась харчлык). Хронисты подчеркивают, что этот обычай, который сохранялся и в конце XV в.,* был введен при Дюзме Мустафе,[20] а анонимный автор конца XV в. прямо пишет, что «нынешние мюселлемы появились в те времена».[21] Об этом говорится и в «Законе относительно мюселлемов и пияде Гелиболу» 924/1518 г. В пятой статье закона сказано: «Не может быть различия между чифтликами яя и мюселлемов. Нынешние мюселлемы изначально были пияде, но уже давно все со своими чифтликами стали мюселлемами. И еще древний закон: чифтлики тех пияде, которые не только годны нести службу, но и в состоянии иметь лошадь и конскую сбрую, становятся мюселлемскими».[22]

Хюсейн, дополняя этих авторов, говорит, что сила претен-

---

* Ямаки выплачивали эшкинджи харчлык ежегодно вплоть до начала правления султана Баязида II (1481—1512) независимо от того, был ли в этом году военный поход, или нет. Указом нового султана эта выплата должна была производиться лишь в те годы, когда объявляли о начале военного похода.[19]

дента после этих мероприятий значительно возросла, а новое войско получило название Кызылджа мюселлим.[23]

Эта реформа обнаруживает сходство с реформами Карла Великого, стремившегося «приспособить старое военное устройство к изменившемуся экономическому положению военнообязанных».[24]

В дальнейшем развитие военного института мюсселлемов шло по двум направлениям. В первом случае, при Мехмеде II (1451—1481), к оджаку мюселлемов приписывалось определенное число хозяйств реайи (до 15 хане). Приписанные к оджаку реайаты были обязаны выплачивать эшкинджи харчлык (40—50 акче). Кроме права получать харчлык с приписанных райатов и ямаков эшкинджи имел право получать с ямаков, работающих на землях оджака (эти земли не должны были превышать 1 чифта, т. е. 5,6—14,1 га, — *К. Ж.*), десятую часть урожая (ушр) и ряд других выплат.[25]

Во втором случае, который получил распространение в XVI в., увеличивалось число членов оджака, которое к середине столетия достигло 30 человек — 25 ямаков и 5 эшкинджи, — причем эти пятеро отправлялись в поход поочередно.[26]

Институт яя также эволюционировал в этом направлении: если в XV в. в оджак, владеющий чифтом земли, входили 6—7 человек,[27] то к середине XVI в. оджаки яя по численности сравнялись с оджаками мюселлемов.[28]

В конце XVI столетия таифе анатолийских яя и мюселлемов были упразднены, чифтлики яя и мюселлемов были переданы тимариотам, а они сами были записаны как реайа (т. е. были низведены до своего изначального статуса).[29] Судьба румелийских юрюков (так в XV—XVI вв. назывались яя в Румелии) и мюселлемов (среди которых, по сообщению Айни Али, писавшего в 1606 г., было, в частности, 300 оджаков Кызылджа Мюселлим) [30] была иной. Претерпев некоторые изменения и получив в 1102/1691 г. наименование Эвлад-и Фатихан (потомки завоевателей), таифе юрюков просуществовало до XIX в.[31]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Káldy-Nagy Gy.* The Conscription of Müsellem and Yaya Corps in 1540. — In: Hungaro-Turcica. Studies in Honours of Julius Németh. Budapest, 1976, p. 275; idem, the First Centuries of the Ottoman Military Organization. — Acta Orient. Hung., XXXI (1977), p. 162, 171.

[2] Aşıkpaşazade. Tevârih-i Al-i Osman. — Istanbul, 1332, s. 39—40; Kitâb-ı Cihan-Nümâ. Neşrî Tarihi, yayınlayanlar F. R. Unat ve M. A. Köymen, c. 1—2. Ankara, 1949—1957, s. 152—156.

[3] В рецензии (BSOAS, v. XL (1977), p. 155—160) на издание чешского текста (с параллельным английским переводом) записок Константина (*Konstantin Mihailović* Memoirs of a Janissary/ Trans. by B. Stolz. Hist. com. and notes by S. Soucek. Ann Arbor, 1975), а также на немецкий перевод записок (Memorien eines Janitscharen oder Türkische Chronik / Eingeleitet und übersetzt von R. Lachmann. Kommentiert von Cl.-P. Haase, R. Lachman, G. Prinzig. Graz, 1975), сделанный с издания Я. Лося польского текста (Pamiętniki

Janczara czyli Kronika Turecka Konstantego z Ostrowicy napisana między R. 1496 A. 1501. / wydał Jan Łos. Krakow, 1912). В. Менаж (V. L. Ménage) принимает конъектуру К.-П. Хаазе (Anm. 71), по мнению которого jenikichaje — это энюк яя (щенки яя), название, укоренившееся в народе за пехотинцами -яя. Историю появления этой клички приводит Ашык-пашазаде (Aşıkpasazade, s. 40). В этом случае следует сделать вывод, что Константин не только не понимал смысла названия этого войска — он полагал, что это были ени кахья (кахья — второе лицо в крепости после коменданта — диздара)—, но и сделал ошибку, указывая его неверную численность в последние десятилетия XV в., а именно 2 тысячи (Pamiętniki Janczara, s. 30). На самом деле их было в десять раз больше (Ibn Kemal. Tevârih-i Al-i Osman. VII Defter. Tenkidli transkripsiyon. Hazırlayan Ş. Turan. Ankara, 1957, s. 339).

[4] Pamiętniki Janczara, s. 29—30.

[5] *Turan O.* Selçuklular zamanında Türkiye (1071—1318). Istanbul. 1971, s. 514.

[6] Kitâb-ı Cihan-Nümâ, s. 154—156.

[7] Konstantin Mihailović. Memoirs of a Janissary, p. 34.

[8] Sa'deddin. Mehmed Ibn Hasan Hoca. Tac üt-Tevarih, c. 1. Istanbul, 1279, s. 40; Хюсейн. Беда'и ул-Века'и (Удивительные события) / Изд. А. С. Тверитинова и Ю. А. Петросян. М., 1961, ч. 1, л. 44 б.

[9] Kitâb-i Cihan-Nümâ, s. 154—156; *Barkan O. L.* XV ve XVI-ıncı asırlarda Osmanlı Imparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları, c. 1. Kanunlar. Istanbul, 1945, s. 241—242.

[10] См.: *Петросян И. Е.* К истории создания янычарского корпуса. — Тюркологический сборник. 1978, М., 1984, с. 191—200.

[11] Хюсейн, л. 44 б.

[12] *Werner E.* Die Geburt einer Grossmacht — die Osmanen (1300—1481). 3. Aufl. Berlin, 1978, S. 114—115.

[13] *Káldy-Nagy Gy.* The First Centuries of the Ottoman Military Organization, p. 165.

[14] Sa'deddin, s. 311—312;

[15] Ibn Kemal, s. 339.

[16] Идрис ал-Бидлиси. Хашт Бихишт. Рукопись из коллекции ИВАН СССР, шифр С 1046, л. 134 а; Хюсейн, л. 45 а.

[17] Sa'deddin, s. 41; Ali. Kunh al-ahbar, c. V. — Istanbul, 1277, s. 43.

[18] Kitâb-ı Cihan-Nümâ, s. 556—558; Die altosmanischen anonymen Chroniken in Text und Übersetzung herausgegeben von Dr. Fr. Giese. Teil 1. Text und Variantenverzeichnis. Breslau, 1922, S. 56.

[19] *Barkan O. L.* XV ve XVI-ıncı asırlarda Osmanlı. . ., s. 259.

[20] Kitâb-ı Cihan-Nüma, s. 556—558.

[21] Die altosmanischen anonymen Chroniken, S. 56.

[22] *Barkan O. L.* XV ve XVI-ıncı asırlarda Osmanlı. . ., s. 241.

[23] Хюсейн, л. 159 а.

[24] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 19, с. 516.

Карл Великий был вынужден настолько ограничить воинскую повинность, чтобы оставалась возможность вооружить и содержать воина. Это было введено Ахенским картулярием 807 г. (там же, с. 515).

[25] *Röhrborn K.* Untersuchungen zur osmanischen Verwaltungsgeschichte. Berlin; New York, 1973, S. 98—98; *Beldiceanu-Steinherr I.* Fiscalité et Formes de Possession de la Terre Arable dans L'Anatolie Préottomane. — JESHO, v. XIX, 1976, p. 250—251, n. 74.

[26] *Káldy-Nagy Gy.* The Conscription of Müsellem. . ., p. 276.

[27] *Röhrborn K.* Untersuchungen. . ., S. 99; *Beldiceanu-Steinherr I.* Fiscalité et Formes. . ., p. 251, n. 75.

[28] *Káldy-Nagy Gy.* The First Centuries of the Ottoman Military. . ., p. 172.

[29] *Káldy-Nagy Gy.* The Conscription of Müsellem. . ., p. 280—281.

[30] *Tucer H.* (Kanunname-i Al-i Osman) Osmanlı Devleti arazi kanunları. Ankara, 1962, s. 191, 232.

[31] *Gökbilgin M. T.* Rumili'de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-i Fatihân. Istanbul, 1957, s. 255—256.

С. М. Иванов

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА В ТУРКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Достигнутый к настоящему времени в ряде областей изучения Турции уровень исторических знаний, а также сама логика их развития заставляют все большее число авторов переходить к необходимым обобщениям, определять специфику исторических процессов в стране, широко используя при этом сравнительно-исторический метод анализа.[1] Это, в свою очередь, приводит к необходимости заострить внимание на понятийном аппарате туркологических исследований и задачах его совершенствования. Ведь употребляемые в исторических работах категории должны отражать в себе как общие закономерности исторического развития, так и специфику их проявлений в изучаемом обществе на каждом из этапов его эволюции. Не случайно поэтому выявление типологических особенностей арабо-османского феодализма в работах Н. А. Иванова, С. Ф. Орешковой и И. М. Смилянской повлекло за собой отказ от употребления термина «военно-ленная система» и замену его понятием «тимарная система». Это дало возможность подчеркнуть специфику феодализма в Турции, невольно заслонявшуюся прежде категорией, характеризующей феодальные отношения европейского типа.

Другим примером подобного же рода может быть исследование вопроса о соотношении светской и духовной власти в османской политической системе, результаты которого позволили его автору, М. С. Мейеру, усомниться в правомерности употребления понятия «унитарная монархия» по отношению к средневековой Османской державе.[2] Уточнение терминологии здесь также не самоцель, а стремление адекватно отразить в рамках марксистских исторических категорий специфику средневекового османского государства.

Как видно, и в том и в другом случае развитие понятийного аппарата шло параллельно с исследованием и являлось естественным его результатом. Работа в этом направлении должна быть продолжена, поскольку в исследованиях по средневековой истории Турции до сих пор нередки терминологические погрешности, которые частично искажают в целом верно выраженные стадиально-формационные характеристики и особенности османского

общества. Так, довольно часто и без необходимых при этом уточнений употребляется еще термин «чиновник» по отношению к тимариотам и заимам XIV—XVI вв., «бюрократия» — в связи с характеристикой иерархии должностных лиц в средневековой Турции. А между тем хорошо известно высказывание В. И. Ленина, который подчеркивал, что «всякая бюрократия и по своему историческому происхождению. . . и по своему назначению представляет из себя чисто и исключительно буржуазное учреждение».[3]

Не меньшее (если не большее) внимание к отработке понятийного аппарата и вопросам соответствия его общим формационно-стадиальным характеристикам Турции того или иного периода требуется также и от исследователей новой и новейшей истории. Делая это замечание, мы исходим из того, что в названные эпохи общественные структуры этой страны постоянно испытывали на себе сильное влияние обществ, находившихся на качественно более высоком уровне социально-экономического и политического развития. Так, в XIX и в начале XX в. поздний османский феодализм явился объектом всесторонней экспансии европейского капитализма, достигнувшего к этому времени стадии империализма. Позднее на молодой капитализм в Турции начинает воздействовать уже развитой государственно-монополистический капитализм Запада.

Одним из результатов этого асимметричного взаимодействия является то, что на турецкую почву переносятся политические и экономические институты, а также формы общественно-политической жизни, рожденные длительной исторической эволюцией буржуазных обществ. Вживаясь (если это происходит) в механизмы жизнедеятельности местного общества, они стимулируют развитие в нем буржуазных отношений, но вместе с тем и сами претерпевают определенного рода мутации под воздействием несвойственной им, чужеродной и более отсталой социальной среды. В итоге возникают, условно говоря, «гибридные формы» общественно-политических и экономических отношений, реальное содержание которых во многом отлично от привнесенных извне и привитых образцов.

В подтверждение этой мысли приведем ряд примеров. При этом остановимся прежде всего на начальном этапе буржуазной эволюции турецкого общества. На наш взгляд, в период, когда капиталистический уклад в Турции только зарождался, деформация в ней привнесенных колониальной экспансией Запада развитых форм буржуазных отношений, институтов и учреждений должна была проявляться особенно наглядно.

Действительно, уже при первом знакомстве с историей экономических связей Османской империи с капиталистическими странами Запада во второй половине XIX в. бросаются в глаза те метаморфозы, которые претерпевает основная экономическая категория буржуазного общества — капитал при поглощении его преимущественно еще феодальной социально-экономической и

социокультурной средой. Как показала в своем исследовании И. Л. Фадеева, ссудный европейский капитал, пересекая границы Османской империи и попадая в распоряжение феодального государства, переставал быть собственно капиталом, т. е. стоимостью, способной приносить прибавочную стоимость.[4] Иностранные займы использовались здесь в соответствии с основным экономическим законом феодального, а не капиталистического общества. Поэтому вне зависимости от первоначальной целевой направленности они удовлетворяли сложившуюся и характерную для данного общества непроизводительную структуру расходов. В итоге ссуда капитала становилась ссудой денег.

Естественно поэтому, что в этих условиях и государственные долги в Османской империи превращались в прямую противоположность тому, чем они являлись в буржуазном обществе. В капиталистических странах Европы, по мнению К. Маркса, «государственный долг делается одним из самых сильных рычагов первоначального накопления. Словно прикосновением волшебной палочки он наделяет непроизводительные деньги производительной силой и превращает их таким образом в капитал».[5] «Вполне последовательна поэтому современная доктрина, — замечает в связи с этим К. Маркс, — что народ тем богаче, чем больше его задолженность».[6] В Турции же, как это хорошо известно, погашение государственного долга приводило лишь к увеличению налогообложения населения. В контексте ее исторического развития в XIX в. государственные долги стали тем ядром, вокруг которого постепенно возникали все новые формы экономической и политической зависимости, что в конечном итоге привело страну в положение полуколонии.

Единственной сферой, где иностранные заемные средства в Османской империи проявляли себя как капитал, было инфраструктурное и прежде всего железнодорожное строительство. В эти отрасли экономики, по подсчетам турецкого исследователя Р. Ш. Сувла, в период Танзимата было инвестировано около $^{1}/_{6}$ части иностранных займов Порты.[7] Но, говоря об этом, хотелось бы подчеркнуть, что железные дороги в условиях султанской Турции и по своему происхождению, и по их функциям, и по конечным социально-экономическим и политическим результатам их работы были далеки от аналогичных предприятий в капиталистических странах. В них железные дороги, по определению В. И. Ленина, представляли собой «итоги самых главных отраслей капиталистической промышленности, каменноугольной и железоделательной, итоги — и наиболее наглядные показатели развития мировой торговли и буржуазно-демократической цивилизации».[8] Иначе говоря, железнодорожное строительство в Западной Европе и в Северной Америке в XIX в. явилось следствием достигнутого к тому времени общего высокого уровня развития экономики и одновременно мощным стимулом к дальнейшему ее росту и формированию единых национальных рынков.

Что касается Османской империи, то в ней железнодорожное строительство развивалось под воздействием не внутренних, а внешнеэкономических импульсов. Железные дороги и новые порты, построенные иностранными концессионерами, должны были в первую очередь обеспечивать вывоз из страны сельскохозяйственного и минерального сырья, а также содействовать сбыту европейской промышленной продукции. Это способствовало формированию в империи региональных рынков, тесно связанных с определенными секторами мирового хозяйства. Железные дороги «работали», таким образом, в большей степени на разрыв, чем на объединение различных провинций империи в единый хозяйственный организм.

Давая оценку характера инфраструктурного строительства в империи, нельзя не обратить также внимания на общую низкую рентабельность османских железных дорог, которая обусловила существование такой специфической формы дивиденда, как «километрические гарантии». Значительный их рост (с 1889 г. по 1901 г. сумма выплат Османского правительства по километрическим гарантиям выросла со 165 568 фр. до 15 359 446 фр.[9]) свидетельствует о том, что в условиях Османской империи железные дороги могли функционировать лишь в случае, если капиталистическая прибыль дополнялась феодальной рентой — налогом. Это, в свою очередь, говорит не только о хищнической природе иностранного капитала, но и об общей неподготовленности слабой, малотоварной, аграрной экономики с сезонными циклами производства к работе в ней транспортной системы, рожденной развитым капиталистическим обществом.

Другие капиталистические предприятия, встроенные в османскую экономику после Крымской войны, претерпевали в ней аналогичные изменения. Функциональное содержание их деятельности сужалось и деформировалось как общим низким уровнем социально-экономического развития, так и ростом полуколониальной зависимости страны. К числу этих предприятий следует отнести прежде всего банки. Эти финансовые учреждения в условиях капиталистического общества, по характеристике В. И. Ленина, «превращают бездействующий денежный капитал в действующий, т. е. приносящий прибыль, собирают все и всяческие. . . доходы предоставляя их в распоряжение класса капиталистов».[10] Однако по отношению к османской банковой системе эта характеристика без соответствующих оговорок применена быть не может. Наглядный пример тому деятельность Имперского оттоманского банка, который изначально был призван модернизировать финансовую систему страны, способствовать переходу от средневековых норм к буржуазным нормам организации и осуществления финансовой политики, а реально превратился в руках европейской буржуазии в один из основных инструментов контроля и распоряжения финансовыми и материальными ресурсами империи.

Помимо этого, с ростом межимпериалистического соперни-

чества на Ближнем Востоке Имперский оттоманский банк утратил даже те номинальные функции общегосударственного финансового учреждения, исполнение которых было вменено ему в обязанность при его организации. В начале XX в. этот банк, по свидетельству знатока Османской империи того вменени А. Руппина, «был далек от того, чтобы стать тем, чем национальные банки в других странах являются для хозяйственной жизни, а именно: центральным институтом, который обслуживает всю хозяйственную жизнь, руководит банковским делом и денежным обращением государства . . . и обязан в первую голову блюсти общие интересы государства».[11] Напротив, по словам того же автора, Оттоманский банк тогда являлся «попросту одним из крупнейших банков, который находился в чисто частно-хозяйственном и нередко весьма остром соперничестве с другими банками и во имя общих интересов не желал поступиться ни малейшей частицей своих частно-хозяйственных выгод».[12]

Что касается других иностранных банков, возникших в Османской империи во второй половине XIX—начале XX в., то и к ним неприменимо понятие финансовых учреждений, основной функцией которых является накопление капитала. В большинстве своем это были коммерческие банки, выполнявшие роль посредников в торговле иностранных капиталистов в Турции. Содержание их деятельности выражалось, следовательно, в том, чтобы служить связующим звеном между механизмами феодальной и капиталистической эксплуатации.

То же можно сказать и о таком буржуазном институте, как государственный бюджет. Казалось бы, что само по себе появление этих документов в практике хозяйственной деятельности турецких властей в начале 60-х годов XIX в. должно свидетельствовать о стремлении Порты обратиться к буржуазным нормам финансовой политики. Но дело в том, что османские бюджеты составлялись и публиковались Портой в значительной степени благодаря давлению на нее представителей держав-кредиторов, заинтересованных в сведениях о состоянии финансов страны. Государственный бюджет империи в условиях роста ее внешней задолженности становился, таким образом, не столько организатором хозяйственной жизни страны, сколько показателем, определявшим ее положение в системе международного кредита. Главное же, османские бюджеты до младотурецкой революции вообще с трудом могут быть признаны за реальное отражение доходов и расходов империи ввиду финансового произвола высших сановников и самих османских монархов.

Обратимся теперь к османской внешней торговле, т. е. к тем формальным и реальным условиям, в которых в Османской империи реализовывались буржуазные принципы «свободной торговли». Известно, что Османская империя была включена в систему «фритредерства» торговыми договорами 30—60-х годов XIX в., и с формально-юридической точки зрения она могла рассматриваться как практически открытый для торговой экспансии стран

Запада рынок. Однако на практике между формальными и реальными условиями торговли иностранцев в Турции существовала значительная разница.

Препятствием, которое значительно затрудняло торговую экспансию Запада, являлось не турецкое таможенное законодательство, а специфика и традиции общественной жизни этой страны, проявлявшиеся, в частности, уже в первом учреждении, с которым сталкивались иностранцы, — в деятельности турецкой таможни.

Турецкая таможня в XIX—начале XX в. представляла собой еще один пример тех «гибридных» форм экономической жизни, которые возникали в Османской империи в результате синтеза капиталистических и традиционно восточных типов отношений. С одной стороны, турецкая таможенная служба была включена торговыми договорами Порты в работу капиталистического механизма международной эксплуатации, превратилась в составной элемент капиталистических мирохозяйственных отношений. Но, с другой стороны, это внешнее подключение османской таможни к реализации буржуазных принципов фритредерства, не означало еще ее внутреннего перерождения и изменения тех характеристик ее работы, которые порождались традициями и условиями жизни в Османской империи того времени. «Взяточничество и полное пренебрежение к интересам торговли делало турецкую таможню страшилищем иностранных купцов», — писал в начале века И. И. Голобородько. В турецких таможнях, замечал он далее, «царила невообразимая путаница . . . бесследно пропадали целые транспорты, дорогие изделия превращались в осколки, скоропортящиеся продукты сгнивали в ожидании их выдачи владельцу».[13]

Практика работы турецкой таможни была первым, но далеко не единственным препятствием на пути реализации идей «фритредерства» в Османской империи. Сбыт европейской продукции был сопряжен здесь со значительными трудностями, вызванными неразвитостью товарно-денежных отношений, низкой покупательной способностью населения, территориально-хозяйственной разобщенностью страны, произволом властей в коммерческих судах, отсутствием у местного купечества буржуазной «культуры» торговли и т. д. Все это вместе взятое значительно снижало положительный эффект от капитуляционных и таможенных привилегий европейской торговой буржуазии в Турции. Европейские принципы «свободной торговли» увязали в отсталой социально-экономической и социокультурной среде этой страны.

Итак, мы постарались показать, что такие экономические категории капитализма, как «капитал», «государственный долг», «банк», «бюджет» и. т. д., в преломлении их условиями переходного, преимущественно еще феодального общества, во многом перестают уже выражать содержание отношений в буржуазном обществе. Капиталистические формы наполняются традиционным восточно-феодальным содержанием. Поэтому необходимы

усилия для осмысления существа тех отношений, которые здесь возникают. Причем это касается не только отдельных категорий, выражающих ту или иную сторону, скажем, экономических отношений в обществе, но и более емких, синтезирующих понятий, таких, например, как абсолютизм.

В настоящее время в нашей османистической литературе высказываются различные мнения по поводу специфики и основных этапов формирования абсолютизма в Османской империи. Так, Ю. А. Петросян характеризует османский государственный строй в качестве абсолютной монархии начиная с 40-х годов XIX в.[14] Напротив, Ф. Ш. Шабанов считает, что в середине прошлого столетия «Османская империя была деспотической, но не самодержавной, а самодержавной она стала лишь при Абдул-Хамиде II, когда были созданы необходимые социально-экономические и политические условия».[15] И наконец, В. И. Шпилькова дает государственному строю Османской империи конца XIX—начала XX вв. двойственное определение; и как деспотическому феодально-монархическому, и как самодержавно-абсолютистскому режиму.[16]

Включаясь в полемику, хотелось бы предварительно отметить следующее.

1. При разработке этого вопроса необходимо учитывать качественные различия между феодальной деспотией и абсолютной монархией. Феодальная деспотия, по определению советских историков-государствоведов, представляет собой своеобразную форму феодальной монархии, существующую в условиях застойного состояния феодального общества.[17] Абсолютная же монархия, как указывал К. Маркс, возникает «в переходные периоды, когда старые феодальные сословия приходят в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется современный класс буржуазии, и когда ни одна из борющихся сторон не взяла еще верх над другой».[18]

2. Необходимо также разграничивать форму правления и исторический тип феодального государства в целом. Для государств Востока это особенно важно, поскольку исторические циклы усиления и ослабления центральной власти в них неоднократно чередовались.

3. И наконец, нельзя не учитывать специфики абсолютизма в Османской империи.

Исходя из сказанного, государственный строй Турции 40—60-х годов прошлого века, используя терминологию К. Маркса, можно, на наш взгляд, определить как «просвещенный деспотизм».[19] В условиях этой страны он явился формой государственного устройства, переходной от феодально-теократической деспотии к абсолютизму. Устойчивые и необратимые социально-экономические предпосылки для абсолютизма в Османской империи не в формальном, а в сущностном его выражении сложились лишь в эпоху империализма, когда под воздействием мирового хозяйства происходило изменение базисных отношений уже

в среде собственно турецко-мусульманского населения. Необходимо также оговорить, что, применяя к османскому государственному строю конца XIX—начала XX в. понятие «абсолютизм», мы исходим лишь из наличия в то время в стране централизованной наследственной монархии в условиях переходного состояния общества. При этом учитываем, что данный тип феодального государства в условиях Османской империи качественно отличался от абсолютистских государств Европы.

Абсолютизм в Турции вырос не из сословной монархии и свойственной ей системы общественных отношений. Для него был характерен зависимый тип эволюции, при котором происходила деформация спонтанных процессов в обществе, усиливалась асинхронность развития различных социальных структур, что нашло свое отражение, в частности, в гипертрофированном росте армии и ее роли в общественно-политической жизни страны. Нельзя не учитывать того, что османский абсолютизм в период своего формирования не смог в отличие от европейских абсолютных монархий сыграть исторически прогрессивной роли — создать условия для возникновения буржуазной нации.

В заключение подчеркнем, что от определения типа и уровня развития феодального государства в Османской империи в новое время во многом зависит оценка этапов и специфики эволюции буржуазного турецкого государства в период республики.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А.* Очерки истории Турции. М., 1983, с. 44.

[2] *Мейер М. С.* О соотношении светской и духовной власти в османской политической системе в XVI—XVIII вв. — В кн.: Ислам в истории народов Востока. М., 1981, с. 60.

[3] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 1, с. 440.

[4] *Фадеева И. Л.* Османская империя и англо-турецкие отношения в середине XIX в. М., 1982, с. 116—117.

[5] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 23, с. 764.

[6] Там же.

[7] *Sulva R. Ş.* Tanzimat devrinde istikrazlar — Tanzimat. İstanbul, 1940, s. 713.

[8] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 27, с. 304.

[9] *Karkar Y. N.* Railway Development in the Ottoman Empire, 1856—1914. № 4, Wash, 1972, p. 112.

[10] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 27, с. 326.

[11] *Руппин А.* Современная Сирия и Палестина. Пг., 1919, с. 244.

[12] Там же.

[13] *Голобородько Н. И.* Старая и новая Турция. М., 1906, с. 150—151.

[14] *Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А.* Очерки истории Турции, с. 105.

[15] *Шабанов Ф. Ш.* Государственный строй и правовая система Турции в период танзимата. Баку, 1967, с. 88.

[16] *Шпилькова В. И.* Младотурецкая революция 1908—1909. М., 1977, с. 3, 23, 28.

[17] Марксистско-ленинская общая теория государства и права: Исторические типы государства и права. М., 1971, с. 227.

[18] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 4, с. 306.

[19] Там же, т. 10, с. 466.

С. Н. Иванов

ТЮРКОЛОГИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

А. Н. Кононов посвятил много работ истории отечественного востоковедения, в частности истории тюркологии в Петербургском—Ленинградском университете.[1] Предлагаемая статья представляет собой как бы дополнение к соответствующим исследованиям А. Н. Кононова.

Почти сто лет отделяют от Великой Октябрьской социалистической революции начало преподавания тюркологических дисциплин в Петербургском университете. Этот период можно разделить на несколько этапов, отражающих собой постепенное становление тех основ университетской тюркологии, которые были унаследованы от дореволюционной науки советскими тюркологами.

Первый этап — 1822—1839 гг. — связан с деятельностью О. И. Сенковского. В это время тюркология не получает еще самостоятельного места в преподавании востоковедческих предметов. О. И. Сенковский, занимающий кафедру арабского языка, лишь эпизодически читает слушателям турецкий язык.

Второй этап — 1839—1855 гг. — характеризуется упрочением положения тюркологии как самостоятельной востоковедческой дисциплины. Преемник О. И. Сенковского А. О. Мухлинский начинает систематическое чтение предметов, имеющих целью изучение турецкого языка и литературы; тематика его лекций затрагивает и вопросы изучения других тюркских языков — «татарских наречий», в чем ему помогает Л. З. Будагов.

На третьем этапе, начало которого относится к году открытия факультета восточных языков, — в 1855—1863 гг. — вместе с А. О. Мухлинским на факультете работает И. Н. Березин, чьи интересы лежат уже полностью в сфере изучения различных тюркских языков. В это время преподавание турецкого языка и литературы, осуществляемое А. О. Мухлинским, дополняется регулярным чтением курсов по другим тюркским языкам и литературам (И. Н. Березин, Л. З. Будагов). Учебные планы приобретают известную стабильность. На факультете закладываются основы университетского преподавания тюркологии.

Четвертый этап охватывает собою период, который можно ограничить 1863 и 1894 гг. Этот период, последовавший за введением университетского устава 1863 г. и в целом характеризующийся дальнейшим развитием традиций университетского преподавания тюркологии, начался для кафедры турецко-татарских наречий с известных трудностей в связи с уходом А. О. Мухлинского (1866) и необходимостью подыскания преемника его в преподавании турецкого языка и литературы. Отличительной чертой этого периода является тот факт, что кафедра стремится пополнить состав своих преподавателей за счет выпускников факультета. Эти устремления нашли более или менее устойчивое разрешение лишь в 1873 г., когда кафедра была замещена окончившим факультет В. Д. Смирновым. Этот этап завершается вступлением на преподавательское поприще в университете талантливейшего русского тюрколога, питомца факультета П. М. Мелиоранского (1894),[2] который в своей педагогической деятельности явился преемником скончавшегося вскоре (1896) И. Н. Березина, а в научной деятельности стал основателем нового направления тюркологии — тюркского языкознания.

Последний этап предреволюционного развития русской университетской тюркологии — 1894—1917 гг. — характеризуется углублением процесса дифференциации различных областей тюркологии, начавшегося в последней четверти XIX в., и прежде всего разделением университетской тюркологии на две школы — лингвистическую (П. М. Мелиоранский) и филологическую (В. Д. Смирнов). В это время на кафедре работали В. Д. Смирнов, А. Н. Самойлович (с 1907) и П. А. Фалев (с 1915), которым суждено было положить начало университетскому преподаванию тюркологических дисциплин уже в советское время. Труды П. М. Мелиоранского, умершего в 1906 г., сыграли исключительную роль в развитии тюркского языкознания в советский период.

В дореволюционный период развития тюркологии на факультете восточных языков трудами ученых-тюркологов, здесь работавших, был внесен ценнейший вклад в русское востоковедение, заложивший наряду с трудами тюркологов других востоковедных школ (Казань, Москва) основы научной тюркологии, которую по праву называют русской классической тюркологией. За сто лет существования русского востоковедения как науки и за шестьдесят лет деятельности факультета восточных языков — первого востоковедного учреждения в России, в котором было достигнуто сочетание научных исследований и педагогической практики, — отечественные ориенталисты, в том числе тюркологи, выработали плодотворные методы исследования и преподавания, которые были ими переданы востоковедам нового поколения, трудившимся уже в послеоктябрьскую эпоху.

После Великой Октябрьской социалистической революции перед советскими тюркологами встали задачи большой государственной важности, обусловленные коренными революционными преобразованиями в советской России, в том числе в ее южных

и восточных окраинах, а также развитием национально-освободительного движения на всем Востоке. Советские тюркологи своими научными трудами и своей практической деятельностью обязаны были всемерно содействовать советскому и культурному строительству, которое осуществлялось под руководством коммунистической партии среди многочисленных тюркоязычных народов нашей страны. Чрезвычайно важной задачей была также подготовка кадров тюркологов, в том числе национальных, для работы в тюркоязычных республиках и областях страны. Видная роль в решении этих задач принадлежала тюркологам Петрограда—Ленинграда.

В первые годы после революции кафедра «турецко-татарской словесности» продолжает свою работу в рамках арабско-персидско-турецко-татарского разряда на факультете восточных языков. В это время членами кафедры состояли профессор (с 1888 г.) В. Д. Смирнов, А. Н. Самойлович (с 25 сентября 1917 г. — доцент, с 18 декабря 1917 г. — экстраординарный профессор, с 13 сентября 1918 г. — ординарный профессор), П. А. Фалев (с 1915 г. — приват-доцент, с 13 сентября 1918 г. — доцент, с 10 декабря 1918 г. — профессор), лектор С. М. Шапшал.[3] Учебные обязанности распределялись следующим образом:

В. Д. Смирнов — «Чтение с комментариями текстов османских писателей, отличающихся стилистической характерностью и сложностью грамматической конструкции языка их произведений, как то: из истории Вейси, Солак-задэ, Васыфа»; «Чтение из Сэргузешти Али Бей и Терджуме-и Телемак»; «Очерк османской литературы» (все лекции в 7-м—8-м сем.);

А. Н. Самойлович — «Введение в изучение турецких племен и наречий» (3-й—4-й сем.); «Чагатайский язык» (5-й сем.); «Казак-киргизское наречие» (6-й сем.); «Кутадгу-билик» и «Сравнительная морфология турецких языков и наречий» (7-й—8-й сем.);

П. А. Фалев — «Грамматика османского языка с чтением османских текстов в начертании русской академической транскрипции и арабского алфавита» (3-й—4-й сем.); «Чтение памятников повествовательной литературы» (5-й сем.); «Чтение извлечений из казыаскерских книг Крымского ханства по хрестоматии В. Д. Смирнова» (6-й сем.);

С. М. Шапшал — «Диалогические упражнения на прочитанных статьях из новейших османских литературных произведений» (4-й сем.); «Переводы с русского языка на турецкий и упражнения в чтении рукописных османских текстов. Разбор документов почерками дивани и джеми-дивани» (7-й—8-й сем.).[4]

В числе обязательных лекций значились: в 3-м семестре — «Турецко-татарский язык» (А. Н. Самойлович), «Османский язык» (П. А. Фалев); в 5-м семестре — «Османский язык» (П. А. Фалев), «Турецко-татарский язык» (А. Н. Самойлович), турецкий язык (С. М. Шапшал); в 7-м семестре — «Османский язык» (В. Д. Смирнов), «Турецко-татарский язык» (А. Н. Самойлович), турецкий язык (С. М. Шапшал).[5] Кроме того, «всем студентам-

восточникам, избирающим своей специальностью лингвистику», рекомендовалось посещение фонетического практикума профессора Л. В. Щербы на историко-филологическом факультете.[6]

В связи с новыми общественными условиями на факультете начинаются поиски новых форм преподавания и новых рамок специализации. Первым мероприятием на этом пути было решение факультета (в сентябре 1918 г.) о расширении возможностей специализации для студентов арабско-персидско-татарского разряда. Были предусмотрены следующие специальности: 1) исламоведение, 2) история мусульманского Востока, 3) арабская филология, 4) персидская словесность, 5) османская словесность, 6) турецко-татарские наречия.[7]

Несколько ранее, летом 1918 г., члены кафедры турецко-татарской словесности представили на факультет записку о необходимости изменений в учебных планах отделения «турецко-татарских наречий». В связи с предполагавшимися преобразованиями в отношении специализации студентов и приближением в силу этого учебных планов факультета к историко-филологическому профилю факультет на основании записки, поданной членами кафедры, определил «исключить из отделения турецко-татарских наречий сравнительную морфологию турецких наречий как предмет лингвистического характера», а «интересы турецкой лингвистики обеспечить при рассмотрении новых планов монголо-маньчжуро-турецкого разряда или, если это будет признано желательным, нового разряда турецкой филологии».[8]

По новому учебному плану число обязательных лекций для студентов старших курсов расширялось за счет введения исторических дисциплин. Был утвержден следующий перечень обязательных для посещения лекций.

В 5-м семестре:

а) по отделению «османской словесности» — курсы «Истории османской литературы» и «История Турции» В. Д. Смирнова, курс чагатайского языка А. Н. Самойловича, курс турецкого языка П. А. Фалева, практический курс турецкого языка С. М. Шапшала;

б) по отделению «турецко-татарских наречий» — курс «История османской литературы» В. Д. Смирнова, курс «История Ирана» В. В. Бартольда, курсы чагатайского и ногайского или кумыкского языков А. Н. Самойловича, курс турецкого языка П. А. Фалева, практические занятия по турецкому языку С. М. Шапшала;

в 7-м семестре:

а) по отделению «османской словесности» — курсы «Османский язык и литература» и «История Турции» В. Д. Смирнова, практический курс турецкого языка С. М. Шапшала, а также курсы истории Византии и греческого языка;

б) по отделению «турецких наречий» — курс турецкого языка и литературы В. Д. Смирнова, курс истории Туркестана В. В. Бар-

тольда, курсы уйгурского и казанско-татарского языков А. Н. Самойловича, занятия по турецкому языку С. М. Шапшала.[9]

В 1919—1925 гг., в университете востоковедение в целом, в том числе и изучение тюркских языков, было представлено на факультете общественных наук (ФОН), где вели педагогическую работу А. Н. Самойлович [10] и П. А. Фалев, скончавшийся в 1922 г.[11] С 1920 г. основным центром подготовки востоковедов стал Петроградский институт живых восточных языков (с 1928 г. — Ленинградский восточный институт). Здесь работали многие видные ученые бывшего факультета восточных языков, в том числе тюркологи В. Д. Смирнов (ум. 1922 г.), А. Н. Самойлович, а также С. Е. Малов, вернувшийся в 1923 г. из Казани.[12] Тюркология как научная дисциплина была возрождена в университете в 1925 г. — сначала в составе восточного отделения на факультете языкознания и истории материальной культуры, а осенью 1934 г. — в выделившемся из университета Ленинградском историко-философско-лингвистическом институте (ЛИФЛИ), где была открыта тюрко-монгольская кафедра, которую возглавил Н. К. Дмитриев (1898—1954). В дальнейшем кафедра входила в состав восточного отделения филологического факультета. В 1944 г. на вновь созданном Восточном факультете ЛГУ была открыта и кафедра тюркской филологии, которую последовательно возглавляли Н. К. Дмитриев (1944—1947), С. Е. Малов (1947—1949), А. Н. Кононов (1949—1972).

Советский период развития тюркологии в университете и в других востоковедных учреждениях Ленинграда связан с именами таких крупных тюркологов, как А. Н. Самойлович, С. Е. Малов, Н. К. Дмитриев, А. Н. Кононов.

В послеоктябрьский период развернулась зрелая научная и педагогическая деятельность А. Н. Самойловича, с 1925 г. являвшегося членом-корреспондентом, а с 1929 г. — действительным членом АН СССР.[13] А. Н. Самойлович принадлежит к числу тех ученых, которые, начав свою научно-педагогическую деятельность еще до революции, с первых же дней Советской власти отдали все свои силы культурному строительству пролетарского государства. Избранный в сентябре 1918 г. ординарным профессором Петроградского университета, А. Н. Самойлович много сделал для развития университетской тюркологии. С 1920 г. основная педагогическая деятельность А. Н. Самойловича протекает в стенах Петроградского института живых восточных языков. Здесь, в новом востоковедном вузе, преемственно наследовавшем традиции факультета восточных языков, в полной мере развернулись большие педагогические и научно-организаторские способности А. Н. Самойловича.[14] В 1934 г. А. Н. Самойлович становится директором Института востоковедения АН СССР, однако он не прекращает педагогической работы в университете: здесь он читает курс введения в изучение тюркских языков и тюркоязычных народов и курс туркменского языка.

10 Заказ 1165

Плодотворной была в этот период и научная деятельность А. Н. Самойловича. В 1922 г. он издает свои широко известные и получившие всеобщее признание «Некоторые дополнения к классификации турецких языков». Эта работа до сих пор не утратила своего значения как синтез существовавших до того времени классификаций тюркских языков и оригинальная попытка построения новой классификации на чисто лингвистических основаниях. Тремя годами позже — в 1925 г. — вышла в свет «Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого языка», отличавшаяся высокими методическими достоинствами и послужившая многим студентам-тюркологам в качестве отличного учебного пособия.

Постоянно привлекали внимание А. Н. Самойловича сюжеты, связанные с изучением истории тюркских языков. Сам А. Н. Самойлович считал историю литературы и литературного языка тюрок Средней Азии «предметом своей ближайшей специальности».[15] Живой интерес не только к крупным проблемам истории языка, но и ко всем фактам, могущим пролить хотя бы небольшой свет на те или иные стороны культурно-исторического процесса, и глубокая эрудиция А. Н. Самойловича послужили основой для многочисленных его этюдов как историко-этимологического, так и текстологического характера.[16] Доклады, прочитанные А. Н. Самойловичем на II съезде Турецкого лингвистического общества (1934) и на I съезде туркменских лингвистов (1936), также были посвящены вопросам истории языка.[17]

Литературоведческие работы А. Н. Самойловича в советский период явились продолжением тех его устремлений, которые сложились еще в дореволюционное время: он публикует значительное количество статей по вопросам истории узбекской и туркменской литературы, а также сводный очерк «Литература турецких народов» (1919).[18]

Начало научной деятельности члена-корреспондента АН СССР (с 1943 г.), профессора Ленинградского университета С. Е. Малова (1880—1957) [19] относится к дореволюционному периоду. Уроженец Казани, сын видного востоковеда миссионерского направления Е. А. Малова (1835—1918), С. Е. Малов первоначально также готовился к миссионерской деятельности и окончил с этой целью духовную академию в Казани. Однако участие в работе Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, руководимого выдающимся тюркологом Н. Ф. Катановым, и посещение лекций Н. Ф. Катанова в Казанском университете пробуждают у С. Е. Малова интерес к науке. Он совершает поездку в селения татар-мишарей и обобщает результаты своих наблюдений в статье «Из поездки к мишарям».[20]

В год окончания духовной академии (1904) С. Е. Малов, так и не приступив к миссионерской деятельности, поступает на факультет восточных языков Петербургского университета и заканчивает его в 1909 г. Основное направление интересов С. Е. Ма-

лова лежало за пределами османистики, определявшей собою профиль подготовки тюркологов на факультете, — в области изучения живых тюркских языков. «Неосманистическая» тюркология в университете в связи с кончиной в 1906 г. П. М. Мелиоранского переживала трудный период, и это побуждает С. Е. Малова искать применения своим устремлениям вне стен университета — в кружке В. В. Радлова. Академик В. В. Радлов, крупнейший русский тюрколог, охотно «принимает» нового ученика, как он это сделал раньше в отношении Н. Ф. Катанова [21] и позже — в отношении А. Н. Самойловича.[22] В. В. Радлов становится подлинным наставником С. Е. Малова; занятия в кружке В. В. Радлова, а затем и совместные труды навсегда определяют путь С. Е. Малова в науке: он целиком отдается изучению живых тюркских языков и памятников тюркских языков.

1917 год застает С. Е. Малова в Казани, где он начинает свою педагогическую деятельность. С 1923 г. С. Е. Малов работает в Петрограде — сначала в Институте живых восточных языков, а затем в университете.

Главной областью научных интересов С. Е. Малова в это время становится лексика тюркских языков, преимущественно лексика старотюркских памятников. В течение многих лет С. Е. Малов работал над собиранием картотеки тюркской лексики. Это богатейшее собрание (коло 100 тысяч карточек) легло в основу изданного учениками С. Е. Малова «Древнетюркского словаря».[23] В 1926 г. С. Е. Маловым были опубликованы в Ташкенте «Образцы древнетюркской письменности», служившие учебным пособием при изучении древнетюркских языков в течение четверти века — до выхода в свет книги С. Е. Малова «Памятники древнетюркской письменности» (1951).

В Ленинградском университете, где С. Е. Малов был профессором тюрко-монгольской кафедры на филологическом факультете (1934—1941), а затем профессором кафедры тюркской филологии на Восточном факультете и ее заведующим (1947—1949), он читал курсы по языку рунических и уйгурских памятников, по староузбекскому языку, по современному узбекскому, половецкому, ойротскому (алтайскому) языкам, а также курс «Введение в тюркологию».[24]

Ученик двух крупнейших тюркологов дореволюционной поры — В. В. Радлова и П. М. Мелиоранского, представлявших два направления петербургской тюркологии — академическое и университетское, С. Е. Малов явился достойным последователем своих учителей. Глубоко закономерным представляется тот факт, что основной труд С. Е. Малова «Памятники древнетюркской письменности» (1951) имеет не только научное, но и педагогическое значение: он уже сослужил большую службу делу воспитания востоковедов-тюркологов, делу воспитания научных и педагогических кадров в тюркоязычных республиках и областях и еще долго будет служить основным пособием для изучения истории тюркских языков.

Более двадцати лет (1926—1947) тюркология в Ленинградском университете была связана с деятельностью Н. К. Дмитриева (1898—1954).[25] Н. К. Дмитриев — один из виднейших тюркологов советского времени, оставивший многочисленные труды в самых различных областях тюркологии, член-корреспондент АН СССР (с 1943 г.), действительный член Академии педагогических наук РСФСР (с 1945 г.). Выпускник Московского университета и Московского института востоковедения, Н. К. Дмитриев начал свою преподавательскую деятельность в Ленинграде — в 1925 г. в Институте живых восточных языков, а в 1926 г. — в университете. Наиболее плодотворный период деятельности Н. К. Дмитриева связан с его работой в Ленинградском университете, где он в 1934—1941 гг. возглавлял тюрко-монгольскую кафедру в составе филологического факультета, а в 1944—1947 гг. — кафедру тюркской филологии на Восточном факультете. В качестве профессора университета Н. К. Дмитриев читал курсы турецкого, азербайджанского, туркменского, крымско-татарского, балкарского языков, курсы введения в тюркологию, тюркского фольклора, турецкой и туркменской диалектологии. Н. К. Дмитриева интересовали самые различные аспекты тюркского языкознания: фонетика и грамматика, диалектология и лексикология, изучение тюркских языков в сопоставлении с русским языком.

Среди многочисленных трудов Н. К. Дмитриева по грамматике первостепенное значение имеют его сводные, обобщающие работы: «Строй турецкого языка» (Л., 1939), «Грамматика кумыкского языка» (М.; Л., 1940) и в особенности «Грамматика башкирского языка» (М.; Л., 1948), которая как бы подводит итог многолетним занятиям автора по изучению строя тюркских языков и с полным основанием может считаться детищем именно университетского периода деятельности ее автора в Ленинграде (см. предисловие «От автора», с. 3).

Теоретические позиции Н. К. Дмитриева-грамматиста представляют значительный интерес в аспекте общего взгляда на пути изучения тюркских языков русскими тюркологами. Стремление русских тюркологов прошлого века к изучению своеобразия строя тюркской речи находит в грамматических трудах Н. К. Дмитриева дальнейшее развитие, причем особенности лингвистического подхода Н. К. Дмитриева к явлениям тюркской грамматики можно рассматривать как некоторое завершение тенденций, характерных для старых русских тюркологов, как итог предшествующего развития тюркского языкознания, подготовивший условия для перехода к новому этапу грамматических изысканий в области тюркских языков. Такими особенностями грамматического метода Н. К. Дмитриева следует признать обостренное ощущение специфики отдельных явлений тюркской грамматики, некоторое даже любование «экзотикой» тюркских морфологических категорий, их истолкование в подчеркнутом сравнении с русским языком. В этом плане характерно, что и Ф. Е. Корш, в традициях которого Н. К. Дмитриев воспитывался

в Московском университете, также обращал особое внимание на «экзотичность» некоторых тюркских категорий и конструкций.[26] В этом же плане следует понимать и тот факт, что Н. К. Дмитриев отдает дань так называемым «дословным» переводам, преследующим цель показать «необычность» структуры языка.[27]

Разумеется, нужно учитывать, что такое осмысление грамматического метода Н. К. Дмитриева возможно только с позиций современной науки с ее тенденцией перехода от анализа элементарных образований к изучению системы, в которую они включены. Для своего же времени стремление Н. К. Дмитриева к максимальному выявлению своеобразия отдельных явлений грамматического строя было прогрессивным и явилось существенным шагом вперед по сравнению с первыми опытами подобного рода у его предшественников.

В разделе синтаксиса в «Грамматике башкирского языка» автор формулирует свои известные теоретические положения о принципах выделения придаточных предложений, оказавшие значительное влияние на дальнейшие исследования в этой области. Автор подробно рассматривает специфику башкирских конструкций, соответствующих русским придаточным предложениям, и делает чрезвычайно много тонких наблюдений. Н. К. Дмитриев исходит при этом из понятия о придаточных предложениях применительно к их структуре в европейских языках: он ищет такие башкирские конструкции, которые могли бы быть зачислены в разряд придаточных предложений, и находит их (с. 244—270). Вопрос же о месте этих конструкций в строе башкирской речи безотносительно к терминологии занимает в концепции Н. К. Дмитриева второстепенное место.

В круг научных интересов Н. К. Дмитриева входила также и диалектология. Здесь следует отметить работу «Материалы по османской диалектологии. Фонетика „карамалицкого языка"» (1928—1930), представляющую собой интересный опыт восстановления турецкой фонетики по записям, сделанным в середине прошлого века близ Салоник славянскими буквами.[28]

Для истории изучения и преподавания тюркских языков в Ленинградском университете особый интерес представляет опубликованный курс лекций Н. К. Дмитриева «Синтаксис балкарского языка», который он читал в 1940—1941 учебном году.[29] Для курса в целом (как и для грамматических взглядов Н. К. Дмитриева вообще) характерно то, что в нем рассматривается не только синтаксис предложения, но также и вопросы, относящиеся к «синтаксической морфологии». Проблема формы словосочетаний, в том числе и вопрос о падежах как зависимых формах (синтаксис → морфология), в курсе Н. К. Дмитриева дополняется изучением семантики падежей и их синтаксического использования, то есть как бы «обратным» взглядом на падежи (морфология → синтаксис). В разделе, посвященном предложению, автором рассматриваются вопросы, связанные с синтаксисом членов предложения, и обосновывается классификация типов предложения.

С 1949 г. по 1972 г. кафедрой тюркской филологии Восточного факультета ЛГУ руководил А. Н. Кононов, избранный в 1958 г. членом-корреспондентом, а в 1974 г. действительным членом АН СССР.[30] А. Н. Кононов — один из виднейших тюркологов нашей страны, председатель Советского комитета тюркологов. Окончив в 1930 г. Ленинградский восточный институт и пройдя в нем серьезную востоковедную школу у А. Н. Самойловича, В. В. Бартольда, С. Е. Малова, Е. Э. Бертельса, Н. К. Дмитриева, А. Н. Кононов в 1931 г. начинает педагогическую работу в этом же институте. В 1934 г. А. Н. Кононов совместно с Х. Джевдет-заде опубликовал ценный учебник «Грамматика современного турецкого языка». В 1937 г. А. Н. Кононов приступает к чтению лекций по турецкому языку на тюрко-монгольской кафедре филологического факультета ЛГУ. В 1939 г. А. Н. Кононовым была защищена кандидатская диссертация «Система турецкой грамматики в изложении турецких авторов». Дальнейшая работа А. Н. Кононова неразрывно связана с Ленинградским университетом: с 1941 г. он — доцент, а с 1950 г. — профессор Восточного факультета. Заведуя с 1949 г. кафедрой тюркской филологии, А. Н. Кононов в 1953—1954 гг. занимал также должность декана Восточного факультета.

В течение почти полувека научно-исследовательская деятельность А. Н. Кононова протекает в Институте востоковедения АН СССР, где ныне в Ленинградском отделении института он является старшим научным сотрудником. Здесь в 1948 г. он защитил докторскую диссертацию («Родословная туркмен» Абу-л-Гази-хана — сводный текст, перевод, грамматический очерк, историко-филологический комментарий). В 1961—1963 гг. А. Н. Кононов возглавлял Ленинградское отделение Института народов Азии.

В своей научной деятельности А. Н. Кононов является продолжателем лучших традиций русского востоковедения. Тюрколог-языковед широкого профиля, А. Н. Кононов известен своими трудами по грамматике и этимологии тюркских языков, текстологическими исследованиями и работами по истории отечественной тюркологии и востоковедения в целом.

Главное направление исследований А. Н. Кононова лежит в области изучения грамматики тюркских языков, преимущественно турецкого и узбекского. В 1941 г. А. Н. Кононов публикует «Грамматику турецкого языка», которая на широкой общетюркологической основе трактует вопросы фонетики и грамматического строя турецкого языка. Здесь сделан важный шаг к истолкованию фактов турецкой грамматики не в сопоставлении с русским языком, а «изнутри» самого турецкого языка. В «Грамматике турецкого языка» А. Н. Кононов дал полное описание строя турецкого языка и сформулировал свои взгляды на основные проблемы турецкой грамматики. Этот труд А. Н. Кононова получил заслуженное признание, в том числе и в Турции.

В 1956 г. вышла в свет отмеченная 1-й премией ЛГУ (1957)

«Грамматика современного турецкого литературного языка» А. Н. Кононова. Появлению ее предшествовали длительные разыскания, частично отраженные в статьях по отдельным вопросам турецкой грамматики, опубликованных с 1939 по 1953 гг., а также большая педагогическая работа, в процессе которой уточнялись воззрения ее автора на строй турецкого языка. В этом труде А. Н. Кононова нашли отражение лучшие стороны его научной деятельности: верность передовым традициям русского востоковедения, поистине энциклопедическое знание тюркологической литературы, пытливое проникновение в самое существо строя тюркских языков. Эта работа представляет собой оригинальное истолкование грамматики турецкого языка, в ней собран и систематизирован огромный материал, в существенной его части впервые привлеченный для обобщения фактов турецкой грамматики. Автор проявляет пристальное внимание к морфологической характеристике частей речи, к процессам, происходящим в языке, оригинальная система синтаксиса в этой работе являет собою плод поисков, начатых в двух предыдущих грамматиках турецкого языка А. Н. Кононова.

А. Н. Кононову принадлежат также две грамматики узбекского языка. «Грамматика узбекского языка» (Ташкент, 1948) явилась первым полным описанием грамматического строя узбекского языка, а «Грамматика современного узбекского литературного языка» (М.; Л., 1960) обобщила многолетние изыскания ее автора в области изучения тюркских языков вообще: отдельные явления узбекской грамматики и строй узбекского языка представлены в ней на широком общетюркологическом фоне. В 1980 г. вышла в свет «Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв.» — результат долговременных занятий А. Н. Кононова историей и исторической грамматикой тюркских языков.

Другое направление научной деятельности А. Н. Кононова связано с текстологическими исследованиями. Им составлен сводный текст сочинения Алишера Навои «Махбуб-ул-кулуб» («Возлюбленный сердец») по всем доступным его спискам (1948). В 1958 г. А. Н. Кононовым издана книга «Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази-хана Хивинского», в которой сводный текст, составленный по семи рукописям, снабжен переводом, историко-филологическим комментарием и грамматическим очерком.

Особую группу работ А. Н. Кононова составляют многочисленные статьи по вопросам истории отечественной тюркологии и отечественного востоковедения и вышедшая двумя изданиями книга «История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период» (Л., 1972; Л., 1982).

За сорок с лишним лет работы на Восточном факультете ЛГУ А. Н. Кононов прочитал большое количество теоретических и специальных курсов по различным аспектам тюркского языкознания, вел семинарские занятия по древнетюркским памятникам

и средневековым турецким текстам. Среди теоретических курсов А. Н. Кононова, оказавших большое влияние на подготовку специалистов-тюркологов на Восточном факультете ЛГУ, следует назвать такие курсы, как «Грамматика турецкого языка в научном освещении», «История турецкого языка», «Памятники древнетюркской письменности», «Введение в тюркское языкознание» и др.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Кононов А. Н.* История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период. Изд. 2-е. Л., 1982, с. 154—176.

[2] *Бартольд В. В.* Мелиоранский. П. М. Некролог. — В кн.: *Бартольд В. В.* Соч. Т. IX. Работы по истории востоковедения. М., 1977, с. 585—588.

[3] ГИАЛО, ф. 14, оп. 3, д. 15858, л. 5—7, 31, 92, 148.

[4] Обозрение преподавания наук по факультету восточных языков Петроградского университета в осеннем полугодии 1917 года и в весеннем полугодии 1918 года. Пг., 1917, с. 5—7; ГИАЛО, ф. 14, оп. 3, д. 15858, л. 3—4.

[5] Обозрение преподавания. . ., с. 17—18; ГИАЛО, ф. 14, оп. 3, д. 15858, л. 9.

[6] ГИАЛО, ф. 14, оп. 3, д. 15858, л. 14.

[7] Там же, л. 106.

[8] Там же, л. 83 об.

[9] Там же, л. 108[a], 109.

[10] *Ашнин Ф. Д.* Александр Николаевич Самойлович. — НАА, 1963, № 2, с. 245.

[11] ГИАЛО, ф. 14, оп. 1, д. 10647, л. 71.

[12] *Кононов А. Н., Иориш И. И.* Ленинградский восточный институт: Страница истории советского востоковедения. М., 1977. 136 с.

[13] *Ашнин Ф. Д.* Александр Николаевич Самойлович, с.243—264; БСОТ, с. 254—256.

[14] *Кононов А. Н., Иориш И. И.* Ленинградский восточный институт, с. 14—16 и др.

[15] *Самойлович А. Н.* Стамбульские впечатления 1936 г. — Звезда, 1936, № 12.

[16] *Ашнин Ф. Д.* Александр Николаевич Самойлович, с. 248.

[17] Там же, с. 249.

[18] Там же, с. 250—251.

[19] БСОТ, с. 211—212.

[20] Учен. зап. Казанск. ун-та, 1904, приложение, с. 1—24.

[21] *Иванов С. Н.* Николай Федорович Катанов (очерк жизни и деятельности). Изд. 2-е. М., с. 96—97.

[22] *Ашнин Ф. Д.* Александр Николаевич Самойлович, с. 244.

[23] Древнетюркский словарь. Л., 1969, 676 с.

[24] Архив ЛГУ. История кафедр по факультетам (к 120-летию ЛГУ). [Н. К. Дмитриев] Тюрко-монгольская кафедра, с. 11—13.

[25] *Аракин В. Д.* Николай Константинович Дмитриев (1898—1954). М., 1972, 88 с. Библиография трудов о Н. К. Дмитриеве — с. 86—88.

[26] *Корш Ф. Е.* Способы относительного подчинения: Глава из сравнительного синтаксиса. М., 1877, с. 37—38; *Дмитриев Н. К.* Федор Евгеньевич Корш. М., 1962, с. 5—6.

[27] *Дмитриев Н. К.* Строй турецкого языка. Л., 1939, с. 59—60.

[28] *Векилов А. П.* Изучение турецких диалектов Малой Азии дореволюционными и советскими учеными. — Учен. зап. ИВ АН СССР, М., 1960, т. XXV. Отд. оттиск, с. 297—298.

[29] *Дмитриев Н. К.* Строй тюркских языков. М., 1962, с. 358—394.

[30] Материалы к биобиблиографии ученых СССР. СЛЯ. Вып. 13. Андрей Николаевич Кононов. М., 1980. 64 с.

С. Г. Кляшторный

КИПЧАКИ В РУНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ

Народы от имен не начинаются, но имена народам даются. Иные от самих себя и от соседов единым называются. Иные разумеются у других под званием, самому народу необыкновенным или еще неизвестным. Нередко новым проименованием старинное помрачается или старинное, перешед домашние пределы, за новое почитается у чужестранных.

(*Ломоносов М. В.* Древняя Российская история. — Полн. собр. соч. М., 1962, т. 6, с. 178).

Более тысячи лет назад в сочинениях разноязыких авторов появилось название племени, именовавшегося на Руси половцами, в Центральной Европе — команами, а на Востоке — кипчаками.[1] Мусульманские историографы и русские летописцы знают кипчаков-половцев как племя многочисленное и сильное, именем которого стала называться вся Великая степь — Дешти-и Кипчак («Половецкое поле»). Нет, однако, ни одного повествования того времени, где бы рассказывалось о прошлом кипчаков. Даже легенды о происхождении кипчаков, призванные объяснить сам этноним, возникли, по словам В. В. Бартольда, «в более поздней народной и ученой этимологии».[2]

Отсутствие каких-либо упоминаний о кипчаках ранее VIII—IX вв. кажется загадочным и заставляет предположить, что такого рода информацию содержат в зашифрованной для нас форме уже известные источники.[3] Для проверки этого предположения вернемся к самому раннему случаю фиксации этнонима кипчак.

В 1909 г., во время своего путешествия по Монголии, Г. Рамстедт обнаружил в котловине Могон Шине Усу, южнее р. Селенги, стелу с руническим текстом. Первооткрыватель назвал памятник «надписью из Шине Усу» или, в другом месте, «Селенгинским камнем». Надпись оказалась частью погребального сооружения Элетмиш Бильге-кагана (747—759), одного из создателей Уйгурского каганата (744—840).[4] Значительная часть надписи посвящена войнам уйгуров с тюркскими каганами в 742—744 гг.

В четвертой строке северной стороны стелы Рамстедт прочел: tör. . . b^{a}č^{a}q älig jyl olurmyš, а в примечании отметил: «возможно и чтение tür[k] [qy]bčaq.[5] В русском переводе надписи автор

более уверенно интерпретировал начальную часть строки: «Когда турки-кипчаки властвовали [над нами] пятьдесят лет. . .».[6] Действительно, в 691—742 гг. тюрки были сюзеренами токуз-огузов, которых тогда возглавляли уйгуры.

Реконструкция Рамстедтом племенного названия кипчак в эпитафии Элетмиш Бильге-кагана не вызвала доверия у наиболее осторожных исследователей. Во всяком случае, В. В. Бартольд, П. Пельо и В. Ф. Минорский в своих работах о кипчаках, игнорируя чтение Рамстедта, предпочли отнести первое упоминание этнонима к списку тюркских племен у Ибн Хордадбеха (IX в.).[7] Позднее, впрочем, чтение Рамстедта безоговорочно принималось многими филологами и историками.

Эстампажи надписи из Шине Усу, изготовленные Рамстедтом, ныне хранятся в Рукописном отделе Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. Обращение к ним не прояснило чтения начальной части четвертой строки. От предполагаемого qƀčq (qyƀčaq) сохранились лишь два последних знака: čq. Поэтому во время полевых работ в Монголии в 1974—1975 гг. вместе с моим монгольским коллегой М. Шинеху я ревизовал чтение надписи.[8] Мы оба пришли к заключению, что чтение первого слова как türk безусловно верно, а реконструкция [qy]ƀčaq, судя по следам знаков, сохранившихся в подвергшейся эрозии части строки, вполне обоснована.

Хотя предложенное Рамстедтом слитное чтение «турки-кипчаки» грамматически правомерно, оно вряд ли приемлемо. Надписи не знают случаев слияния или отождествления в унитарном написании двух этнонимов. Более того, семантика каждого этнического имени строго определена и не имеет расширительного значения. Поэтому, видимо, следует предпочесть обычное для рунических текстов чтение стоящих подряд этнонимов как самостоятельных имен: «тюрки и кыбчаки (кывчаки)».[9]

Совместное упоминание тюрков и кипчаков в контексте, указывающем на их политический союз и военное единство (вместе властвовали над уйгурами), никак не проясняется сведениями других источников. Для поиска объяснения обратимся к тем руническим надписям, где тюрки упомянуты совместно с другими племенами.

Надписи в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана (Кошоцайдамские памятники) называют рядом с türk ƀodun «тюркским племенным союзом» лишь многочисленный и могущественный племенной союз токуз-огузов. Рассказывается о его покорении в 687—691 гг. и о войнах с ним в 714—715 и 723—724 гг.[10] Оба племенные союза никоим образом не отождествляются. В племенном союзе токуз-огузов господствовали «десять уйгурских (племен)» (on ujγur).[11] Именно вождь «десяти уйгуров» и глава «десяти огузов», Элетмиш Бильге-каган, называет время существования второго Тюркского каганата (681—744) десятилетием господства над уйгурами «тюрков и кыбчаков».

Надпись Тоньюкука, советника и родственника первых трех

тюркских каганов, повествующая о тех же событиях, что и Кошоцайдамские тексты, совершенно иначе обозначает правящую племенную группу Тюркского эля. Пока Тоньюкук рассказывает о времени, предшествующем образованию каганата (подчинение Китаю), он, так же как и автор Кошоцайдамских текстов, упоминает лишь «тюркский племенной союз». Но с момента восстания тюрков и образования тюркского государства в «земле Отюкен», то есть после переселения в Хангай, в Северную и Центральную Монголию, обозначение türk bodun «тюркский племенной союз» заменяется обозначением türk sir bodun «тюркский и сирский племенной союз (племенные союзы)» (Т. 3, 11, 60—62). Коренная территория второго Тюркского каганата, Отюкенская чернь, названа «страной племенного союза (племенных союзов) тюрков и сиров» (Т. 3, 11, 60), но ее властелин именуется «тюркским каганом» (Т. 58). Вождя сиров в разрушенном контексте упоминает памятник из Ихе Хушоту, близкий по времени Кошоцайдамским текстам. Там он назван sir irkin «иркин сиров».[12] В заключительной строке надписи Тоньюкука (Т. 62) «племенной союз тюрков и сиров» и «племенной союз огузов» поименованы как два отдельных объединения.[13]

Однако племена сиров несколько иначе, чем надпись Тоньюкука, упоминает и памятник в честь Бильге-кагана. Его преамбула, впервые правильно прочитанная Т. Текином, содержит обращение кагана к подданным, сохранившееся не полностью: [türk?] [al]ty sir toquz oγuz eki ädiz kerekülüg begleri boduny. . . «. . . О, живущие в юртах беги и простой народ. . . [тюрков?], [ше]сти (племен) сиров, девяти (племен) огузов, двух (племен) эдизов!» (БКб 1).[14] Автор надписи в честь Бильге-кагана, Йоллыг-тегин, в обращении от имени своего покойного сюзерена воззвал к «бегам и простому народу» тех племен, чье отношение к династии определяло по меньшей мере целостность эля. Сиры здесь упомянуты раньше огузов, что фиксирует их приоритет в иерархии племен. Если Тоньюкук выделяет сиров как ближайших союзников тюрков, причастных к власти над страной и покоренными племенами, то Йоллыг-тегин, хотя и не столь отчетливо, выделяет высокое положение сиров в этнополитической структуре каганата.

Суммируем сведения рунических памятников о преобладающих в Тюркском эле племенных союзах (см. с. 156).

Господствующую группу племен, которую собственно тюркские памятники именуют «тюрками и сирами», уйгурский (огузский) памятник из Шине Усу называет «тюрками и кыбчаками». Напрашивается вывод, что при обозначении одного и того же племенного союза, в какой-то мере делившего власть с тюрками, тюркские памятники пользуются этнонимом **сир**, а уйгурский памятник — этнонимом **кыбчак**. Иными словами, оба эти этнонима тождественны, а различия их употребления применительно к известному авторам надписей племени (племенному союзу) проистекают из политических или каких-то иных причин.

Памятник	Племенные союзы	Политический статус
Памятник Тоньюкука, около 726 г., стк. 3, 11, 60—62	Тюрки и сиры	Господствующая группа племен
	Огузы	Подчиненная группа племен
Памятник Бильге-кагана, 735 г., вся сумма упоминаний названных племенных союзов	Тюрки	Господствующее племя
	Шесть сиров	Второе в иерархии племя
	Девять огузов, два эдиза	Подчиненные племена
Памятник Элетмиш Бильге-кагана из Шине Усу, 760 г., стк. 4	Тюрки и кыбчаки	Господствующая группа племен
	Уйгуры	Подчиненные племена

Представленный вывод требует проверки, то есть ответа на вопросы: кто были сиры? Когда и где обитал этот племенной союз? Какие обстоятельства привели к слиянию тюрков и сиров в единую этнополитическую группу? Какова судьба сиров-кыбчаков в государствах тюрков и уйгуров?

Еще в 1899 г. Ф. Хирт предположил, что известные по китайским источникам племена се и яньто, составившие конфедерацию сеяньто, и вместе с теле и туцзюэ часто упоминаемые при описании событий первой половины VII в., по-тюркски именовались сирами и тардушами (сир-тардуши).[15] Это предположение получило известное распространение, но уже в 1904 г. было решительно отвергнуто В. В. Бартольдом.[16] В 1932 г. И. А. Клюкин доказал ошибочность отождествления этнонима яньто (ямтар орхонских надписей?) с названием военно-административного объединения (крыла) западных племен каганата — тардуш.[17] А вслед за тем П. Будберг, не отвергая уравнения се/сир, окончательно ликвидировал «сир-тардушский фантом» (выражение Будберга).[18] Было опровергнуто и другое ошибочное отождествление Хирта, толковавшего название племенного союза теле как древнетюркское тёлис — общее наименование объединения племен, живших на востоке каганата. Позднее выводы Будберга были подтверждены и развиты Э. Пуллиблэнком и К. Цегледи.[19]

Таким образом, было установлено, что: а) этноним, обозначенный в китайской транскрипции как се (siet), соответствует sir тюркского памятника; б) племя, именовавшееся в китайских источниках сеяньто, в надписи Тонькука названо сир.

Первые сведения о племенах се и яньто весьма фрагментарны. Яньто упомянуты среди гуннских племен, перекочевавших на территорию государства Раннее Янь (337—370), то есть в степь восточнее Ордоса. Шаньюй Халатоу, возглавивший перекочевку подвластных ему 35 тыс. семей, правил, по всей вероятности, в 356—358 гг. Несколько позднее яньто были покорены своими соседями, племенем се (сир), истребившим правящие роды яньто и подчинившим остальную часть племени. Новую конфедерацию

возглавил правящий род сиров, Илиту (*Ильтэр).[20] В обозначении названия племенной группировки, существовавшей с IV—VII вв., китайские историографы механически соединили два этнонима и название господствующего племени сиров слилось с названием подчиненного племени. В тюркских памятниках соответственно законам древнетюркской этнонимики это механическое соединение двух имен отсутствует, там названо лишь главенствующее племя — сиры. Нет оснований полагать, что сами сиры сохраняли в самоназвании этнонимическое сочетание, обязанное своим возникновением этиологической тенденции китайской историографии.

После крушения империи жуань-жуаней (551 г.) сеяньто стали вассалами тюркских каганов. Значительная их часть жила в Хангае, другие переселились в горы Таньхань (Восточный Тянь-Шань). В обеих редакциях Тан шу упоминается, что «их (сеяньто) административная система, оружие и обычаи почти такие же, как у тюрков».[21] В конце VI в., после распада Тюркского каганата, тяньшаньские сеяньто оказались в подчинении у западнотюркских ябгу-каганов. Вместе с некоторыми племенами теле, к числу которых их относит источник, сеяньто кочевали между Восточным Тянь-Шанем и юго-западными отрогами Алтая. Хангайскую группу сеяньто около 600 г. потеснило телеское племя сикер (кит. сыцзынь).[22]

В 605 г. западнотюркский Чурын-ябгу-каган (кит. Чулойеху-кэхань), опасаясь мятежа тяньшаньских сеяньто, «собрал в большом числе и казнил их вождей». Сразу же началось восстание и переселение на восток части племен теле. Несколько неудачных столкновений с западными тюрками понудили сеяньто покинуть Тянь-Шань. Семьдесят тысяч их семей во главе с вождем Иначу-иркином откочевали на свои древние земли южнее р. Толы и подчинились восточнотюркским каганам. В 619 г. Эль-каган (кит. Хйели-кэхань) назначил для управления сеяньто своего младшего брата, получившего высший после каганского титул шад.[23]

После того как наместник кагана собрал с новых подданных «беззаконные подати», те «вышли из повиновения ему». Сильная группировка телесных племен, возглавленная сеяньто и уйгурами, нанесла Эль-кагану столь серьезное поражение, что он бежал в свои южные земли, к Иньшаню, оставив Хингай восставшим племенам (628 г.). Тюркские племена, оставшиеся в Хангае, влились в состав сеяньто. Так было положено начало «племенному союзу тюрков и сиров».[24]

В 630 г., после неудачных сражений с танскими войсками, Эль-каган попал в плен. Самостоятельное существование первого Тюркского каганата прекратилось. В Хангае соперничали за власть сеяньто и уйгуры. Уже в 629 г. и те и другие прислали ко двору Тайцзуна отдельные посольства. Поддержку танского двора получили сеяньто, и их вождь Иначу-иркин провозгласил себя Йенчу Бильге-каганом (кит. Чжэньчжу Бицзя-кэхань).

По мнению К. Цегледи, именно в это время произошел раскол внутри союза десяти племен теле, сложившегося в Северной Монголии в начале VII в. Сеяньто, возглавлявшие племена, вышли из союза, и главенствующее положение там заняли уйгуры. Тем самым завершилось формирование могущественной племенной конфедерации токуз-огузов.[25] После 630 г. токуз-огузы оказались скорее вассалами, чем союзниками сирского кагана и, очевидно, первоначально смирились с этой ролью. Во всяком случае, в 630—640 гг. они уже не посылали самостоятельных посольств к танскому двору. Нет сообщений и о столкновениях между ними и сеяньто.[26] В Северной Монголии появилось новое государство — Сирский каганат во главе с династией Ильтэр. Его границами стали Алтай и Хинган, Гоби и Керулен.[27] На севере каган сеяньто подчинил страну енисейских кыргызов и держал там «для верховного надзора» своего наместника — эль-тебера.[28]

Йенчу Бильге-каган принял в своем государстве ту же административную структуру, которая существовала в Тюркском каганате. Возродились два территориальных объединения племен — «западное крыло» тардушей и «восточное крыло» тёлисов. Во главе тардушей и тёлисов были поставлены сыновья Йенчу, шады, получившие затем титулы «малых каганов». Сам Йенчу учредил свою ставку на северном берегу Толы. В центре Отюкенской черни сложился новый племенной союз — объединение сеяньто и тюрков при главенствующем положении сирской династии.

Тайцзун был серьезно обеспокоен возникновением на северных рубежах империи сильного государства кочевников. Единственным приемлемым для него решением оказалось восстановление вассального и небольшого по размерам государства тюрков, способного прикрыть северную границу. Тюркские племена, переселенные в 630 г. на юг от Хуанхэ, были возвращены в горную область Иньшаня (Чугай кузы тюрков) и степи севернее Ордоса (Кара-кум), на южные земли Эль-кагана и в его южную ставку (Хэйшачэн «город Черных песков» китайских источников»). Тюрков возглавил близкий родственник Эль-кагана Ашина Сымо, принявший каганский титул. Новый каган был лично предан Тайцзуну и пользовался его полным доверием, но не имел авторитета у своих сородичей.[29]

Обеспокоенный появлением соперника и опасавшийся за судьбу союза с хангайскими тюрками, Йенчу Бильге-каган принял ответные меры. В декабре 641 г. войско из сеяньто и токуз-огузов во главе с сыном Йенчу, Тардуш-шадом, пересекло Гоби. Ашина Сымо успел скрыться за Великой стеной, а сеяньто оказались втянутыми в войну с империей и потерпели поражение. Начались переговоры о «мире и родстве», которые тянулись более трех лет.

После смерти Йенчу его младший сын Бачжо убил своего брата и захватил власть. В 646 г. огузские племена, страдавшие от притеснений Бачжо, обратились за помощью к Тайцзуну.

Их послы жаловались, что Бачжо «жесток и беззаконен, не способен быть нам господином».[30] Против кагана сеяньто был заключен военный союз империи с токуз-огузами. В июне 646 г. токуз-огузы во главе с вождем уйгуров, «великим эльтебером» Тумиду, напали на сеяньто и нанесли им тяжелое поражение. Бачжо бежал, но был настигнут уйгурами. «Хойху (уйгуры) убили его и истребили весь его род».[31] Поражение сеяньто в Хангае довершили китайское войско и действовавшие с ним совместно два тюмена уйгурской конницы. Государство сеяньто прекратило существование. Многие роды были истреблены, многие угнаны в Китай.

Гибель могучего племенного союза оказалась столь внезапной и полной, что породила среди остатков сеяньто легенду о злом вмешательстве сверхъестественных сил. Легенда представлялась убедительным объяснением событий и в степи была общеизвестна. Во всяком случае, китайскими историографами она была зафиксирована в нескольких весьма близких вариантах.[32] Приведем более короткий вариант.

«Прежде, перед тем, как [се]яньто были уничтожены, некто просил еды в их племени. Отвели гостя в юрту. Жена посмотрела на гостя — оказывается у него волчья голова [волк считался прародителем уйгуров, — *С. К.*]. Хозяин не заметил. После того как гость поел, жена сказала людям племени. Вместе погнались за ним, дошли до горы Юйдугюнь [Отюкенская чернь, — *С. К.*]. Увидели там двух людей. Они сказали: „Мы — духи (боги). [Се]яньто будут уничтожены“. Преследовавшие испугались, отступив, убежали. Из-за этого потеряли их. И вот теперь (сеяньто) действительно разбиты под этой горой».[33]

Спасшиеся после разгрома племена сеяньто частью бежали в Западный край, на земли, покинутые двадцать лет назад. В 647—648 гг. там с ними сражался Ашина Шэр, тюркский царевич на танской службе, взявший тогда для Тайцзуна Кучу.[34] Другая часть сеяньто осталась на прежних кочевьях в Хангае. В 668 г. их попытка возродить свою независимость была подавлена по приказу императора Гаоцзуна тюркским отрядом.[35] Однако в 679—681 гг. сеяньто поддержали восстание тюрков в Северном Китае. Вместе с тюрками они сражались с танскими войсками в Черных песках и несли тяжелые потери.[36]

Дальнейшая история сеяньто — это история «племенного союза тюрков и сиров», в котором главенствующая роль принадлежала тюркам.[37] Сиры были верны союзу. Вместе с тюрками они восстали против помыкавших их племенами китайских управителей и стали грозными противниками Танской империи. В войске Ильтериш-кагана и Тоньюкука они мстили уйгурам за гибель сородичей в резне 646 г. Вместе с тюрками они отвоевали Отюкенскую чернь, «страну тюрков и сиров». В середине 40-х годов VIII в., после гибели государства и «племенного союза тюрков и сиров», они разделили судьбу тюрков. Но судьба названий обоих племен была различна. Этноним *тюрк* не только сохранился, но и воз-

родился как политический термин, утратив прежнюю этническую определенность. Этноним *сир* после 735 г. не упоминает ни один известный источник, но уже во второй половине VIII в. в руническом тексте и в первом арабском списке тюркских племен появляется этноним *кыбчак* ~ *хыфчак*.[38]

Ситуационная однозначность употребления этнонимов *сир* и *кывчак* ~ *кыбчак* в тюркских и уйгурском рунических памятниках, весьма близких по времени написания и полемизирующих друг с другом, свидетельствует, что оба этнонима, древний и новый, некоторое время сосуществовали и были понятны читателям текстов. Выбор названия авторами памятников, принадлежавших к двум враждебным племенным группировкам, мог быть, следовательно, либо случайным, либо мотивированным, но не зависел от хронологии памятников или разницы в этнической терминологии тюрков и уйгуров — во всех поддающихся проверке случаях такая терминология совпадает.

Очевидно, что появление нового этнического термина связано с примечательными и всем известными обстоятельствами, явилось ответом на событие, коренным образом повлиявшим на судьбу сирских племен. Таким событием, ближайшим по времени к эпохе рунических памятников, было массовое истребление сиров уйгурами и китайцами, гибель их государства и правящего рода. Естественным отражением этих событий была семантика нового племенного названия.

Нарицательное значение слова qyvčaq ~ qyƀčaq в языке древнетюрских памятников сомнений не вызывает: «неудачный», «злосчастный», «злополучный»; в устойчивом парном сочетании qyvčaq qovy ~ qyƀčaq qoƀy «пустой», «никчемный» (по значению второго компонента); ср. также однокоренное с qovy слово qovuq ~ qoƀuq с тем же значением.[39]

Семантика этнонима прозрачна и не требует сложного анализа. Труднее определить причины этнонимической субстантивации распространенного адъектива. Связано ли становление названия с изменением этнического самосознания племени, результатом чего и стал новый автоэтноним? Или старый этноним постепенно вытесняется аллоэтнонимом, то есть названием, полученным извне, из словарного обихода иной племенной группировки?

По-видимому, объяснение кроется в одной из самых универсальных особенностей религиозно-магического мышления — представлении о неразрывной связи между предметом (существом) и его названием (именем). В частности, у тюркских и монгольских народов и поныне существует некогда очень обширный класс имен-оберегов. Так, детям или взрослым обычно после смерти предыдущего ребенка или члена семьи (рода), а также после тяжелой болезни или пережитой смертельной опасности дают имя-оберег с уничижительным значением или новое охранительное имя, долженствующее ввести в заблуждение преследующие человека (семью, род) сверхъестественные силы, вызвавшие несчастье.[40]

Совершенно та же ситуация применительно к целому племени сложилась у сиров после междоусобиц и резни 646—647 гг., когда остатки прежде богатых и могущественных сирских родов с трудом отстаивали право на жизнь. Сирская легенда приписала все несчастья злобе божеств (духов), решивших извести племя. И, следовательно, надежным мог оказаться только тот путь спасения, который укрыл бы остатки сиров от мести кровожадных духов, отождествленных легендой с предками-прародителями враждебного племени — уйгуров. Средством спасения стало название племени, принятие прозвища-оберега с уничижительным значением («злосчастные», «никчемные»), возникшего скорее всего как подмена этнонима в ритуальной практике.

Политическая оценка сосуществовавших какое-то время старого этнонима и воспринявшего этнонимические функции прозвище-оберега возникла не сразу. Очевидна зависимость такой оценки от меняющейся ситуации, от соотношения сил разных племенных союзов. В возрожденном Тюркском каганате имя сиров превалировало над прозвищем. С древним этнонимом было связано право на владение коренной территорией («земли тюрков и сиров»), право на совластие. Пока сиры, знатнейшие из телеских (огузских) племен, хотя бы де-юре делили власть с тюрками, законность их господства над огузами не могла быть подвергнута сомнению.

Для уйгуров, давних соперников сиров, подмена древнего названия этого племени уничижительным прозвищем была как нельзя более кстати. Победа над тюрками рисуется уйгурскими руническими памятниками торжеством исторической справедливости и генеалогического легитимизма.[41] Но в сравнении с сирами никакого превосходства, никакого приоритета знатности князья из рода Яглакар не имели. Принятый ими каганский титул в правовых представлениях других огузских племен был по меньшей мере сомнительным. Недаром уже на самых первых порах существования Уйгурского эля разразилось грозное восстание огузов, отказавшихся признать яглакарских каганов. Предать забвению имя сиров, акцентировать их прозвище с уничижительным значением оказалось политически выгодным и необходимым, и вот в памятнике Элетмиш Бильге-кагана племя, делившее власть с тюрками, названо кывчаками.

Прошло немалое время. Были забыты и причины появления имени кывчак и его семантика, малоприемлемая для этнического самосознания. Для объяснения этнонима родилась новая легенда. Ее запечатлел многократно перерабатывавшийся эпос огузов. Огуз-каган, именующий себя «уйгурским каганом», духом-покровителем которого был «сивый волк» (kök böri), мифический предок уйгуров, дарует своим ближним бекам имена, ставшие по легенде эпонимами огузских племен. Один из беков назван Кывчак, и это имя связывается с деревом.[42] Иной вариант той же легенды, приведенный Рашид-ад-дином и повторенный Абу-л-Гази, уточняет: имя Кывчак связано с дуплистым, пустым внутри

деревом, называемым «кабук» (древнетюрк. qovuq).[43] Абу-л-Гази замечает: «На древнем тюркском языке дуплистое дерево называют кыпчак».[44] Прежнее значение слова qyḃčaq ~ qyvčaq сужается и закрепляется в понятии «пустое, дуплистое дерево». А семантический спектр более употребительного qovy, позиционно связанного с qyvčaq в устойчивом парном сочетании, напротив, получает дополнительное частное значение; ср. также у Махмуда Кашгарского: qovy jyγač «трухлявое дерево» qovy er «неудачливый человек»; quv aγač «дуплистое дерево» (Кодекс куманикус); qovuq neŋ «пустая внутри вещь» (Махмуд Кэшгарский).[45]

После победы уйгуров в 744 г. тюрки и их союзники были вытеснены из «Отюкенской страны». Северной и западной границами Уйгурского эля стали Саяны и Алтай. А за этими рубежами, на Северном Алтае и в Верхнем Прииртышье археологически фиксируется появление во второй половине VIII—первой половине IX в. усложненных вариантов древнетюркских погребений с конем, представленных большим числом памятников. Позднее, в IX—X вв., этот тип погребений получает развитие в так называемой «сросткинской культуре», приписываемой кимакам и кипчакам.[46]

Окончилась история сиров. Началась история кипчаков, одного из племен Кимакского каганата.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О кипчакской этнонимии см.: *Pritsak O.* The Polovcians and Rus. — Archivum Eurasiae Medii Aevi, Wiesbaden, 1982, t. 2, p. 321—335. Наиболее тщательный этимологический анализ этнических терминов, связанных с кипчаками, см.: *Кононов А. Н.* К этимологии этнонимов *кыпчак, куман, кумык.* — UAJ, 1976, Bd. 48, S. 159—166.

[2] *Бартольд В. В.* Кипчаки. — *Бартольд В. В.* Соч. М., 1968, т. V, с. 550.

[3] Попытка реконструировать название упомянутого Сыма Цянем (II в. до н. э.) племени цюйше как кыпчак (*Бернштам А. Н.* Древнейшие тюркские элементы в этногенезе Средней Азии. — Советская этнография, вып. VI—VII, с. 154) не оправдана фонетически (консультация С. Е. Яхонтова).

[4] *Ramstedt G. J.* Zwei uigurische Runenschriften in der Nord-Mongolei. — JSFOu, 1913, t. XXX, fasc. 3, p. 10—63; *Рамстедт Г. И.* Как был найден Селенгинский камень. — Труды Троицко-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Имп. Русского географического общества, СПб., 1914, т. IV, вып. 1, с. 34—49. До восшествия на престол герой надписи носил имя, известное по китайским источникам как Моянь-чжо, поэтому появилось еще одно название памятника — «надпись Моюн-чура». Это название, гибрид китайской транскрипции и реконструированного тюркского титула, во всех отношениях неточно и открывателем памятника не употреблялось.

[5] *Ramstedt G. J.* Zwei uigurische Runenischriften. . ., S. 13, 44.

[6] *Рамстедт Г. И.* Как был найден Селенгинский камень, с. 40.

[7] *Бартольд В. В.* Кипчаки, с. 550—551; *Pelliot P.* À propos des Comans.— JA, 1920, sér. 11, t. XV, p. 148—149; *Minorsky V.* Hudud al-ʿAlam, The regions of the world. A Persian geography 372. A. H. — 982 A. D. London, 1937, p. 315.

[8] *Кляшторный С. Г.* Эпиграфические исследования в Монголии. — В кн.: Археологические открытия 1975 года. М., 1976, с. 580.

[9] О соотношении b/v в рунических текстах см.: *Clauson G.* Turkish and Mongolian studies. London, 1962, p. 77—78.

[10] *Кляшторный С. Г.* 1) Древнетюркская надпись на каменном изваянии из Чойрэна. — Страны и народы Востока, 1980, вып. 22, кн. 2, с. 90—102; 2) Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, с. 41—42.

[11] *Hamilton J.* Toquz-oγuz et on-uyγur. — JA, 1962, t. 250, p. 39—41.

[12] *Clauson G., Tryjarski E.* The inscription at Ikhe Khushotu. — RO, 1971, t. 34, № 1, p. 22; *Tekin T.* A. grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, 1968, p. 258, 294.

[13] Имеющиеся попытки толкования слова sir в надписи Тоньюкука как адъектива были убедительно отвергнуты вслед за В. В. Радловым, И. В. Кормушиным и Д. М. Насиловым; см.: *Кормушин И. В., Насилов Д. М.* За научное глубокое изучение древнетюркских рунических памятников. — СТ, 1972, № 5, с. 141—142. После выявления того же слова в одном из Кошоцайдамских памятников и в надписи из Ихе Хушоту его семантика как этнонима уже не может быть подвергнута сомнению.

[14] *Tekin T.* A grammar of Orkhon Turkic, p. 243. Упомянутые особо племена эдизов, входившие в огузскую конфедерацию, во время восстания токузогузов в 723—724 гг. были опаснейшими врагами тюрков. Битва с ними отдельно оговорена при описании пяти решающих сражений с огузами (КТб, стк. 44—49). Внутри огузской конфедерации эдизы небезуспешно соперничали с уйгурами, а в 795 г., уже в Уйгурском каганате, на какой-то срок сменили уйгурскую династию Яглакаров. См.: *Hamilton J.* Les Ouighours á l'époque des Cinq dynasties. Paris, 1955, p. 140.

[15] *Hirth F.* Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk. — ATIM, II. F., 1899, S. 129—140.

[16] *Бартольд В. В.* Рец. на: *Chavannes E.* Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. — *Бартольд В. В.* Соч. М., 1968, т. V, с. 350—351.

[17] *Клюкин И. А.* Новые данные о племени тардушей и толисов. — Вестник Дальневосточного отделения АН СССР, 1932, № 1—2, с. 91—98.

[18] *Boodberg P. A.* Three notes on the T'u-chüeh (Turks). — Publications in Semitic Philology University of California, Berkeley, 1951, t. XI, p. 5—7.

[19] *Pulleyblank E.* Some remarks on the Toquz-oghuz problem. — UAJ, 1956, Bd. 28, S. 35—37; *Czeglédy K.* Coghay-quzi, Qara-qum, Kök-Öng. — AOH, 1962, t. XV, fasc. 1—3, p. 66.

[20] Переводы разделов из китайских источников, касающиеся сеяньто см.: *Бичурин Н. Я.* Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950, т. 1, с. 339—343; *Кюнер Н. В.* Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961, с. 41—48; *Chavannes E.* Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. SPb., 1903, p. 94—96; *Liu Mau-tsai.* Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-küe). Wiesbaden, 1958, S. 354—358. Изложение и интерпретацию сведений китайских источников см. также: *Позднеев Д.* Исторический очерк уйгуров. СПб., 1899, с. 53—62; *Малявкин А. Г.* 1) Историческая география Центральной Азии: (Материалы и исследования). Новосибирск, 1981, с. 8, 95—96, 102, 109; 2) Тактика Танского государства в борьбе за гегемонию в восточной части Центральной Азии. — В кн.: Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980, с. 112—114. Реконструкция имени правящего рода сеяньто принадлежит С. Е. Яхонтову.

[21] *Liu Mau-tsai.* Die chinesische Nachrichten, S. 354.

[22] *Hirth F.* Nachworte. . ., p. 134.

[23] *Chavannes E.* Documents. . ., p. 89, 95—96; *Liu Mau-tsai.* Die chinesischen Nachrichten, S. 354.

[24] *Hirth F.* Nachworte. . ., S. 136—137; *Czeglédy K.* Coghay-quzi. . ., p. 65—66.

[25] *Czeglédy K.* Zur Stammesorganisation der türkischen Völker. — AOH, 1982, t. 36, S. 90—91.

[26] *Малявкин А. Г.* (Тактика Танского государства. . ., с. 112) полагает, что союз уйгуров с сеяньто в 630—646 гг. «был прочным».

[27] *Liu Mau-tsai.* Die chinesischen Nachrichten, S. 355.

[28] *Бичурин Н. Я.* Собрание сведений, т. 1, с. 354.

[29] *Czeglédy K.* Coghay-quzi. . ., p. 65—66.

[30] *Кюнер Н. В.* Китайские известия, с. 37.

[31] *Бичурин Н. Я.* Собрание сведений, т. 1, с. 343.

[32] Один из вариантов легенды со значительными искажениями, изложен Д. Позднеевым (Исторический очерк уйгуров, с. 58—60).

[33] Синь Таншу, 217б (в переводе С. Е. Яхонтова). Иные варианты сохранились в сунских энциклопедиях X в. Тайпин гуан цзи и Тайпин юй лань.

[34] *Liu Mau-tsai.* Die chinesischen Nachrichten, S. 263.

[35] *Малявкин А. Г.* Тактика Танского государства. . ., с. 114.

[36] *Бичурин Н. Я.* Собрание сведений, т. 1, с. 266; *Liu Mau-tsai.* Die chinesischen Nachrichten, S. 211.

[37] Г. Е. Грумм-Гржимайло, в целом принявший отождествление сеяньто / сир-тардуши, тем не менее правильно объяснил, каким образом возникло имя сиров в тюркском памятнике: «. . . сиры. . . могли добровольно примкнуть к нему (Кутлугу, Ильтериш-кагану, — *С. К.*) и образовать вместе с турецкими элементами ту основную массу новых турок, о которой надпись в честь Тоньюкука говорит „турк сир будун" — термин, который иначе не имел бы объяснения» (*Грумм-Гржимайло Г. Е.* Западная Монголия и Урянхайский край. Л., 1926, т. II, с. 284).

[38] О датировке списка тюркских племен у Ибн Хордадбека восьмым веком см., например: *Волин С.* Извлечения из «Китаб ал-месалик ва-л-мемалик» Ибн Хордадбеха. — Материалы по истории туркмен и Туркмении, М.; Л., 1939, т. I, с. 144, примеч. 1; В. И. Беляев относит сведения Ибн Хордадбеха к концу VIII—началу IX в. (*Беляев В. И.* Арабские источники по истории туркмен и Туркмении IX—XIII вв. — Там же, с. 18).

[39] ДТС, с. 449, 451, 462, s. v. qïvčaq, qovï, qovuq; *Clauson G.* An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford, 1972, p. 581, 583, s. v. kovi, kivçak, kovuk.

[40] См., например: *Жанузаков Т. Ж.* Обычаи и традиции казахской антропонимии. — В кн.: Этнография имен. М., 1971, с. 101—102; *Шатинова Н. И.* К истории алтайских имен. — Там же, с. 67; *Банчиков Г. Г.* Брак и семья у монголов. Улан-Удэ, 1964, с. 44; *Жуковская Н. Л.* Заметки о монгольской антропонимии. — В кн.: Ономастика Востока. М., 1980, с. 14; *Сельвина Р. Л.* Калмыцкие личные имена. — В кн.: Этническая ономастика. М., 1984, с. 88.

[41] В историографических разделах уйгурских Терхинской и Тэсинской надписей не раз отмечается, что уйгурское государство, возникшее в 744 г., возродило уже ранее существовавшие государственные традиции уйгуров. Согласно Терхинской надписи, титул «каган» не присвоен правящим родом уйгуров самозванно, а унаследован ими от предков. См.: *Кляшторный С. Г.* 1) Терхинская надпись. — СТ, 1980, № 3, с. 82—95; 2) Тэсинская стела. — СТ, 1983, № 6, с. 76—90.

[42] *Щербак А. М.* Огуз-нāме. Мухаббат-нāме. Памятники древнеуйгурской и староузбекской письменности. М., 1959, с. 33, 38—39, 45—46.

[43] Рашид-ад-дин. Сборник летописей. М.; Л., 1952, т. 1, кн. 1, с. 84.

[44] *Кононов А. Н.* Родословная туркмен: Сочинение Абу-л-Гази, хана Хивинского. М.; Л., 1958, с. 43, 86—87, примеч. 46.

[45] *Clauson G.* An Etymological Dictionary, p. 581, 583.

[46] Археология СССР: Степи Евразии в эпоху средневековья М., 1981, с. 43—44; *Савинов Д. Г.* Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984, с. 103—118; *Ахинжанов С. М., Трифонов Ю. И.* К происхождению и этнической атрибуции погребальных памятников Верхнего Прииртышья XIII—X вв. — В кн.: Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1984, с. 156—181. О кипчаках в составе киманского племенного союза см.: *Кумеков Б. Е.* Государство кимаков IX—XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972, с. 42—44.

И. В. Кормушин

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЫСКАНИЯ В ОБЛАСТИ ЕНИСЕЙСКОЙ РУНИКИ

(К ВОПРОСУ О ЖЕНСКИХ ПОМИНАЛЬНЫХ НАДПИСЯХ)

В тюркской рунологии хорошо известно, что енисейские эпитафии заметно отличаются от надписей Монголии. Если «царские», по выражению А. Н. Кононова,[1] поминальные тексты в честь каганов и их высших сановников значительны по объему и разнообразны по содержанию, хотя и несут на себе печать определенной однотипности текстовой организации, то в сравнении с ними надписи из Тувы и Хакасии, посвященные памяти провинциальных правителей и их приближенных, более коротки, иногда лапидарны, а ввиду этого оказываются и более однородными, в целом ряде случаев достаточно однообразными.

Это обстоятельство было отмечено уже В. В. Радловым (напомним, первым прочитавшим и осмыслившим енисейские памятники), который квалифицировал их содержание как «аналогичное». «В них, — писал он, — покойный чаще всего от своего лица сетует на то, что он отделился от своих родных, князей, друзей, подданных и своего имущества и не может больше быть с ними, называет своих родителей, свое имя и положение и сообщает некоторые данные из своей жизни».[2] Важно при этом, что каждому содержательному элементу эпитафии — как названным выше, так и еще нескольким другим — соответствует ограниченный набор словесных клише, что делает надпись по способу языкового выражения в значительной мере трафаретной.

Трафаретность енисейских надписей (при том, что многие из них небольшого объема) оборачивается не только ничтожной величиной языкового материала (В. В. Радлов), но и таким своеобразным положением, когда прочтение и понимание любого необычного слова при общей краткости контекста оказывается делом весьма трудным, часто основанным лишь на интуиции, а потому не до конца убедительным. То же самое можно сказать и об извлечении какого-либо нетрадиционного содержания из понятного, казалось бы, вплоть до деталей, хорошо читаемого, грамматически и лексически связного текста. Настоящая статья является некоторой иллюстрацией к данным положениям.

Обратимся к шестому енисейскому памятнику (Барык II), одному из наиболее благополучных как по полноте сохранности, так и по ясности в лексико-грамматическом отношении.

Транслитерация [3] текста:

(1) künİ tİr^{i}g ⁚ üČ j^{a}Š^{ï}MdA ⁚ q^{a}ŋŚIZ ⁚ bʊld^{ï}M

(2) külüg ⁚ tʊt^{ʊ}q ⁚ IČ^{i}M kIŠI ⁚ qÏldï

(3) bʊŋʊŚʊZ ⁚ ^{ä}rdÄ ⁚ b^{ä}n ⁚ ^{ä}rd[^{i}M]

(4) qʊjd^{a}qI qʊNČ^{ʊ}j^{ï}MγA ^{a}d^{ï}r^{ï}ld^{i}M ⁚ ^{a}P^{a}MA

Перевод В. В. Радлова: (1) 'Когда я был трех лет (или: когда я, Кюни-тириг, был трех лет), я остался без отца, (2) мой старший брат Кюлюг-Тутук воспитал меня (zog mich auf), (3) от моих Кунчуй, живущих в Куй, я отделился'.[4]

В «Атласе» и в «Древнетюркских надписях Монголии» В. В. Радлова третья строчка оригинального текста оказалась выпущенной. В издании С. Е. Малова полнота текста была восстановлена.

Перевод С. Е. Малова: (1) 'Я, Кюни тириг, в три года оказался без отца. (2) Мой брат, известный тутук, сделал меня человеком (воспитал меня). (3) Среди беспечальных мужей я был (или: прежде я был без горя). (4) Я отделился (умер) от находящихся в тереме моих принцесс и от старших сестер'.[5]

Как видим, за исключением того, что ко времени создания этого перевода уже стало известно содержание выражения qujda qunčujym, а также ликвидации пропуска, радловское понимание грамматического строения текста здесь полностью сохранено. На первый взгляд такое понимание и не должно вызывать каких-либо сомнений. Однако обратимся к более детальному разбору текста надписи и отдельных его мест.

Первая строка. Смысл ее однозначен: сообщается, что лицо, обозначенное здесь как Кюни-тириг, в три года осталось без отца. Однако в грамматическом плане фраза не звучит гладко по-тюркски, если ее воспринимать как одно предложение. При личной форме глагола 1-го (а также 2-го) лица ед. (и мн.) числа подлежащее может быть представлено только соответствующим местоимением, имя же собственное Кюни-тириг (как и любое имя собственное или нарицательное) имеет грамматический статус 3-го лица ед. числа, а значит, не является подлежащим при данной глагольной форме. Обращение к аналогичным пассажам других памятников подсказывает, что в данном месте исследуемого текста оказались сведенными в одну фразу два самостоятельных и грамматически (по синтаксическому лицу) неодинаковых предложения, т. е. следовало бы *küni tirig bän. üč jašymda qaŋsyz boldym. Примеры такой более полной синтаксической структуры дают нам тексты Е 1, 3, 11, 14—16, 19, 37, 44 и др. Однако есть примеры, когда bän в предикативной позиции опускается, причем это имеет место и в двух других памятниках с Барыка (Е 5, 7), а также в Е 17, 45 и др. Думается все же, что в подобных случаях слияния двух синтагм в единую фразу не проис-

ходило, поэтому представляется более правильным синтагму с именем собственным грамматически обособлять, т. е. читать: '[Я] — Кюни-тириг. В три года. . .' (и т. д.)

Вторая строка. Слово ičim воспринималось переводчиками как термин родства в роли приложения к имени собственному (с титулом) Кюлюг-тутук. Однако это решительно противоречит синтаксису подобных оборотов в тюркских языках, в которых термин родства всегда занимает препозицию по отношению к слову, которому оно служит определением-приложением и которое может быть выражено именем собственным, титулом, названием профессии и т. п., ср.: inim kül tegin 'мой младший брат Кюль-тегин', ečüm qaγan 'мой младший (младше отца) дядя каган'. Следовательно, либо слово ičim, либо конструкция фразы нуждается в иной интерпретации. Словосочетание из второй строки kiši qyldy понималось в переводах как прозрачная идиома: «сделал человеком» > «воспитал», «вырастил». Нет ли здесь натяжки? Сделать человеком обычно — дать положение, образование, перевести в более значимый статус взрослого или взрослеющего человека, но все же не вырастить сызмальства. И не осовремениваем ли мы таким образом содержание текста, существовали ли отражаемые подобным фразеологизмом этические представления, возникающие на иных ступенях общественного развития?

Новый поворот в осмыслении содержания как данной фразы, так и всего текста может дать понимание здесь слова kiši в значении 'женщина', 'жена', широко распространенном в древнеуйгурском языке. В енисейских текстах весьма показательно для подобной семантики употребление этого слова в памятнике № 18, где оно встретилось в сочетании со словом qujda на месте обычно применяемого в данной формуле слова qunčujym, т. е.: . . . qujda kišim-ä . . . ($E18_3$). Однако в двух других случаях — в текстах E46 и E11 kiši не является синонимом, равноценной заменой слова qunčuj.

В первой строке надписи с р. Тэле покойный сожалеет о своем эле (государстве) и своей супруге (или: своих супругах) в женских покоях: elim. . . qujda qunčujum. . . ($E46_1$). В третьей строке данного текста первые два слова вместо äldä äkišim 'в государстве мои копи (шахты)', как прочитано у С. Е. Малова,[6] следует читать: äldä kišim 'в непочетном месте (противоположном почетному) мои наложницы' (для значения первого слова см.: ДТС, с. 169, статья el II). Здесь kiši перечисляется в контексте с живым имуществом — скотом, поэтому и должно быть уверенно переведено как 'жена незнатная, ниже по положению, чем qunčuj', т. е. наложница.

Данное словосочетание и, что важно, в подобном же контексте встречается в надписи с р. Бегре: . . . eldä kiši qazγandym (E11) '. . . в (китайском) государстве (и) людей (жену?) я приобрел'.[7] Замечательно, что С. Е. Малов уже догадывался о значении в таком контексте слова kiši, давая его как возможное под вопросом, однако окончательно правильному истолкованию мешало понимание слова el как «государство», отсюда предположение и об

иностранном государстве, что в свете нашего толкования совершенно излишне.

Пример из текста № 11 дает определенное указание на формульный характер словосочетания eldä kiši: синтаксическая конструкция определение-имя в местн. пад. + определяемое-имя «более удобна» в функции вокативного члена (как в Е 46) или субъекта, но здесь, в надписи с Бегре, данная синтагма находится в «менее удобной» для подобной конструкции позиции дополнения, что свидетельствует об известной устойчивости данного словосочетания. Нахождение же этой формулы в конце повествования (в рассказе о военной добыче в результате удачного похода на табгачского хана) вне связи с супругой (супругами), родными и близкими мемориanта, упомянутыми в первых строках (аналогично тексту Е 46), не оставляет сомнений в предполагаемом значении, так что перевод цитированного предложения из Е 11 следует исправить на: '. . . наложниц для гарема я приобрел'.

Следует оговориться, что указанное значение слова kiši, очевидно, не является одинаковым и неизменным для всей енисеики (положение это, вероятно, действительно и в отношении целого ряда других терминов и формульных выражений), но в памятниках Е 11 и Е 46, с учетом контекста, выводится именно такое. Если допустить теперь, что и в Е 6 слово kiši означает наложницу (или жену), тогда перевод 1-го, 2-го, 4-го, 5-го слов этой строки составит: 'Кюлюг-тутук (или: тутук [чин] по имени Кюлюг) сделал меня женой'; перевод слова ičim не представляется ясным, см. об этом ниже.

Третья строка. Прежний ее перевод грамматически натянут, так как ärdä означает не 'среди мужей', а просто 'у мужа (мужей)'. Смысл фразы станет определеннее, поскольку слово är теперь будет относиться к Кюлюг-тутуку. Слово buŋusuz может пониматься как определение к är, однако вероятнее, что это — вынесенное вперед припредикативное определение (прямой порядок слов должен быть *bän ärdä buŋusuz ärdim), следовательно, фразу нужно читать так: 'беспечальной у [этого] мужа я была'. Такой перевод больше соответствует духу многих — и не только енисейских — эпитафий, где обязательно наряду с деяниями покойного в благожелательном, верноподданническом смысле упоминается его сюзерен или покровитель. Если данная эпитафия действительно составлена от имени женщины, то отсутствие пассажа о прижизненных деяниях понятно, функционально его как раз и заменяет третья строка, очерчивающая в целом благополучную жизнь героини; при этом в социальном плане важно, даже, можно сказать, более важно, указание на властителя как на источник такого благополучия.

Четвертая строка. Традиционная формула «отделения от супруги ~ супруг» уместна прежде всего, конечно, в устах мужчины. Однако заключительное слово надписи apama явно не сочетается с остальным текстом строки при такой трактовке. Перевод С. Е. Малова '. . .и от старших сестер' не может

быть принят, потому что apama — вокативная форма (apama-a 'о, моя старшая сестра'), а не дательный падеж, это наглядно демонстрирует рядом стоящее qunčujymγa. Если же считать, что с гаремом прощается одна из младших жен (resp. наложниц), тогда вокативная форма apama вполне оправданна, поскольку слово apa служит в тюркских языках для вежливого обращения как к старшим родственницам, так и вообще к женщинам старше себя, с которыми в родстве не состоят. Кстати, из лиц женского пола при прощании покойного упоминается жена (жены), иногда — дочери, но старшие сестры в надписях не фигурируют. С. Е. Малов сомневался в понимании данного места, выразив это знаком вопроса, но не в переводе при тексте, а в глоссарии.[8]

Еще один довод в пользу развиваемых положений вытекает из взаиморасположения строк 3 и 4. Сожаления по поводу расставания с супругой в надписях всегда следуют раньше упоминания «мужей», под которыми имеются в виду дружинники и другие знатные и благородные воины, люди отнюдь не близкие. В Е 6 при прежней трактовке данная последовательность была бы нарушена; однако при предлагаемом понимании подобная особенность построения текста оказывается оправданной: более близкой и важной фигурой является муж, а затем уже идут старшие жены, возможно, с особым упоминанием самой старшей жены.

Важное свидетельство, на наш взгляд, заключается в имени мемориантa — Кюни-тириг. В нарицательном смысле слово küni, зафиксированное Махмудом Кашгарским, поразительно отвечает семантике женского имени. Переводы соответствующего места из «Дивана» все разные, ср.: а) жены одного мужа по отношению друг к другу (МК III 237 по турецкому изданию Бесима Аталая); б) положение одной наложницы по отношению к другой (ДТС, с. 327); в) вторая жена (в узбекском издании С. Муталлибова); г) соперница-жена (в переводе Т. А. Боровковой в «Словаре-индексе» узбекского издания). Общим в приведенных толкованиях — это можно сказать определенно — является то, что данное слово служит наименованием жен (жены) в полигамной семье, что вполне согласуется с нашим пониманием текста Е 6.

Вторая составляющая имени тоже, по всей видимости, указывает, с одной стороны, на принадлежность имени женскому ономастикону, с другой — на определенное общественное положение именуемой. Косвенным подтверждением этому служат некоторые употребления данного слова. Так, в единственном со словом tirig месте в памятнике в честь Кюль-тегина оно употреблено исключительно в «женском» контексте: kül tigin. . . orduγ birmädi ögim qatun ulaju öglärim äkälärim käliŋünim qunčujlarym bunča jämä tirigi küŋ boltačy ärti ölügi jurtda jolta jatu qaltačy ärtigiz ($КТ_{48-49}$) 'Кюль-тегин. . . не отдал становища (ставки). Моя мать-катун, мои матери (другие жены отца), мои тети (жены брата отца), мои невестки, мои жены, — все вы, кто [остался бы] в живых — стали бы рабынями, а кто умер — валялись бы по дорогам'.

В «Легенде об Огуз-кагане», памятнике карлукско-уйгурском в своей основе, несмотря на заметное число огузских вкраплений,[9] дважды употребляется tirig barγu 'живая добыча' в противопоставлении ölüg barγu 'неживая добыча, добро' (ЛОК 19—20, 31).[10] Возможно, tirig относится здесь к пленникам обоего пола, однако не исключено, что брали и уводили в полон лишь женщин.

Во всяком случае по обоим примерам (КТ и ЛОК) с большой долей вероятности можно предполагать у слова tirig коннотацию «пленник» или даже «пленная женщина».

На основании семантики слов, составляющих собственное имя мемориaнта надписи Е 6 (семантики не до конца, впрочем, ясной), а также остального текста можно выдвинуть следующее, но, естественно, весьма гипотетическое истолкование жизненного пути Кюни-тириг. Став одной из жен (наложницей) сановника, имевшего значительный титул тутука (военного правителя области, см. ДТС, с. 593), эта женщина добилась какого-то особого положения, чтобы быть отмеченной поминальной надписью. В начале эпитафии Кюни-тириг говорит, что в три года она осталась без отца. Это, между прочим, твердо указывает на ее принадлежность к феодальному сословию: только в таком случае смерть отца являлась особенно ощутимой потерей для семьи, поскольку ее феодальное владение, и, главным образом, социальное положение (старшинство в роде, фратрии, племени и т. п.) становились добычей других алчных и бесцеремонных феодалов. Кюни-тириг, видимо, еще маленькой была взята в дом тутука: на это помимо семантики ее имени каким-то образом, как нам кажется, указывает непереведенное слово ičim во второй строке, которое надо понимать как определение к слову kiši в приблизительном значении 'своя, из дома, из свиты, не со стороны' (если только оно не значит гораздо большее — 'приближенная, доверенная, любимая').

С учетом предложенных истолкований перевод текста памятника Е 6 выглядит следующим образом.

(1) '[Я] — Кюни-тириг. В три года я осталась без отца. (2) Военный правитель Кюлюг сделал [меня] своей женой. (3) Беспечальной была я у [этого] мужа. (4) От моих ханш, что в гареме, я отделилась. О, моя старшая [~моя госпожа]!'

Как минимум, еще одна енисейская эпитафия в свете предпринятых разысканий должна быть отнесена к женским поминальным надписям. Это короткий текст из двух строк на восьмом памятнике с р. Чаа-Холь (Е 20):

(1) tört ʊγlʊm b^{a}r üČ^{ü}n : b^{ä}ŋküm^{i}n t[İktİ] // (2) köl^{ü}g ^{a}PA b^{ä}n :

Перевод: '(1) Из-за того что у меня четверо сыновей, водрузили мой памятник. (2) Я — Кюлюг-апа'.

В грамматическом отношении текст абсолютно ясен; лексически же предлагаемый перевод отличается от перевода С. Е. Малова иной интерпретацией только одного слова — ара. Вторую строку С. Е. Малов расшифровал так: «Я именитый отец»;[11] в нашем понимании она означает, что мемориант — женщина, при-

чем немолодая, и это передается прибавлением в постпозиции к имени собственному приложения-гонорификатора, в роли которого выступает родственный термин ара (в собственном значении термины родства, как уже упоминалось, выступают в препозиции). В сравнении с надписью Е 6 в настоящей речь идет, вероятнее всего, о собственно старшей жене феодала, дети которой имели наибольшие права.

Отнесенность надписи к женщине делает понятным не только краткость текста,[12] но и его содержание, а именно мотивацию установки памятника («из-за того, что у меня есть четверо сыновей»), не встречавшуюся в других енисейских текстах: поминальные надписи в честь мужчин высекались в знак их заслуг и высокого положения; здесь же единственным основанием послужило, по-видимому, высокое положение сыновей чаахольской матроны. Из последнего вытекает, впрочем, и то, что ко времени своей кончины она была уже вдовой.

Женские поминальные надписи, судя по всему, редкий жанр в енисейской рунике. Тем не менее эти тексты при скрупулезном анализе способны дать ценный исторический материал.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980, с. 11.

[2] *Radloff W.* Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei. St.-Pb., 1894—1895, S. 300; *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв., с. 3.

[3] Запись текста в «интерпретирующей транслитерации» основана на наших предложениях (*Кормушин И. В.* К основным понятиям тюркской рунической палеографии. — СТ, 1975, № 2, с. 34—36), высказанных в обобщение и развитие практики, сложившейся в тюркологии. Постоянное применение цифровой индексации для указания на рядность согласных, как это сделано, на наш взгляд, неудачно в издании Д. Д. Васильева (Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л., 1983), затрудняет восприятие текста. По-видимому, «целесообразно сохранять в транслитерации, как это делал С. Е. Малов, указание на ряд согласных в случаях совмещения знаков обоих рядов в одном слове, а также в некоторых других случаях, когда может возникнуть неясное представление об оригинальном написании» (*Кормушин И. В.* К основным понятиям тюркской рунической палеографии, с. 35). В качестве некоторых изменений, вызванных особенностями передачи сибилянтов в данном памятнике, мы вынуждены ввести обозначение здесь руны Ү знаком Š, а руны ⋀ — знаком Ṡ.

[4] *Radloff W.* Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei, S. 309.

[5] *Малов С. Е.* Енисейская письменность тюрков: Тексты и переводы. М., Л., 1952, с. 21—22.

[6] Там же, с. 83.

[7] Там же, с. 29.

[8] Там же, с. 102.

[9] *Щербак А. М.* Огуз-нāме. Муḫаббат-нāме: Памятники древнеуйгурской и староузбекской письменности. М., 1959, с. 101—107.

[10] Там же, с. 40—41, 52.

[11] *Малов С. Е.* Енисейская письменность тюрков, с. 42.

[12] Места на стеле хватило бы для более пространного текста, см. экспликацию памятника в кн.: *Васильев Д. Д.* Корпус. . ., с. 22.

А. Е. Мартынцев

К ПРОБЛЕМЕ «РИТМ И МЕТР» В ТЮРКОЯЗЫЧНОМ КЛАССИЧЕСКОМ СТИХОСЛОЖЕНИИ

В современном стиховедении определенное распространение получило представление о противоречии между ритмом и метром. Высказанное А. Белым мнение, что метр реализуется в стихе в форме своих ритмических подвидов,[1] послужило отправной точкой для тех исследований в области теории стиха, в которых ритм противопоставляется метру в плане вариант—инвариантная модель или эталон.[2]

Такое противопоставление не представляется плодотворным, так как оба термина интерпретируют явления одного порядка и взгляд на ритм как на нечто, противоположенное метру, по существу сводит вопрос к элементам, не участвующим в реализации метра, но создающим его различные варианты путем нарушения урегулированности поэтического текста. Однако, поскольку в стихе тенденция к упорядоченности является преобладающей [3] и упорядоченность лежит в основе ритма (или метра), объективно существующие разновидности метра, по-видимому, не дают оснований говорить о конфликте внутри метро-ритмической структуры.

Надо сказать, что противопоставление ритма и метра вызывало и продолжает вызывать возражения.

Б. П. Гончаров, например, пишет: «Мы должны анализировать стих поэта как объективную данность, и наша задача — вскрывать объективные закономерности этой данности, не входя в дискуссию о такой трактовке, которая покидает пределы реальности поэтического материала».[4] Сходную точку зрения высказывал также Б. Я. Бухштаб.[5]

Подобная позиция не может вызывать возражения, когда речь идет о тоническом стихе, или vers libre. Но при рассмотрении классического тюркоязычного стиха, видимо, нельзя игнорировать метрические схемы. Эмпирическая реальность сильных слогов в стихе урегулирована с установкой на определенный размер, который, находясь вне стихового материала и «объективно не существуя», объединяет варианты абстрактного метра.

Для рассмотрения тюркоязычного классического стиха, вероятно, наиболее приемлемой является точка зрения Б. В. То-

машевского, который отмечал отсутствие тождества между реальным стихом и метром, но указал реальный путь их сближения — скандовку, которая, по его мнению «обнаруживает вложенный в стихи закон их построения».[6]

В пользу неоднократно подвергавшегося критике [7] положения Б. В. Томашевского о скандировании привел ряд убедительных доводов Ю. М. Лотман, по мнению которого принцип скандирования подтверждает реальность метрической схемы и конкретизирует отношение между текстом и системой.[8]

Для выявления метрической конструкции, вероятно, необходимо иметь в тексте определенные показатели системы. По-видимому, именно недостаток таких показателей с точки зрения исследователей тюркского аруза объясняет общее для теоретических изысканий в области классического стиха стремление обнаружить элементы языка, которые обладали бы ритмообразующей способностью. Это связано также с традиционным представлением относительно обязательной зависимости системы метров от фонологической базы языка.[9]

В последнее время получило распространение предположение Х. Усманова, что в организации ритма тюркского аруза значительную роль играет безударный открытый слог.[10] Усматривая закономерность в появлении в тексте открытых слогов, которые, кстати, обнаружил Т. Ганджеи и считал их чередование случайным,[11] Х. Усманов приходит к выводу об общем происхождении аруза и бармака. Теория Х. Усманова представляется не совсем убедительной. Обнаружив слабое время стиха («ритмически открытый слог»), он не сумел достаточно четко показать его антипод — сильный, закрытый слог. Х. Усманов считает, что наличие безударного открытого слога создает условия для развития ритмического ударения, так же как словораздел создает условия для выделенности синтагматического ударения.[12] Но если Х. Усманов имеет в виду икт, т. е. слог, на который падает ритмическое ударение, то, по-видимому, он должен был бы показать его место в стопе. Однако Х. Усманов говорит о «волне ритмических ударений», т. е. без всяких причин вводит в систему ритмообразования классического тюркского стиха надсегментные признаки. Известно также, что в тюркском арузе, особенно в ранний период, использовались преимущественно метры рамал, хазадж, раджаз, основные формы которых имели по три долгих и одному краткому слогу. И в подобных размерах «волна ритмических ударений» — это необходимые по метру долготы.

Таким образом, Х. Усманову пока не удалось показать процесс ритмообразования в тюркском арузе, а обнаруженную им закономерность в появлении открытого слога можно, видимо, считать лишь одной из особенностей фоники тюркского стиха. Хотелось бы подчеркнуть, что рассмотрение фонетически открытых или закрытых слогов как возможную фонологическую базу ритма классического стиха, вероятно, не принесет положительных результа-

тов: известно, что если и возможно количественное противопоставление тюркских слов, то оно будет обратно их назначению в метрике, т. е. открытый слог обладает большей длительностью, чем закрытый.[13]

Существует еще одна попытка объяснить процесс ритмообразования с помощью данных о тюркском ударении. И. В. Стеблева, видимо, по аналогии с русской классической поэзией предприняла попытку показать, что долгие по метру слоги совмещаются с ударными.[14] Однако вопрос о месте и природе ударения в тюркских языках не получил еще окончательного разрешения, [15] и потому построения схемы ритма с привлечением данных об ударности будут носить весьма спорный характер.

Предположение И. В. Стеблевой кажется малоубедительным и с точки зрения стиховедения. Ей удается показать лишь один сильный слог, и, таким образом, схема ритма остается нераскрытой. Кроме того, согласно широко распространенному мнению, в основу ритма может лечь только существенный («заметный») фонетический признак,[16] и актуализация слабовыраженного тюркского ударения в системе метров, где ударность не играет существенной роли, представляется сомнительной.

К несколько неожиданным выводам приходит казанский исследователь М. Х. Бакиров, который считает, что фонетические особенности тюркских языков вполне соответствуют нормам арабо-персидской поэзии.[17] Справедливо указав, что при рассмотрении метров аруза следует ориентироваться не только на количественные характеристики слогов, но и на их структуру, М. Х. Бакиров на основании не вполне корректного эксперимента, заключающегося в чтении стихов информантами, знакомыми с арузом, приходит к выводу о наличии долгот. . . в тюркских стихах.[18] Однако квантитативность тюркского аруза и прежде не вызывала сомнений и не нуждалась в подтверждении экспериментальным путем. Речь должна идти не об условных долготах, которые связаны с особенностями чтения стихов, а о долготе—краткости как дифференцирующем признаке тюркских слогов, т. е. при попытках найти в языке базу для метров аруза следует ориентироваться не на функцию слога, а на его языковую реальность.

В современном стиховедении наблюдается также подход, не связывающий непосредственно особенности языка с выбором системы ритмообразования.

Р. Якобсон, например, считал, что существование той или иной системы стихосложения объясняется явлениями, лежащими за пределами фонетики данного языка, поскольку индифферентность обыденной речи к ритму не позволяет приписывать определенному просодическому элементу языка большую или меньшую потенцию к ритмообразованию.[19] Есть также мнение, что система стихосложения соотносится со стилем, а не с особенностями языка.[20]

Достаточно очевидно, что привлечение в тюркоязычную поэзию

метров аруза обусловлено факторами, лежащими за пределами языка и связано с присоединением тюркских народов к мусульманскому культурному ареалу. Что же касается освоения арабо-персидской системы стихосложения и высокой поэтической техники, которой достигли тюркоязычные классические поэты Навои, Бабур, Месихи, Баки и многие другие, то объяснение этому, видимо, следует искать не в особенностях языка, а в принципах данной системы стихосложения.

Арабо-персидское учение о метрах строится на графической основе, и различные допущения и условности позволяют один и тот же слог рассматривать в зависимости от требований метра как открытый или закрытый, т. е. краткий или долгий. Эта особенность тюркского аруза распространяется прежде всего на фонетически открытый слог, за которым в стихе не закреплена раз и навсегда определенная роль.[21]

То же, но в меньшей степени относится к закрытому слогу, который в позициях на конце слова в случае, если следующее слово начинается с гласного за счет отнесения конечного согласного к этому гласному может выступать как краткий слог.[22] (Это явление было характерно и для античного стихосложения. См: *Тронский И. М.* Историческая грамматика латинского языка. М., 1960, с. 60).

Таким образом, можно полагать, что слог как фонетическая единица не обладает в тюркском классическом стихе способностью ритмообразования и выступает как элемент ритма лишь при взаимодействии через скандирование с конкретной метрической схемой. При этом отнощения между текстом и метром тем отдаленнее и более условны, чем меньше в стихе сигналов его поэтической принадлежности. Это положение можно пояснить на следующем примере:

توغاردين اسا كلدى اونكدون يـلى
اژون ايتكوكا اجتى اشتماق يولى

С Востока подул весенний ветер,
Для украшения вселенной он открыл дорогу в рай.

(Кутадгу билиг. Копия каирской рукописи Собрание ЛО ИВ АН. 12, бейт 63)

Для воспроизведения размера (усеченный мутаḳāриб) открытые слоги в зависимости от метрической позиции должны выполнять различные функции даже в пределах одного бейта, т. е. действует правило, согласно которому буквы ا, و и ى могут выступать и как огласовки, и как буквы.

В обоих полустишиях 5-й и 11-й слоги являются открытыми, но занимают в стопе сильную позицию. В то же время слоги того же типа (согласный+выписанный гласный) выступают на месте кратких слогов: 1-й и 6-й в первом полустишии, 7-й и 10-й — во втором.

Таким образом, даже графическое выражение ритма в стихе весьма условно, и в чередовании сильных и слабых (открытых и

закрытых) слогов можно проследить закономерность лишь при наложении метрической схемы, которая определяет функцию каждого слога. Эта особенность тюркского аруза прослеживается от ранних образцов на всем протяжении развития тюркоязычной классической поэзии, но фактически открытые слоги с выписанным гласным чаще бывают долгими, что дает несколько больше данных для сближения текста с метрическим конструктом.

Sakî samani agsü mëyi hosgüvardir
Bir kač piyale nusedelim nevbehardir.

Кравчий, сейчас время веселья и вина,
Выпьем же несколько чарок, ведь весна.

(Махмуд Абдал Баки. — См.: Köprülüsade Mehmed Fuad. Eski sairlerimiz Divan edebiyatı antolojisi. Istanbul, 1934, s. 339)

Размер: Mustaf'ilātun, mustaf'ilātun, fa'ūlun.

В приведенном бейте лишь в одном случае согласный с выписанным гласным (восьмой слог второго полустишия) выступает в качестве краткого слога. В остальных случаях согласный с выписанным гласным находится в сильной позиции.

Bir nefes dîdar ičün bin can feda etsem nola
Nîce demlerdik esîrî istiyakkidir gönül.

А если я пожертвую тысячи жизней за одну мгновенную встречу.
Сердце, как долго длится неземное томление,

(Там же, с. 443)

Метр: fâ'ilâtun, fâ'ilâtun, fâ'ilätun, fâ'ilün.

Здесь в слабой позиции находятся два открытых слога с выписанным гласным (6-й в первом полустишии и 14-й — во втором).

По-видимому, при закреплении аруза в эстетическом опыте тюркоязычных народов и по мере освоения заимствованных размеров противоречие между текстом и метром сглаживалось за счет графической урегулированности стиха. Можно предположить также, что актуализация графического уровня в стихе способствовала закреплению за слогами определенного графического типа постоянной ритмической функции, поскольку процесс установления тождества между текстом и моделью в принципе должен всегда иметь один и тот же характер, то есть быть связан со скандированием.

Однако в первоначальный период использования арабо-персидского стихосложения противоречие между текстом и метрической схемой и невыразительность ритмического рисунка стиха, вероятно, довольно отчетливо ощущались, о чем свидетельствуют дополнительные ритмические средства, которые вводили в стихи тюркоязычные поэты эпохи освоения аруза. Необходимо отметить, что обычно это делалось в произведениях, написанных многостопными размерами, которые, видимо, воспринимались как монотонные ряды. Например:

Bän jürüräm jana jana
'ašq bojady bäni qana
Nä āqylam nä divāna
Gäl gör bäni ašq näjlädi.

Я брожу, страдая и сокрушаясь,
Любовь обагрила меня кровью,
Я не разумный, не сумасшедший,
Приди взгляни, что сделала со мною любовь.

(Yunus Emre. Risâlat al-Nushiyya ve Dîvân.
См.: — Abdülbäki Gölpınarlı.
Önsöz — Lûgat — Acılama. İstanbul, 1965,
s. 202)

Юнус Эмре ввел в газель, написанную метром раджаз-и мусамман-и салим дополнительную рифму на восьмом слоге, которая позволяет представить приведенный бейт как четверостишие. К тому же границы стоп он совместил со словоразделами. Подобный прием Юнус Эмре использовал довольно часто, что, видимо, дало повод некоторым исследователям определять многие его стихи как силлабические.[23] Аналогичным приемом пользовались Султан Велед, Гюльшехри, Кайгусуз Абдал.

Существование в рамках бейта таких четверостиший можно было бы объяснить как применение формы мусаммат газель или влиянием народной поэзии, как это часто делают.[24] Однако нерегулярность использования этого средства заставляет искать другое объяснение. И Султан Велед, и Юнус Эмре часто опускают дополнительную рифму:

Sini nise severem
Yüz cān bigi dilerem.
Ola ki kolay gele
sinün olavam bir gün.

Я так тебя люблю.
Я жажду, как сотня душ.
И случится, с божьей помощью, что
Однажды я стану твоим.

(Sultan Veled'in Türkçe manzumeleri.
Yayinlanan ve işleyen Mecdut Mansuroğlu. İstanbul, 1958, s. 32)

Здесь рифмуются только первые две строки «условного» четверостишия, в то время как и для мюстезат газели и для кошмы свойственна схема рифмовки bbba. Рассматривать это явление как простое нарушение рифмовки, видимо, нельзя. Рифма служила одним из основных признаков жанра, и нарушения на этом уровне не были характерны для средневековой поэзии с ее каноничностью и строгим этикетом.[25] Вероятно, такую «внутреннюю» рифму можно охарактеризовать как факультативное ритмообразующее средство, выполняющее функцию дополнительного свидетельства поэтической принадлежности текста.

Позднее дополнительные ритмические средства использовались уже очень редко, что подтверждает высказанное выше предположение о сближении текста с метрической схемой.

Существует мнение, что развитие системы стихосложения идет от обязательного функционирования всей суммы признаков данной ритмо-метрической конструкции к постепенному ослаблению запретов на материал и переходу значительной их части в разряд факультативных.[26] Для тюркоязычной классической поэзии, когда речь идет об отношении к метрической схеме, это положение представляется не вполне пригодным. Процесс, по-видимому, был обратным и шел по пути увеличения в тексте сигналов принадлежности к конкретной метрической схеме.*

Однако в первоначальный период метр, видимо, не воспринимался как основной признак поэтического функционирования и в текст вводились дополнительные ритмические средства, участвующие в создании эмпирической реальности стиха помимо абстрактного конструкта.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Андрей Белый.* Ритм как диалектика и «Медный всадник». М., 1929, с. 24—25.

[2] См., например: *Кондратов А.* Математика и поэзия. М., 1962, с. 19; *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста: структура стиха. Л., 1972, с. 50.

[3] *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста, с. 53.

[4] *Гончаров Б. П.* Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. М., 1973, с. 53.

[5] *Бухштаб Б. Я.* О структуре русского классического стиха. — Труды по знаковым системам, 1969, т. III (Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 236), с. 388.

[6] *Томашевский Б. В.* О стихе, Л., 1929, с. 12.

[7] *Андрей Белый.* Ритм как диалектика и «Медный всадник», с. 55.

[8] *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста, с. 48.

[9] *Холшевников В. Е.* Основы стихосложения: Русское стихосложение. Л., 1972, с. 8.

[10] *Усманов Х.* К характеристике ритмического строя тюркского стиха. — НАА, 1968, № 6, с. 93—103.

[11] *Gandjeĭ T.* Überblick über den vor-und frühislamischen türkischen Versbau. — DI, Berlin, 1957, Bd. 33, H. 1—2, S. 148.

[12] *Усманов Х.* К характеристике ритмического строя тюркского стиха, с. 96—97.

[13] *Щербак А. М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, с. 59.

[14] *Стеблева И. В.* Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. М., 1971, с. 61; *Тимофеев Л. И.* Проблемы стиховедения. М., 1931, с. 61.

[15] Обзор работ, посвященных проблеме ударения в тюркских языках, см.: *Щербак А. М.* Сравнительная фонетика. . ., с. 110—120.

[16] *Холшевников В. Е.* Основы стихосложения, с. 8.

[17] *Бакиров М. Х.* Закономерности тюркского и татарского стихосложения в свете экспериментальных исследований. Автореф. дис. . . . канд. филол. наук. Казань, 1972, с. 41.

---

* «В истории развития тюркоязычных литератур период расцвета классической поэзии (конец XI—нач. XVI в.) был этапом, характеризующимся завершенностью стихотворных форм по правилам поэтики, разработанной на основе иноязычных поэтических образцов» (*Стеблева И. В.* Арабо-персидская теория рифмы и тюркоязычная поэзия. — В кн.: Тюркологический сборник. К шестидесятилетию А. Н. Кононова. М., 1966, с. 249).

[18] Там же, с. 43.

[19] *Якобсон Р.* О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским. Берлин, 1923, с. 17—18.

[20] *Никонов В. А.* Стих и язык. — В кн.: Проблемы восточного стихосложения. М., 1973, с. 13.

[21] *Самойлович А. И.* Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV века Атаи. — ЗКВ, Л., 1927, т. II, вып. 2, с. 260—261.

[22] *Aymutlu A.* Arûz. Türk şiirinde kullanılan arûz vezinleri ve örnekleri. İstanbul, 1962, s. 16—17.

[23] *Björkman W.* Die Altosmanische Literatur. — PhTF, II, p. 411.

[24] *Rymkiewics S.* Beitrag zur Entwicklung des Reims in der türkichen Kunstliteratur. — RO, 1963, t. XXVII, z. 1, s. 49.

[25] *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 112—113.

[26] *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста, с. 55.

Е. И. Маштакова

НА РУБЕЖЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭПОХ

(«ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЗИХНИ»)

Турецкая литература первой половины XIX в., будучи по типу средневековой, уже обладала некоторыми свойствами новой литературной системы.[1] Творчество Байбуртлу Зихни (как и Иззета Моллы, кстати сказать [2]) в значительной мере характеризует данный этап литературного развития Турции.

Существенную роль в этом процессе сыграло, в частности, взаимодействие письменной и устной литератур, что, пожалуй, вообще присуще периодам литературных исканий в кризисные периоды жизни общества. Взаимосвязи имели разнообразное проявление. Письменная поэзия, например, обогащалась путем использования фольклорных жанровых форм, приемов народной песенной поэтики, слоговой системы стихосложения и многого другого. Народные же певцы, ашыки, иногда прибегали к квантитативной системе стихосложения (арузу), культивировавшейся в письменной поэзии, откуда ашыки нередко черпали также книжные сюжеты и образы, некоторые поэтические приемы.

Названные особенности непосредственно проявились и в поэзии Баубуртлу Зихни. Его творчество, как бы замыкающее переходный период (от средневековой литературы к новой), мало исследовано. Турецкие и европейские ученые не без основания причисляют его то к письменной литературе, то к устной.[3]

В данной статье автор не ставит перед собой задачу показать все творчество поэта, а хотел бы лишь обратить внимание на отражение в одном его сочинении некоторых примет литературы того времени.

Биография Байбуртлу Зихни раскрывается в его стихах. Поэт (собственное его имя Мехмед Эмин) родился в самом конце XVIII в.[4] и скончался в 1859 г. Его родина — северо-восточная Анатолия, небольшой городок Байбурд (отсюда и прозвище поэта «Байбурдский»), расположенный на пути из Эрзерума в Трапезунд. Завершив в этих двух городах образование, двадцатилетний юноша прибыл в Стамбул в поисках покровителя. С помощью своих хвалебных стихов Зихни получил доступ в султанский Диван и занимал свыше десяти лет разные канцелярские должности. Всю жизнь он служил поблизости от родных краев (Эрзинджан, Хопа

под Батуми, Оф), а также в Караагаче (недалеко от Стамбула), в Акдаге и других местах с последующим возвращением на родину или в столицу за новым назначением. Он трижды посетил Египет по делам службы и как паломник (титул ходжи получил в 1834/35 г.), а также побывал в Сирии секретарем Дивана Решида-паши, который во время военных действий против Франции командовал одним из турецких судов в объединенной австро-англо-турецкой флотилии. Зихни не дослужился до больших чинов: в небольших городках он был чаще всего финансовым чиновником (дефтердаром) или предводителем (мюдиром). Поэт не скопил себе состояния и скончался одиноким бедняком в деревне невдалеке от Трапезунда, откуда он выехал, пожелав перед смертью повидать родной Байбурд.

Из литературного наследия Зихни издан только один диван,[5] который отличает синкретичность, вообще свойственная его творчеству: соединение традиций классической литературы с особенностями устного поэтического творчества. В принципе ничем иным собрание его стихов, пожалуй, не отличается от диванов других авторов того времени. Правда, Зияеддин Фахри, автор единственного исследования, посвященного Зихни,[6] высоко оценивает некоторые его стихи, отмечает искренность в передаче душевных переживаний (любовных, связанных со сложностями личной судьбы поэта, патриотические мотивы) и др. Турецкий ученый считает, что лучшие стихи Зихни выдерживают сравнение с произведениями больших поэтов; отзвуки их творчества (например, Физули, Недима, Шейха Галиба и др.) заметны в его Диване. Но у него же встречаются (и не только здесь) погрешности в соблюдении канонических размеров, хотя поэт не мог не знать теорию аруза.

Автобиографическое сочинение «Книга приключений Зихни», или точнее по смыслу «Жизнеописание Зихни» («Sergüzeştname-i Zihni»), не издано. Упомянутый З. Фахри использовал в работе три идентичные рукописи, находившиеся в свое время в частных коллекциях (две в Эрзеруме и одна в Анкаре). Все, кто впоследствии кратко писал о жизни поэта, вернее, упоминал его стихи, основывались, судя по всему, именно на книге З. Фахри. Нам тоже пришлось воспользоваться только обильными и пространными цитатами, которые, по словам этого ученого, приведены им в том виде, в каком эти строки встретились в рукописях, включая ошибки в стихотворной технике и другие (с. 81 по первому изданию).

«Жизнеописание Зихни» представляет, с нашей точки зрения, наибольший интерес как сочинение, непосредственно предшествующее первым произведениям новой турецкой литературы и в известной мере соединяющее их с традиционной средневековой словесностью. Оно показательно для завершающего этапа переходного периода к типу литературы Нового времени.

«Жизнеописание» — это месневи, в которое включено около шестидесяти отдельных произведений; три из них написаны прозой

и одно — прозой и стихами. Отметим большое разнообразие форм, входящих в месневи (помимо касыд и газелей включено много стихотворений разных строфических форм). В конце сочинения помещены пять дестанов, имеющих отдельные заглавия: два посвящены историческим событиям, участником или свидетелем которых был сам автор, герои трех других имели реальных прототипов. По нашему мнению, структура этого сочинения свидетельствует о продолжающемся процессе расшатывания средневековой жанровой системы.

По отзыву З. Фахри, сочинение открывается вступлением, где после традиционных стихов молитвенного и панегирического содержания поэт, как полагалось, объясняет причины, побудившие его создать книгу. Оказывается, сын однажды попросил отца рассказать о своей жизни. Ответом явилось «Жизнеописание», в котором собраны стихотворения разных лет, в том числе и появившиеся незадолго до окончания этого произведения в целом, а может быть, и в связи с ним самим (в некоторых стихах, например, упоминаются события, происшедшие года за четыре до смерти автора). Сочинение является самым надежным источником, раскрывающим жизненный путь поэта и его личность.

Созданное в период начавшихся перемен в турецкой литературной системе, «Жизнеописание» достаточно показательно в отношении путей трансформации средневековой литературы в новую, что выявляется при рассмотрении сочинения в ряде аспектов, правомерных для исследования подобного рода произведений.

Увеличение диапазона литературы, свойственное этому этапу ее развития, проявилось, например, в некотором расширении социального состава героев. Зихни, правда, пишет и о крупных сановниках, о знатных людях (везирах, каймакамах, вали́), часто — о дефтердарах, кади и проч. Но среди них нашлось место и духанщику (с. 67), и главе байбурдских ремесленников шейху Мустафе, которого поэт зло высмеял как притеснителя и хитреца, отравляющего людям жизнь. Объектом сатиры стал также один из трапезундских торговцев, узурпировавший власть в городе (с. 68—69).

Поэт может в карикатурном виде представить внешность и повадки «героя» сатиры:

Ходжа в чалме, губастый да длиннющий,
Словно верблюд, — нескладный идол.
Этот волк с бараньей головой верит, что
В хитрости он — лисица, в коварстве — мышь.
Допустим, руки—ноги у него на медвежьи лапы похожи.
Но взгляд его напоминает кабаний.
В хватании взяток он становится льву подобен.
В броске он лапастому тигру подобен.
Лакает он воду, словно борзая, и,
Чмокая, мотает головой, точно осел»

(с. 55)

Автор пытается индивидуализировать характеристики объектов своей сатиры. Так, он пишет, что на смену одному вороватому каймакаму пришел другой, но того же типа. Этот градоправитель находился под пятой своей жены:

Жена вела себя с ним независимо.
Женщина стала выше мужчины, выше веры.
Женщина, оказывается, взяла верх над ним,
И не имел он в своем гареме никакой власти.

(с. 56; вторая строка второго бейта опущена в издании 1950 г.)

Этого Зихни, конечно, не мог одобрить. Сообщается, что каймакам, по происхождению араб, плохо говорит по-турецки. В данном случае Фахри не показывает, как передал поэт искаженную турецкую речь. Но у Захни в других стихотворениях встречается речевая характеристика персонажей, пародирование их разговорной манеры, отражающей устную турецкую речь армянина, грека, курда, лаза, грузина и др.; в авторскую речь (главным образом в стихах, написанных в метре хедже) порой проникали элементы языков азербайджанского и некоторых среднеазиатских.

Сам автор, искренне повествующий о своей судьбе, выступает как лирический герой «Жизнеописания». Стихотворения, преимущественно сатирического характера, Зихни адресует многим чиновным лицам, встречавшимся ему на жизненном пути. Поэт, кочевавший с одного места службы на другое, за недолгий срок успевал увидеть глазами сатирика быт и нравы окружавшей его среды, неправые порядки и виновников зла. И обо всем он открыто говорит в стихах. Они отображают мучительные переживания, вызванные несправедливыми, по мнению автора, его отставками, перемещениями, тоской по оставленным родным краям. С подкупающей открытостью пишет он о сыне, страдая в разлуке с ним, и обращается к нему с нежностью, которую не скрывают традиционные выражения:

Сынок мой, дорогое дитя,
Кипарис из сада моего опечаленного сердца!
. . . .
Судьба оставила тебя в горе, меня — на чужбине
Она оставила тебя в тоске, меня — в разлуке.

(с. 53)

Поэт жалуется на старость, которую вынужден проводить в одиночестве.

Зихни откровенно пишет о «скандальной истории», которая произошла с ним. В свое время в Сирии он женился на местной жительнице из феллахов. А когда развелся с нею, он отдал, по его словам, все, что полагалось ей по мусульманским законам. Но бывшая жена, отрицая этот факт, обратилась с имущественными претензиями в управление по делам ходжей. Полицейские,

не задав ответчику никаких вопросов, не слушая его возражений, стали на ее сторону и, как он выразился, «обобрали поэта».

Вечен Аллах! В сорок кисé обошелся
Развод с бессовестной арабкой

(с. 57)

Возмущенный несправедливым решением, Зихни написал две сатиры, в которых высмеял невежественных бессовестных судей, попирающих законы:

Разве это уважение к людям ислама?
Разве это повиновение законам шариата? —

(с. 57)

восклицает поэт. Он дает волю своему негодованию, бичуя «стадо лжецов», мздоимцев, не по праву занимающих ныне судейские должности (с. 66); не так было прежде — здесь использован известный мотив: восхваление прошлого в порицание настоящему.

Будучи сам ходжой, Зихни отваживается назвать паломников «толпой негодяев» (с. 58). Он зло издевается над проповедником-аскетом и его фальшивыми речами на кафедре в мечети (с. 69). Но поэт, верующий человек, порицает беззаботное отношение к религии; в то же время он свободен от фанатизма в этих вопросах. Так, в его стихах звучит хорошо известная в классической ближневосточной литературе, в частности в турецкой, гуманистическая мысль о равноправии людей, исповедующих разные религии. Дурные же поступки совершают люди разного вероисповедания (мусульмане, христиане, иудеи и др.) (с. 64).

Признавая справедливые законы основой порядка в жизни страны и каждого человека в отдельности, Зихни критически высказывался о турецкой действительности. Мы не можем с полной определенностью судить, часто ли социальные мотивы встречаются в его произведениях, так как Фахри цитирует стихи по собственному усмотрению. Однако он отмечает социальную направленность многих стихов Зихни, резко сатирический тон в суждениях поэта о положении дел в стране и проявление «любви и уважения к народу, терпевшему гнет городских баев и дворцовых чиновников» (с. 94).

Поэт всегда считал святой обязанностью честно исполнять свою службу, но встречал брань и несправедливое отношение к себе начальства, когда говорил об имущественных злоупотреблениях и нерадивости чиновников, о бессовестном отношении к подчиненным и т. п. Он открыто негодует, что «невежи и дураки», а также интриганы становятся везирами или занимают другие высокие посты. И Зихни обращается к самому султану:

Разве честных везиров нет у тебя?
Есть они, да смелости нет у тебя.

(с. 50)

Поэт пишет, что сорок лет служил государству, но постоянно подвергался гонениям и страдал от бедности — эти мысли часто возникают в стихах. Его сетования, в которых порой звучат отголоски традиционных «жалобных посланий» («шикяйет-наме») о несправедливом устройстве мира и о личных бедах, все же не могут заглушить индивидуальной особенности — энергичного протеста против зла; он высказан, например, в таких словах Зихни:

Я не знаю, как ты, проклятая судьба,
Но, чтобы меня одолеть, надо много потрудиться.

(с. 60)

Положительные взгляды Зихни выражены в исходных позициях, с которых он обличает зло. Высказывание автором своих идеалов можно усмотреть в том, что у него мерой справедливости выступают «законы Танзимата». Нарушение их, как и противодействие «шахиншаху Танзимата», есть преступление (с. 54). Фахри также считает поэта выразителем идеологии Танзимата (с. 27, 64) и констатирует при этом: под конец жизни Зихни понял, что принципы Танзимата не реализовались на практике (с. 27). Возможно, об этом говорят и строки «Жизнеописания», которые цитирует Фахри как продолжение месневи с редифом «Я не знаю» (bilmem, см. здесь, с. 187). Два последних бейта не имеют этого редифа, а в смысловом отношении продолжают два цитируемых первых (во втором издании книги странным образом помещены всего три строки, за которыми идет только первый из двух последних бейтов). В месневи поэт резко выражает свое возмущение неправыми порядками в мире и говорит в двух последних бейтах:

Что это за правосудие, что за Танзимат?
Что за закон, что за предписания?
Такого *достаточно* опозоренного и ославленного [человека]
Ослепляет падишахова милость.

(с. 64, в первом издании с. 66)

Поэт использует оба значения выделенного нами слова (müstevfi) «достаточный» (при определении какого-либо качества) и «человек на жаловании, финансовый помощник при губернаторе» (термин исторический), а именно в такой должности служил сам Зихни. Видимо, здесь скрыта авторская ирония.

Поэт не был ретроградом, если говорил: «Нашему веку нужна свежая сила (иначе — новые авторитеты)» (с. 48). С этих же позиций он мог размышлять о литературе. Передовые люди эпохи придавали ей большое преобразующее значение в жизни общества. Поэзия тоже нуждалась в обновлении. Пожалуй, намек на это содержится во вступлении к одной касыде (с. 60). В конце этого же панегирика автор, между прочим, признается, что все написанное в хвалебном стиле, грозит обернуться насмешкой, ибо

То, что переходит [определенные] границы,
Конечно, приходит к своей явной противоположности.

(с. 61)

Поэту нельзя отказать, если не в диалектичности мышления, то в трезвой наблюдательности, во всяком случае.

Но если велико значение литературы, не менее важна и роль поэта. Зихни это сознавал, причем не отказывался и от традиционного самовосхваления (с. 61, 62 и др.). Особенно он гордился своей сатирой:

Кто бы ни удостоился моей сатиры,
Странно, — до Судного дня душа его не знает покоя.

(с. 55)

И об этом он часто напоминает своим противникам. Так, он однажды пригрозил ею тем знатокам поэзии, кто усмотрел в его газелях «заимствования» (с. 68). Зихни всегда был готов вступить в стихотворный поединок, будучи уверенным в своем таланте (с. 61), и горделиво уверял:

Мое мастерство принесло мне славу.
Моя поэзия нужна и Руму, и персам.

(с. 62 и др.)

Последний довод есть отзвук давнего авторитета у турок персоязычной поэзии.

Несомненно, у Зихни было обостренное чувство соперничества по отношению к современникам — собратьям по перу. Ново и примечательно, что он решительно возражал против пренебрежения творчеством тех, кто живет в провинции:

Разве мастерство [только] Стамбулу присуще?
Разве учеными это установлено?

(с. 61)

Личные обстоятельства сыграли здесь свою роль: Зихни не принадлежал «пожизненно» к придворным стихотворцам столицы. Отсюда и его самолюбивая отповедь стамбульцу Фатину эфенди, небрежно вписавшему в свое тезкере имя Зихни, по поводу чего поэт иронически заметил: «он льва играючи поймал» (с. 61).

Зихни считал себя непосредственным продолжателем дела прославленных предшественников. Он гордится тем, например, что написал много тарихов, как Наби и Неф'и (с. 50), упоминает в сходной связи имена Урфи и Хакани (с. 48). Мерой сатирического мастерства была для него поэзия Неф'и (ум. в 1635), что явствует, например, из бейта-самовосхваления:

В наш век я — огненноязыкий Неф'и.
Повинуются мне все поэты эпохи.

(с. 67)

Воздействие на него этого прославленного сатирика, как и другого — Рухи (ум. в 1608 г.), подтверждается не только декла-

ративными высказываниями, но и отзвуками их творчества, легко различимыми в стихах поэта XIX в. в виде отдельных мотивов, в структуре некоторых произведений. Так бейт Зихни

Горе великое тому правителю, который дефтердару, подобному тебе,
Поручил важные дела и милость оказал, Джезми —

(с. 65)

напоминает строки Неф'и, адресованные великому везиру Гюрджю Мехмеду паше:

Горе государству, если его наставником станет
Воплощение подлости и невежества, подобное тебе, собака![7]

Близки по сути и по форме выражения риторические вопросы, часто встречающиеся в сатирах обоих поэтов. Когда Зихни спрашивает, например, как может стать судьей человек, не сведущий даже в своей науке (с. 54), то вспоминается следующий бейт Неф'и:

Как может стоящий во главе несправедливых
Быть справедливым к народу как представитель шаха?[8]

Зихни не скрывает своего критического отношения к турецкой действительности:

Что это за законы, что за справедливость? — Я не знаю!
Что за гнет, что за оскорбительное отношение? — Я не знаю!
Что за положение дел, что за позор? — Я не знаю!

(с. 64)

На память приходит начальный бейт из только что цитированной сатирической касыды Неф'и, адресованной везиру Экмекчизаде Ахмеду паше:

Что это за порядки, что за времена, что за коловращение небес?!
Если не изменятся, пусть станут прахом [сами] небеса![9]

Здесь сходство лежит глубже уровня текстового совпадения. Стихи сближают мысли и чувства авторов, выраженные в столь похожей форме. Видимо, не случайно Зихни употребляет выражение «стрелы сатиры» (с. 55), созвучное по стилю и смыслу «Стрелам судьбы» — названию собрания сатир Неф'и.

Еще показательнее пример одной из самых известных касыд Зихни — с редифом «юф!» («проклятье!»), сатиры, направленной на трапезундского дефтердара Нюзхета эфенди:

Страж сада райского! Вращенью колеса судьбы — проклятье!
Плеяде людей сердца, их милостям, их вере — проклятье!
Распутник вроде Нюзхета уничтожил все, что я имел,
Умам таких «совершенных» — проклятье, душам их — проклятье!

Меня рыдающим сделал, моих недругов — веселыми.
Тысячам таких «колючих роз» — проклятье!
Такой обманчивой судьбе дефтердара-банкрота,
Такой сомнительной вере подлецов — проклятье!
Зихни, настал последний час: больше нет справедливых.
Благодеяниям беев и пашей такого века — проклятье!

(с. 59—60)

Эти бейты-проклятья корреспондируют с сатирой Рухи, имеющей такой же редиф «юф», например:

Проклятье терниям судьбы! И розам с цветком проклятье!
Сопернику проклятье! И жестокой возлюбленной проклятье!
. . . .
Когда мудрец несчастлив, а невежда счастлив,
Проклятье счастью в мире! И несчастьям в мире проклятье!
Проклятье счастливому круговращению небес! И несчастливому проклятье!
Проклятье недвижным звездам! И движенью их проклятье![10]

Сатира поэта XIX в. более конкретна в своей адресованности, автор шлет проклятья не абстрактному злу, а непосредственным виновникам своих бед, но также и всем неправедным людям, о чем объявляется в самом начале касыды. Более важны для истории литературы и глубоки связи этого сочинения Зихни с другим, самым значительным произведением первой четверти XIX в. — с повестью-путешествием «Страдания в Кешане» Иззета Моллы (ум. в 1829 г.).[11]

Это тоже автобиографическое сочинение, сходное и по структуре: написано в виде месневи, в которое включены стихотворения разных поэтических форм (газели, касыды, кыт'а, мюфреды и др.). Такое построение позволило обоим авторам рассказать и о себе, и о своем времени. Этому в немалой степени способствовал мотив путешествия, являющийся своеобразным стержнем, скрепляющим отдельные эпизоды и позволяющий выстроить целую галерею портретов (большей частью сатирических), запечатленных авторами с натуры. Заметны схождения (вплоть до текстуальных), когда поэты искренно пишут о своих переживаниях, будучи отторгнуты от семьи, от друзей. Оба страдают от незаслуженного наказания: от официально объявленной ссылки или замаскированной — направления по службе в отдаленные от столицы края. Зихни размышляет:

Я сказал: — В чем причина отставки моей?
Разве ветром сдуло весь труд мой?

(с. 51)

Здесь поэт словно бы повторяет слова Иззета Моллы, связанные в сходной ситуации:

Что все же я причинил миру?
Разве я притеснял стамбульцев?
Чей дом я разорил?
За что же я ввергнут в эту беду?[12]

Много общего у них в сатирическом изображении «непорядков» в турецком государстве, злодеяний чиновников, притеснявших людей, и невежественных судей, попиравших законы, и во многом другом. Авторы в сатирах выражают свои позитивные взгляды, выступая как бы от противного.

Помимо сходных, более или менее традиционных объектов сатирического осмеяния оба поэта обращали внимание и на людей низкого общественного положения.

В творчестве обоих поэтов нашли отражение гражданские мотивы, причем в этих целях ими использована традиционная форма «жалобы» (шикяйет-наме), в которой они представляли личные беседы неотрывно от общественных.

У обоих авторов можно отметить опыты в бытописательстве, когда в письменную поэзию входят непривычные мотивы и объекты изображения. У Зихни встречается конкретное описание Стамбула, некоторых сторон его быта, столичного дома, праздничной трапезы в рамазан (с. 63 и др.). Мы узнаем, что, испытывая материальные затруднения, поэт задолжал крупную по тем временам сумму (тысячу курушей) бакалейщику Апостоло (видимо, греку) (с. 58). О такой же трудной житейской ситуации писал в свое время Иззет Молла,[13] который тоже достоверно и живо передавал этнографические и географические особенности мест, увиденных им во время своей поездки в Кешан и обратно. Появление персонажей из «низших» слоев города, внимание к их нравам и быту повлекли за собой выход поэтической речи на границы литературного языка, использование элементов просторечия и диалектизмов, разговорной стилистики и много другого, на что чрезвычайно важно обратить внимание в плане изучения истории турецкого языка.

Композиционной особенностью сопоставляемых сочинений является включение в месневи развернутых эпизодов, представляющих собой как бы самостоятельные рассказы. Примером такого рода повествования у Зихни может служить одно месневи (около 80 бейтов). Это история, приключившаяся с автором по пути из Аксарая в Кумкапы. В кофейне его встретил один трапезундский приятель. Шумные приветствия и чрезмерная жестикуляция этого изрядно пьяного человека привели в смущение Зихни, который признается:

Посетители кофейни наблюдали за нами,
Переговаривались, смеясь и подавая друг другу знаки.

(с. 52)

Разгневанному поэту не удалось отделаться от этой «свалившейся на его голову беды». Стыдясь и мучаясь страхом перед новыми неприятностями, он все-таки попался на улице стражникам, когда возвращался из кабачка вместе с приятелем. Тот сказал в караульной, что оба они из медресе, и в ответ им пришлось выслушать нотацию по поводу того, что днем-де они громогласно проповедуют, а ночью позорят свое почтенное заведение (с. 52, 53).

Эта жанровая сценка, написанная живо и с юмором, возможно, не единственная в сочинении, но других подобных стихотворений, целиком приведенных в книге Фахри, нет, как нет и полных текстов произведений в прозе («Эта превосходная проповедь (хутба)», «Прошение» и др.), которые, вероятно, тоже являются своего рода вставными рассказами.

Схождения между «Жизнеописанием Зихни» и «Страданиями в Кешане» Иззета Моллы (отмеченные нами здесь далеко не в полном объеме) закономерны для данного этапа литературного развития. Существовали, впрочем, и контактные связи двух поэтов: оба участвовали в поэтических состязаниях.[14] Знакомство их могло состояться благодаря известному ученому и полководцу Решиду Мехмеду-паше, в диване которого Зихни служил секретарем, а по ходатайству этого паши Иззет Молла был возвращен из кешанской ссылки в столицу. Более чем вероятно, что «Страдания в Кешане» Зихни знал, и это яркое сочинение нашло отзвук в творчестве поэта из Байбурта.

Краткий обзор «Жизнеописания» Зихни, думается нам, позволяет составить некоторое представление о значимости творчества поэта для истории турецкой литературы, уяснить ряд типологических особенностей литературы первой половины XIX в., находившейся на рубеже смены средневековой литературной системы новой, начало которой связывается с так называемой литературой Танзимата, просветительской по своей сути.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Маштакова Е. И.* Турецкая литература конца XVII—начала XIX в.: К типологии переходного периода. М., 1984.

[2] См., например: *Гарбузова В. С.* 1) Поэты Турции XIX века. Л., 1970; 2) Гражданская тема в творчестве Иззета Моллы. — В кн.: Филология и история тюркских народов: Тезисы докладов. Тюркологическая конференция в Ленинграде. Л., 1967; *Маштакова Е. И.* «Страдания в Кешане» Иззета Моллы. — Turcologica: К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976. Работы турецких и зарубежных ученых указаны в библиографических примечаниях к названной статье Е. И. Маштаковой.

[3] В отличие от других ученых Байбуртлу Зихни называли ашыком, например Necatigil, Behçet. Edebiyatımızda isimler sözlüğü. İstanbul, 1975, s. 60; Ozankan, Cenab. Kırk halk şairi (Hayatlar ve eserleri). İstanbul, 1960, s. 171—174. В. М. Коджатюрк считал, что стихи Зихни, написанные в манере народных певцов-сазистов, имеют наибольшее значение для литературы вообще: именно в них поэт полнее всего выразил свою индивидуальность (*Kocatürk V. M.* Türk edebiyatı tarihi: Başlangıçtan bugüne kadar Türk edebiyatının tarihi, tahlili ve tenkidi. Ankara, 1964, s. 576.) А. Х. Танпынар также уделял серьезное внимание стихам Зихни в метре хедже, близким к народной поэзии (*Tanpınar A. H.* XIX. asır Türk edebiyatı tarihi. İstanbul, 1956, c. 1, s. 69—71).

[4] Дату рождения поэта указывают от 1210 до 1215 г. х., т. е. от 1795/6 до 1800 г.; более вероятен 1212 г. х., или 1797/8 г.

[5] Divan-ı Zihnî. İstanbul, 1923 г. х. (1876).

[6] Fahri, Ziyaeddin. Bayburtlu Zihni. c. I, İstanbul, 1928 (шрифт арабский). Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri. Bayburtlu Zihni. Bir edebiyat sosyolojisi dene_

mesi. Gözden geçerildikten ve ilaveler yapıldıktan sonra ikinci basılış. İstanbul, 1950. При цитировании страницы этой книги указываются в тексте.

[7] Yücebaş. Hilmi. Hiciv edebiyati antolojisi, 2. bas., İstanbul, 1961, с. 71.

[8] Karahan, Abdülkadir. Nef'i. Hayatı, sanatı, şiiri. 2. bas., İstanbul, 1967, с. 105.

[9] Karahan A. Nef'i, с. 105.

[10] Gölpınarli, Abdülbaki. Nesimî — Usulî — Ruhî. — Hayatı, sanatı, şiirleri. İstanbul, 1953, с. 110.

[11] Подробнее см.: *Маштакова Е. И.* «Страдания в Кешане» Иззета Моллы.

[12] *İzzet Molla.* Mihnet-i Keşan. Kostantiniye, 1269 (1825), с. 9 (шрифт арабский).

[13] *İzzet Molla.* Mihnet-i Keşan, с. 194.

[14] Divan-i Zihni, с. 35 и др.

О. Т. Молчанова

ЖЕЛТЫЕ ЦВЕТА В АЛТАЙСКОМ ОНОМАСТИКОНЕ

Изучение географических имен алтайского народа показало, что свыше 14 % всех тюркских наименований содержат в своем составе «цветовое» прилагательное. Общее количество таких прилагательных — 25, они выделяются нами в отдельные микрополя, которые, в свою очередь, моделируются в 8 семантических полей, представляющих собой сумму составляющих их микрополей. В данной статье рассматривается семантическое поле желтых цветов (*сары*, *куба*, *куу*).[1] В исследовании ограниченного объема мы не будем повторять те сведения, которые уже сообщались о прилагательных в «Топонимическом словаре Горного Алтая»,[2] поэтому общая картина складывается при использовании обеих работ.

МИКРОПОЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО *САРЫ*

Прилагательное *сары*, служащее в алтайском языке для обозначения желтого цвета, является третьим по частотности употребления в топонимии Горного Алтая (вслед за *кара* и *ак*). В связи с дискуссией относительно указанного прилагательного остановимся подробно на его значениях и лексической сочетаемости.

Обратимся первоначально к древнетюркским материалам. У Махмуда Кашгарского читаем: *сапсарïғ* ʻжелто-прежелтый, совершенно желтый’; *сарïғ* ʻжелтый’; *сарïғ буға* ʻвид лекарства’; *сарïғладï* ʻокрасил в желтый цвет, допустил, чтобы что-то пожелтело’; *сарïғлïғ эр* ʻчеловек, болеющий желтухой’; *сарïғ эрүк* ʻурюк, абрикосы’; *сарïғ jүвүт* ʻперсидская грязь (специальная смесь для уничтожения волос на теле)’; *сарïғ суш* ʻбиол. сукровица’; *сарïғ кезік* ʻболезнь желтуха’; *сарïғ турма* ʻморковь’. ДТС фиксирует для *sarïγ*, помимо перечисленных, еще значения ʻбледный и соловый’, а также дает *sarïγ* ʻжелчь’ и ряд собственных имен: *Sarïγ čïr*, *Sarïγ saman*, *Sarïγ tojïn*, *Iktü sarïγ baš*. Из статьи о *seri:ğ* у Дж. Клосона мы возьмем лишь то, что дополняет вышеперечисленное: *sari:ğ taš* ʻжелтый (драгоценный) камень’; *sari:ğ*

su:r ʻжелчь'. Необходимым оказывается просмотр словарей по монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам с целью выяснения тех значений, которые анализируемое прилагательное приобретает или развивает: п.-монг. *sira* ʻ1) желтый; 2) желток'; *sirabin* ∼ *sirabur*, *sirabtur* ʻжелтоватый'; *siraču* ʻжелтоватая краска (древесная)'; *siraγal* ʻжелтоватый'; *siraγčin* ʻжелтоватая (о масти самок животных)'; *sirala-* ʻжелтеть'; *siralǯi(n)* ʻбурьян'; *sirγa* ʻсоловый (о масти)'; *sirγaγčin* ʻ1) светло-гнедая (о кобыле); 2) антилопа (самка)'; монг. *шар* ʻ1) желтый, рыжий; 2) желток'; *шаравтар*, *шарвир*, *шаргал* ʻжелтоватый'; *шарагчин* ʻжелтая (о масти самок животных)'; *шарга* ʻсоловый (о масти); палевый (о цвете)'; *шарга морь* ʻсоловая лошадь'; *шаргагчин* ʻ1) светло-гнедая (о кобыле); 2) антилопа (самка)'; *шарилж* ʻбурьян'; *шарла-* ʻжелтеть'; *шар мөрөн* ʻЖелтая река (Хуанхэ)'; *шар ус* ʻа) снеговая талая вода, б) перен. ревматизм, в) сыворотка'; бур. *шара* ʻ1) желтый, рыжий, русый; 2) желток'; *шарабтар* ʻжелтоватый'; *шарагшан* ʻжелтая (о масти самок животных)'; *шаралдай* ʻжелтая полынь'; *шаралза* ʻбурьян'; *шарашаг* ʻжелтоватый'; *шарга* ʻсоловый (о масти), палевый (о цвете)'; *шаргагшан* ʻсоловая (о масти самок домашних животных)'; *шаргал* ʻсоловый'; *шара тала* ʻжелтеющее поле'; *шара ураг* ʻмолозиво'; *шара уһан* ʻа) подагра, б) лимфа'; *ү̧дхэн шара хулһан* ʻгустой желтый камыш'; *шара араата* ʻстепная (или желто-рыжая) лисица'; *шара могой* ʻядовитая (букв. желтая) змея'; в бурятском фольклоре *шара* употребляется в качестве: а) эпитета ʻкрасный', ʻпрекрасный', ʻкрасивый', б) с отрицательным оттенком значения к словам *далай* ʻморе', *нохой* ʻсобака', *могой* ʻзмея', *манан* ʻтуман', *тооһон* ʻпыль'; калм. *шар* ʻ1) желтый, рыжий, русый; 2) красный, прекрасный, красивый'; *шар усн* ʻа) сыворотка б) гной'. В тунгусо-маньчжурских языках повторяются те же значения: ʻсоловый, желтоватый, песочный, сероватый (о масти), рыжий, серо-желтый, бежевый, коричневый, бурый, желто-бурый' и т. д. Кстати, параллельные формы и значения легко находятся в сибирских тюркских языках: хак. *сарығ суғ* ʻа) сыворотка, б) весенняя снеговая вода или вода над весенним льдом'; тув. *сарыг суг* ʻа) сыворотка, б) вешняя талая вода (всякого рода ручьи и т. п.)'; алт. *сары суу* ʻсыворотка; пожелтевшая от навоза весенняя вода'; *сарыг талай* ʻжелтое море'; *сарыг јазы* ʻжелтая степь'; *саҥыскан учпас сары чӧл*, *кускун учпас куба чӧл* ʻпожелтевшая степь, на которую не залетает сорока; бледная степь, на которую не залетает ворон'; [3] кроме того, *сары* в алт. встречается в сочетаниях: *сары кар* ʻжелтый весенний снег'; *сары карын* ʻголодный желудок'; *сары ӧзӧккӧ* ʻна голодный желудок (нутро)'; *сары јол* ʻвесенняя дорога, дорога с талым снегом'; *сары тала* (редко) ʻпустырь, пустошь'; *сары тӱн* ʻпредрассветная ночь, ночь перед рассветом, возможно, и начало ночи (?)'; *сары јас* ʻвесна с талым снегом'; *сары бее* ʻсоловая кобыла'; *сары кой* ʻжелтая овца'; *сары таҥ* ʻраннее утро'; *сарызы* ʻжелток'; *сарылу* ʻжелторотый'; *оозы сарылу* ʻрот с желтизной'; *саргарар* — ʻ1) желтеть, 2) засосать' (*ӧзӧгим саргарды* ʻ(мое) нутро засосало', т. е. ʻесть хочется'), 3) ʻзабрез-

жить' (*таӊ саргарып келди* 'рассвет забрезжил'); [4] *сары чачту* 'белокурый'; *кубакай-сары* 'кремовый'; *кызыл-сары* 'оранжевый'; *саргорган* 'пожелтелый'; *сарыгат* 'облепиха'; *сары адару* 'оса'; *сары јылан* 'уж'; *сары ӱкӱ* 'сова'; *сары кӱкӱр* 'сера'; *сары тӧгӧт* 'смола', а также башк. *һары һыу* 'лимфа'; тат. *сары су* 'а) лимфа, б) сыворотка молока'; узб. *сариқ сумалақ* 'желтые сосульки (символ наступающей весны; их желтый цвет объясняется тем, что во время оттепели по ним стекает краска от крыши или глиняный раствор, если крыша мазаная)'; *сариқ* фольк. 'самый лучший, отборный'; тув. *карак четпее сарыг хову* 'необозримая желтая степь (фольк.)'.[5] У В. В. Радлова — *сары дала* (казах.) 'сухая степь'; *сары суу* (казах.) 'гноетечение (болезнь верблюдов)'; *ақ сары* (казах.) 'соловый'; *қара сары* (тат.) 'темно-желтый'; *сајық сары* 'светло-желтый'; *сарыг чазы* (саг.) 'желтая степь'; *сарыг тала* 'желтое море'. Единственное переосмысление, отмеченное В. В. Радловым, — 'желтая степь' → 'сухая степь' — логично и закономерно. А. Н. Кононов [6] процитировал из словаря Л. Будагова *сары дала* как 'необозримая степь', из словаря К. К. Юдахина *сары талаа* 'безлюдная степь, пустыня' (с. 694) и '1) пожелтевшая степь; 2) осенняя степь' (с. 637); *сары жол* 'большая вьючная или скотопрогонная дорога' (в отличие от *кара жол* 'колесная дорога') (с. 637); *миздей сары талаа* 'ровная-ровная и широкая степь' (с. 526); *сары шамал* 'холодный ветер' (с. 900). К этому можно добавить: *сары журт* 'место, где раньше стоял аул (ровное, без травы)' (с. 637); *сары короо* 'место старого овечьего загона (ровное и без травы)' (с. 637); *узун сары* '1) ранняя весна; 2) голендуха (время, когда истощаются зимние запасы еды)' (с. 637); *сарыгыр* 'стог, скирда (продолговатой формы)' (с. 637); *сары таман* 'в полной силе, в расцвете сил, зрелого возраста (о хорошем коне, воле)' (с. 699); *сары сойгок* 'полегшая осенняя густая пожелтевшая трава' (с. 650); *санаасы сары сууга семирет* 'беспечный от простой воды жиреет' (с. 632); *сары санаа* 'сильное беспокойство, тревога' (с. 632); *сары убайым* 'большая забота, печаль' (с. 794).

Все вышеизложенное приведено нами с целью показать, что *сары*, являющееся абстрактным цветообозначением желтого цвета, обладает способностью к широкой сочетаемости и переосмыслению своего основного значения. Однако оба процесса регламентированы и поддаются наблюдению и установлению определенных закономерностей. По всей вероятности, переосмысление и развитие нецветовых характеристик *сары* не могут идти из древнетюркского. Об этом говорит изложенный вначале древнетюркский материал, подкрепленный параллелями из монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, а также сравнение с некоторыми другими языками, например, древнерусским, где в памятниках XI—XII вв. прилагательное *желтый* не только малоупотребительно, но и используется преимущественно для называния цвета волос.[7] Даже в XVII в. *желтый* употреблялось для названия цвета одежды, тканей, цвета драгоценных камней, цвета растений, а также в описаниях человеческой внешности.[8] Еще известно, что

«желтый цвет избегали называть в христианской литературе. На Руси красным (первоначальное значение — красивым, лучшим) углом избы называли тот, где находились иконы, а противоположный ему угол — желтый, в поверьях *желтыня*, *желтея* — мать лихорадок, семи дочерей Ирода. Иуду в средневековой живописи изображали желтой краской».[9]

Можно предположить, что основная часть ономастикона тюркских и монгольских народов сложилась до XIII в., а потому трудно допустить, что в алтайских *Сары-Бел*, *Сары-Булак*, *Сары-Агач*, *Сары-Кобы*, *Сары-Кӧл*, *Сары-Кыр*, *Сары-Суу*, *Сары-Таш*, киргизских *Сары-Бел*, *Сары-Булак*, *Сары-Жыгач*, *Сары-Коо*, *Сары-Кӧл*, *Сары-Кыр*, *Сары-Суу*, *Сары-Таш*,[10] казахских *Сарыбел*, *Сарыбулак*, *Сарыжал*, *Сарыкамыс*, *Сарыӧзек*, *Сарыӧзен*, *Сарысу*, *Сарытау*, *Сарытӧбе*, *Сарытӧр*,[11] монгольских *Šara aγula*, *Šara bulaγ*, *Šara γool*, *Šara nuur*, *Šara qada*, *Šara talayin süme*, *Šara tolγoi*, *Šara usu*[12] совершенно по-разному можно истолковать первый элемент.

Теперь остановимся на тех объяснениях для *сары* в топонимах, которые предлагаются рядом исследователей. Так, Е. Койчубаев пишет: «Имеется основание допустить, что по смыслу и звучанию в географических названиях компонент *сары* является модификацией: 1) иранской или таджикской основы *сар* в значении ʽголовной, главный’; 2) тюркской основы *сара* в значении ʽясный, ясноочерченный’, что вполне сохраняется в словарном составе современного казахского языка».[13] Эта же мысль повторяется автором в его диссертации[14] и словаре.[15] Данное мнение, видимо, разделяет Т. Д. Джанузаков[16] и развивает на киргизском материале Д. Исаев.[17] С такой позиции пересмотрены значения *сары* в топонимах *Сары-Булак*, *Сары-Чачма*, *Сары-Булуӊ*, *Сары-Камыш*, *Сары-Жыгач*, *Сары-Токой*.

На тюрко-монгольской почве *сары* не могло развить значения ʽглавный, основной, вершинный, великий, большой’, которые предполагаются в топонимах с данным компонентом в составе. Вполне допустимо, что в гидронимах развитие значения шло от всех оттенков желтого (ʽсовершенно желтый, желтоватый, рыжий, палевый, желто-бурый, бежевый, бледный, соловый, сероватый’) к ʽвесенний, снеговой, талый, песочный, мутный’, а для неводных объектов — ʽстепной, сухой, выгоревший’, причем явно чувствуется внесенность этого значения следующим существительным (даже и не на уровне собственных имен, см. киргизские и алтайские примеры). Видимо, только такое развитие и можно предположить в языке. Оно универсально, ср. латинское прилагательное *flāvus, a, um* ʽ1) огненного цвета, золотисто-желтый, золотистый; желтый, мутный (это прилагательное выбирает Гораций для реки Тибр); 2) румяный’, а также родственные ему *fulvus* ʽкрасно-желтый, темно-желтый, рыжий’ и *fel, fellis* ʽ1) желчный пузырь, желчь (в желчном пузыре); 2) желчность, горечь, злоба, ненависть; 3) яд’. Аналогичное развитие значений прилагательного *yellow* находим в английском языке: ʽ1) цвета золота, масла, желтка;

2) цвета кожи в старости или болезни; увядших листьев, зрелого зерна, старой бумаги; 3) имеющий естественно желтую кожу или цвет лица, как у людей монголоидной расы', а также *yellow plague* 'желтуха', *yellow fever* 'желтая лихорадка', т. е. качество или состояние, от которого желтеют, в том числе ревность, даже *yellow press* относится к газетам (или писателям газетных статей) беспринципно сенсационного характера и возникло в США в связи с фотографией, появившейся в 1895 г. в «New York World», где центральная фигура была в желтом одеянии; *yellowback* 'дешевое сенсационное произведение' (получившее свое название от бумажной желтой обложки, характерной для дешевых изданий XIX в.); *yellow-snow* 'снег, часто наблюдаемый в Альпах и в Антарктических зонах, окрашенный в желтый цвет за счет роста на нем определенных водорослей'; *yellow-soap* 'простое мыло, состоящее из жира, смолы и соды' и т. п. То же в немецком с прилагательным *gelb* (*gelb Tieber* 'желтая лихорадка'; *gelbe Rüben* 'морковь', *Gelbfuchs* 'буланая лошадь'; *Gelbsucht* 'желтуха' и т. д.). Данные примеры свидетельствуют, безусловно, об универсализме самого механизма переосмысления данного прилагательного и о том, что в большинстве случаев не бывает полной оторванности от изначального содержания слова.

В эпическом языке Маадай-Кара [18] находится лишь пейоративная коннотация, ср. *эки корон сары кускун* 'два ядовито-желтых ворона' (с. 137), *сары корон бу лай талай* 'желтое ядовитое море' (ср. с бурятским) (с. 137) наряду с *сары чӧл* 'желтая степь' (с. 95), *сары кӱн* 'желтое солнце' (с. 116), *jети сары ӧргӧӧ* 'семь желтых юрт' (с. 146), *jети сары аттар* 'семь желтых коней' (с. 146) и др.

Кроме того, К. Менгес [19] в одном из примечаний своей книги задумывается над тем, что «желтый» в названии страны *Sāry* могло означать не 'светлый, светлокожий', а употребляться в своем символическом значении 'земля > центр, императорский', как кит. *ḫuaŋ*. Небезынтересно в этой связи отметить, что Н. А. Аристов, исследуя тюркские родовые названия с эпитетами *кара* и *сары* отмечал, что *кара* 'черный' по отношению к родовым подразделениям употребляется в значении подчиненный, а 'желтый'. . . это на востоке цвет царский, аристократический». [20]

Если предположить, что в казахском и киргизском ономастиконе *сары* является переосмыслением иранского *сар* 'голова и т. п.' или ирано-таджикского форманта *сäр* || *сер*, указывающего на обилие чего-либо, что можно принять лишь в топониме Сары-Чачма, то сразу возникает вопрос, почему язык прибегнул к этому иранскому компоненту и созданию гибридов при наличии своих (и немалых!) средств для выражения понятия «большой, главный» — *баш*, *улуу*, *чоӊ* и др., которые обильны в киргизской топонимии.

Если искать иранские формы в топонимии, то очень вероятным был бы элемент и.-е. **sal-* 'течь, текущая вода' и его старый дублет и.-е. **ser-* 'течь, бежать', ср. др.-инд. *sarā* 'жидкий, текучий,

подвижный, (субстантивированное) водопад'[21] и ареальное расположение всех единиц с данным элементом.

Возможно, что для Средней Азии и Казахстана поиски иранского субстрата в элементе *сары* являются перспективными, для Южной Сибири и, вероятно, МНР традиционные значения *сары* 'желтый, совершенно желтый, желтоватый, рыжий, палевый, желто-бурый, бежевый, бледный, соловый, сероватый' и переносные 'весенний, снеговой, талый, мутный, песочный, степной, сухой, выгоревший' более приемлемы.

Теперь рассмотрим участие *сары* в образовании топонимов Горного Алтая. Как правило, *сары* входит составляющей частью в двусложные, редко трехсложные, образования. Ими могут быть имена рек, ручьев, озер, логов, гор, хребтов, урочищ, долин, стоянок, населенных пунктов, но преимущество за собой оставляют реки, лога и горы: реки *Сара-Агач*, *Сара-Адан*, *Сара-Тай*, *Сары-Ачык*, *Сары-Бел*, *Сары-Булак*, *Сары-Јул*, *Сары-Јулуш*, *Сары-Јуука*, *Сары-Коол*, *Сары-Ӧзӧк*, *Сары-Ӧгӧн*, *Сары-Суу* и др., лога *Сары-Кобы*, *Сары-Тыт*, *Сары-Чет*, *Сары-Чиби*, *Сары-Чобра*, *Сары-Шаал* и др., горы *Сары-Бут*, *Сары-Кайа*, *Сары-Кыр*, *Сары-Кылак*, *Сары-Меес*, *Сары-Сойок*, *Сары-Тас*, *Сары-Таш* и др. Вот как некоторые из объектов описаны путешественниками: «На четвертой версте вдоль левого берега видна полоса грязной воды, принесенной л. п. Бии — р. Саракокша, которая вздулась после дождей».[22] «Переправившись через Чую в челноке, мы стали подниматься по логу Сары-Кӧл-Јок к озеру Сары-Кӧл. Озеро, густо заросшее Polygonum amphibium, расположено у нижнего конца довольно широкой долины».[23]

Прилагательное *сары* участвует также в образовании личных имен алтайцев: *Сары* ('светлый, блондинка'), *Сарыбала* ('светловолосый ребенок'), *Сарыбаш* ('белокурый, белокурая'), *Сарыкыс* ('белокурая девушка'), *Сарыуул* ('белокурый сын'), *Сарытеке* ('соловый, рыжий козел'). *Сары* встречается в эпических и исторических именах людей и их эпитетах у всех тюрок Южной Сибири: *Сары-Тас* — имя богатыря, его эпитет — *сары аттыг* 'имеющий солового коня' (саг.); *Сарыг Кан* а) имя богатыря, живущего за 9 землями (кач.), б) имя богатыря, его эпитет — *сарыг аттыг* 'имеющий чалого коня'; *Сарыг Саiн* — сестра юноши Колы Саiн'а и дочь одной старухи (саг.);[24] *Сары Алтын* имя трехлетнего богатыря, его эпитет — *эки чаштыг сарыг аттыг* 'имеющий двухлетнего солового коня' (шор.); *Сары Кāн* имя богатыря (телеут.); *Сары Чӓлбӓгӓн* имя чудовища с тремя или четырьмя головами (шор.).[25]

Прилагательное *сары* является частью ряда алтайских названий родов: *сары-алмат*, *сары-јагырык*, *сары-јӱс*, *сары-иркит*, *сарылар*, *сары-сойоҥ*, *сары-тогус*, *сары-тодош*, *сары-чагат*. А. Н. Кононов обращает внимание на высказывание Н. А. Аристова о том, что слово *сары* 'рыжий, русый' в составе этнонимов свидетельствует о смешении тюрков с динлинами, указывая на благосклонное отношение к мнению Н. А. Аристова ряда других ученых.[26]

Фиксируются определенные пары, где в алтайских этнонимах существует противопоставленность *кара* ~ *сары*: *кара-алмат* || *сары-алмат*, *кара-јагырык* || *сары-јагырык*, *кара-иркит* || *сары-иркит*, *кара-сойоң* || *сары-сойоң*, *кара-тогус* || *сары-тогус*, *кара-тодош* || *сары-тодош*, *кара-чагат* || *сары-чагат*, отмечаемые у алтай-кижи и тубаларов. У алтай-кижи есть еще сеок *јети-сары*. Это, по мнению Л. П. Потапова, — «потомки енисейских кыргызов, оказавшихся на Алтае после распада их феодального улуса, игравшего в XVII в. видную политическую роль в жизни племен Саяно-Алтайского нагорья».[27] В сеоке *тодош* ряд исследователей записали разные подразделения. Л. П. Потапов пишет: «По записям Г. Н. Потанина, сеок *тодош* на Алтае имел подразделения *кара-тодош* и *кидат-тодош*, то есть 'черные' (или обыкновенные) тодоши и 'китайские' тодоши. Алтайцы считали, что часть тодошей пришла на Алтай из Тувы, где в прошлом платила одно время алман Маньчжурской династии. С. А. Токарев записал у алтайцев уже три подразделения сеока: *кара-тодош*, *кидат-тодош* и *манды-тодош*».[28]

Наложение на карту топонимов с *сары* показало довольно равномерное их распределение по всей территории Горно-Алтайской АО, за исключением крайнего юга и центральной части, где топонимов с *сары* нами не зафиксировано.

Если сравнить лексемную сочетаемость *кара*, *ак*, *сары*, то оказывается, что из большого количества единиц, с которыми употребляются данные прилагательные в топонимии Горного Алтая, лишь незначительное число географических апеллятивов может сочетаться со всеми тремя прилагательными. К ним относятся *булак*, *кайа*, *кат*, *кобы*, *коол*, *кӧл*, *ӧзӧк*, *сас*, *суу*, *таш*.

МИКРОПОЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО *КУБА*

Прилагательное *куба* отмечено в совсем немногих алтайских топонимах: р. *Куба* (п. п. Катуни), р. *Куба* (н. п. Чемал), р. *Куба-Тура* (л. п. Башкауса), р. *Алтыгы-Куба-Туу* (п. Песчаной), р. *Ӱстиги-Куба-Туу* (п. Песчаной). *Куба* в алт. имеет значение 'бледный, бледно-желтый; мутный (о воде)'; *куба чӧл*, *куба јазы* 'голая степь'; *кубакай-сары* 'кремовый'. В Маадай-Кара фиксируются сочетания: *куба чӧл* 'голая степь' (с. 95, 96, 100) *куба-ала чычкан* 'серо-пегая мышь' (с. 177).

Известно, что в др.-тюрк. *quba at* 'светло-бурая (~ саврасая) лошадь'; *Quba čaqïrča* 'имя собственное'.

К. Г. Менгес пишет, что «в монг. имеется *хиа* < **quwa* 'светло-желтый (о масти лошади)' и 'беловато-желтый (о волосах)'; кроме того, в монг. отмечено *хиba* < **quba* 'янтарь', которое заимствовано из кит. *ḩир'о* < *хио-р'ăk*; возможно, что на основе янтарного цвета произошла контаминация этого слова и другого — *хиа* < *quwa* / **quba*. Маньчжурский эквивалент — *qūva* 'ярко-желтый, соломенного цвета (о лошади, орле)' и 'рыжий (о лошади), тогда

как *хиba* 'янтарь' — то же самое заимствование из кит., как и в монгольском».[29]

В некоторых языках, например киргизском, *куба* развило большое количество значений, входит в сочетания, подвергается переосмыслению: *куба* 'белый; бледный; пепельного цвета; блондин'; *куба ит* 'белая собака (эвфемизм)'; *куба жигит* 'бледнолицый парень'; *куба чачтуу* 'с седыми волосами'; *куба кой* 'изжелта-серая овца'; *ак куба* 'белый-белый (например, о красивом лице)'; *куба сур* 'смугловатый'; *куба тобол* 'с белой макушкой'; *куба жапан чөл* 'сухая дикая пустыня'; *куба шамал* 'сухой ветер'; *куба жүлүн* 'белолицый'. Примечательно то, что ни в киргизскую, ни в казахскую топонимию *куба*, по данным словарей, не вошло.

В тув. *хува* / *хувала* 'соловый (о масти лошади)' в топонимии, судя по нашим материалам, никак не представлено. В хак. *хуба* 'бледный; бледно-желтый; светло-красный; светло-коричневый'; *хуба інек* 'светло-рыжая корова'; *хуба чалаас* 'голый'; *хуба чазы* 'седая степь', в топонимии Хакасии оно представлено наименованиями: г. *Хубачар*, н. п. *Хубачар*, улус *Хуба чарда.*

В топонимии средневековой Монголии *quwa* фиксируется чаще: *Quwa* (несколько гор), *Quwa naγur*, *Quwa todo*, *Quwa oboγ-a*, *Quwa öndör* и др. Всего 52 единицы из 13 644.

Таким образом, прилагательное *куба* получило крайне неравномерное развитие в тюрко-монгольских языках, в топонимии представлено редко (за исключением средневековой Монголии).

МИКРОПОЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО *КУУ*

Куу (стяженный вариант от *куба*) 'бледный, белый, серый, седой, бледно-желтый; голый, лишенный растительности; безлюдный' представлено в топонимии Горно-Алтайской АО значительным количеством примеров: ур. *Куу-Айры* (система Чолушмана), руч. *Куу-Ак*, р. *Куу-Баш* (п. п. Песчаной), р. *Куу-Баш* (н. п. Шаргайта), р. *Куу-Баш* (н. п. Аюла), лог. *Куу-Баш* (н. п. Шаргайта), г. *Куу-Баштың-Тайгазы* (н. п. Барагаш), р. *Куу-Кайа* (н. п. Каилда), руч. *Куу-Кӧл* (н. п. Узнезя), н. п. *Куу-Кыйу* (Шебалинский р-н), г. *Куу-Меес* (н. п. Кумжула), р. *Куу-Сеер* (л. п. Оныш), р. *Куу-Таш* (п. п. Сайдыса), г. *Куу-Таш* (н. п. Чичке-Чаргы), г. *Куу-Таш* (н. п. Шебалино), н. п. *Куу-Таш* (Майминский р-н), г. *Куу-Туу.*

Куу в алт. может входить в такие сочетания, как *куу агаштар* 'голые деревья', *куу баш* 'череп'. В Маадай-Кара *куу* отмечается в следующих оборотах: *куу туман* 'седой туман' (с. 80, 142), *куу тайга* 'голая скалистая вершина' (с. 90), *куу азу* 'белые клыки' (с. 95), *куу талку* 'серая кожемялка' (с. 150, 176), *куу сойок* 'голая сопка' (с. 154), *куу терек* 'голый тополь' (с. 154), *куу-јееren ат* 'светло-рыжий конь' (с. 207, 221), *куу тӧӈӧш* 'серый пень' (с. 241).

Еще большее развитие получило *куу* в кирг.: 'белый; бледный; бледно-желтый'; *куу мурут* 'светлоусый, белоусый'; *куу инген*

'белая верблюдица'; *куу тайган* 'белая борзая'; *куу бугу* 'белый олень'; *куу сакал* 'седобородый'; *купкуу* 'бледный-бледный'; *куу* 'сухой, высохший'; *куу сөөк* 'сухая кость'; *куу карагай* 'сухая ель'; *куу тезек* 'сухой помет'; *куу талаа* 'совершенно безжизненная пустыня'; *куу түз* 'пустынная равнина'; *куу какыр* 'сухая-сухая местность'; *куу жол* 'безлюдная, пустынная дорога' и т. д. В киргизской топонимии данный компонент присутствует в небольшом количестве названий: *Куу-Арча*, *Куу-Ашуу*, *Куу-Сере*. В казахской топонимии отмечены *Кутобе*, *Кушокы*. Хакасские словари приводят *хуу* '1) белый; бледный; бесцветный'; *хуп-хуу* 'бледный-бледный, очень бледный; 2) голый'; *хуу ағас* — 'голое, сухостойное дерево (без коры)'; *хуу чазы* 'голая степь'. В географических именах *хуу* редко: г. *Хуу хыр*, хр. *Хуу хая*.

В тув. *куу* '1) серый; 2) бледный'; *куу арын* 'бледное лицо'; *куу час* 'ранняя весна, весна еще без зелени (букв. бледно-серая весна)'. В топонимии Тувинской АССР *куу* присутствует в небольшом количестве случаев: оз. *Куу-Бут-Хел*, р. *Куу-Даг*, г. *Куу-Даг* (несколько объектов), р. *Куу-Дыт*, хр. *Куу-Тайга*, р. *Куу-Хем*. В шорских именах зафиксирована г. *Ꝗуꝗайад'ж'аꝗ* (несколько объектов).

В монгольских языках указанное прилагательное также получает широкое развитие: бур. *хуаа* 'песочного цвета, каурый (о масти лошади)'; *хуаа тооһон* 'пыль песочного цвета'; а также *хубхай* '1) белый; блеклый; бледный; 2) голый; 3) скудный, бедный'; *хубхай газар* 'бедная (растительностью) местность'; калм. *хо* '1) светло-рыжий; *хо зеерд мөрн* 'конь светло-рыжей масти; 2) белоснежный; 3) палевый'; монг. *хуа* / *ухаа* 'каурый, рыжеватый (о масти); кирпично-красный (о цвете)'; *ухаа морь* 'каурая лошадь'; п.-монг. *xova* ~ *xoua* ~ *uxuva* ~ *xua* ~ *xuγa* ~ *xuua* ~ *xuva* 'светло-желтый; каштановый, гнедой (о масти); бледный (о цвете лица)'; *xubāxai* 'побелевший и увядший на воздухе'.

В маньчжурских языках: эвенк. *кувас* ~ *куγас* 'белка (летняя рыжая)'; ма. *ꝗува* 'светло-желтый (цвета соломы)'; *ꝗува морин* 'светло-каурая лошадь'; *ꝗувала иχан* ~ *χола иχан* ~ *χувала иχан* 'светло-желтая, рыжая лошадь'.

Следовательно, *куу* получило неодинаковое развитие в алтайских языках, а также топонимии. Однако общую схему можно создать: *куў* 'бледный, бледно-желтый, светлый, серый, седой, белый; голый' употребляется по отношению к оробъектам, логам, рекам; *куу* 'сухой, высохший' — о деревьях; *куу* 'пустынный, безжизненный, безлюдный; бедный (растительностью)' — о местности, дороге, равнине; *куу* 'светло-рыжий, песочный, каурый' — о масти лошади; *куу* 'бледный' — о цвете лица.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В семантическое поле желтых цветов включены и те прилагательные, которые по вторичным основаниям могли бы входить в семантические поля белого и красного (последнее ограничено) цветов.

[2] *Молчанова О. Т.* Топонимический словарь Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1979, с. 71, 72, 87, 88, 105.

[3] *Вербицкий В. И.* Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Казань, 1884, с. 293.

[4] Сообщено Н. П. Кучияком.

[5] Сообщено Б. И. Татаринцевым.

[6] *Кононов А. Н.* Семантика цветообозначений в тюркских языках. — Тюркологический сборник. 1975. М., 1978, с. 176.

[7] *Бахилина Н. Б.* История цветообозначений в русском языке. М., 1975, с. 29.

[8] Там же, с. 37.

[9] *Мурьянов М. Ф.* К интерпретации старославянских цветообозначений. — ВЯ, 1978, № 5, с. 100.

[10] *Исаев Д. И.*, *Токомбаев Ш. Т.*, *Алиев З. А.*, *Мурзахметов С. М.* Словарь географических названий Киргизии (проект). Фрунзе, 1962.

[11] *Койчубаев Е.* Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-Ата, 1974, с. 191—193.

[12] *Haltod M.* Mongolische Ortsnamen aus mongolischen Manuscript-Karten. Wiesbaden, 1966.

[13] *Койчубаев Е.* Нецветовая сущность топонимических компонентов *ак*, *кара*, *кöк*, *сары*. — Всесоюзная конференция по топонимике СССР (тезисы). Л., 1965, с. 187.

[14] *Койчубаев Е.* Основные типы топонимов Семиречья. — Дис. . . . канд. филол. наук. Алма-Ата, 1966, с. 71—72.

[15] *Койчубаев Е.* Краткий толковый словарь. . ., с. 8—9.

[16] *Джанузаков Т. Д.* Основные проблемы ономастики казахского языка: Автореф. дис. . . . докт. филол. наук. Алма-Ата, 1976, с. 60.

[17] *Исаев Д.* Топонимика Северной Киргизии: Автореф. дис. . . . канд. филол. наук. Фрунзе, 1972, с. 13—14.

[18] Маадай-Кара: Алтайский героический эпос. М., 1973. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.

[19] *Менгес К. Г.* Восточные элементы в «Сло́ве о полку Игореве». Л., 1979, с. 70.

[20] *Аристов Н. А.* Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. — Живая старина, СПб., 1896, вып. 3, 4, с. 302—303.

[21] *Трубачев О. Н.* Таврские и синдомеотские этимологии. — В кн.: Этимология. 1977. М., 1979, с. 129.

[22] *Верещагин В. И.* По восточному Алтаю: Дневник путешествия в 1905 г. — Алтайский сборник. Барнаул, 1907, с. 13.

[23] *Верещагин В. И.* Поездка по Алтаю летом 1908 г.: Путевые заметки. — Алтайский сборник. Барнаул, 1910, т. X, с. 43. Взаимодействие между объектами здесь таково: река Сары—Кöл-Јок течет по логу с таким же названием, река пересыхающая, лог Сары—Кöл-Јок ведет к пересыхающему озеру желтоватого цвета Сары-Кöл.

[24] *Катанов Н. Ф.* Алфавитный указатель собственных имен, встречающихся во втором томе Образцов народной литературы тюркских племен, собранных В. В. Радловым. СПб., 1888, с. 68—69.

[25] *Катанов Н. Ф.* Алфавитный указатель собственных имен, встречающихся в первом томе. . ., с. 25.

[26] *Кононов А. Н.* Семантика цветообозначений. . ., с. 174—176.

[27] *Потапов Л. П.* Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969, с. 34.

[28] Там же, с. 36.

[29] *Менгес К. Г.* Восточные элементы. . ., с. 75—76.

Д. М. Насилов

К СООТНОШЕНИЮ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ В ТЮРКСКИХ АКЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМАХ

«Глагол. . . формирует на основе своего главного понятийного признака значения, в корне отличные от предметных . . . глагол характеризуется такими значениями, которые отражают характер действия, особенности протекания процесса, способ его осуществления, его источник и конечный результат. . . Ведь многие действия и состояния мыслятся не абсолютно, не в полном отвлечении от тех предметов, в которых они наблюдаются, но, напротив, применительно к тем предметам, с которыми эти действия происходят».[1] Указанные семантические особенности глаголов детерминируются свойствами отображаемых явлений реальной действительности, а именно познаваемыми в процессе трудовой деятельности качественными сторонами вещей и их взаимными отношениями. Однако сам ход отражения в сознании действительности, воспринимаются ли сами вещи или же воспринимаются свойства и отношения тех же вещей, остается одинаковым: активная производственно-социальная деятельность человека формирует в его сознании разноуровневые многоступенчатые абстракции — образы, результаты отражения объекта. Эти образы суть единицы мыслительные. Естественно, что такие образы, какого бы уровня отвлеченности они ни были, в конечном счете определяются свойствами объективной действительности. Но, как известно, «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его»,[2] и эта творческая сторона отражения предстает в нашем случае как интерпретация познанных разнообразных сторон действительности в качестве процессов. Такова онтолого-гносеологическая природа данного класса образов.

«Неязыковое знание находит отражение в языковом знании (И. А. Бодуэн де Куртенэ)».[3] «Языковое знание» — продукт общественно-коммуникативной деятельности, оно формируется в актах коммуникации на основе связей между образами — абстракциями мыслительными и значениями языковых знаков, определяемыми как «абстрактные коммуникативные образы».[4] Из сказанного следует закономерный вывод о том, что с опреде-

ленным подмножеством класса процессуально-содержательных образов соотносятся языковые значения, которые представлены в классе слов, относимых к части речи глаголу. Семантика процессности является в глаголе важнейшим его обобщенным категориальным свойством, присущим глагольной лексеме и определяющим ряд других признаков последней, в том числе и ее функциональные потенции. Таким образом, те содержательные особенности глагола, которые отмечены в цитате из работы Е. С. Кубряковой, действительно могут быть предопределены реальностью и поэтому закреплены в языковом значении, предназначенном для коммуникации. Языковое значение обязательно связано с языковым знаком, получает формальное выражение. Это может быть одна морфема, комбинация нескольких морфем или более сложное и развернутое их сочетание, а также типовая языковая модель.

Выделяют разные типы морфем, но для нашего изложения важно указать на морфемы корневые (включая понятие и о корневой основе, или базе) и деривационные (т. е. словообразовательные и словоизменительные). Оба типа связаны с лексическими, «вещественными», значениями, направленными вне языка.

В отношении корневых морфем (баз) с «вещественным» содержанием можно сказать, что в их значениях, как это неоднократно подчеркивает Г. В. Колшанский, закреплены в абстрактном виде строго определенные, выделенные как существенные признаки познанного отдельного дискретного факта (объекта) действительности. И эти «существенные и постоянные признаки» устойчиво удерживаются в слове (лексеме) «при всех употреблениях его в конкретных контекстах».[5] Г. П. Мельников также считает, «что „жестко“ ассоциированная с образом знака коммуникативная абстракция (т. е. значение. — *Д. Н.*) есть тот инвариант, который сохраняется при обозначении любого смысла с помощью данного знака».[6] Это — инвариантная составляющая последнего, его постоянный содержательный признак.

Различение языковых значений и внеязыкового мыслительного содержания, или смыслов, исходит из признания относительной самостоятельности языка и мышления при наличии между ними сложных взаимоотношений.[7] Это значит, что мыслительные процессы первичны по отношению к языковым и что наборы и объемы смыслов значительно шире и богаче того содержания, которое закрепляется в языке (в языковых значениях). С другой стороны, одно значение может соотноситься с целым рядом смыслов. Таким образом, в конкретном языке не наблюдаются однозначные соответствия между значениями языковых единиц и передаваемыми смыслами. Поэтому важно при грамматическом описании, различая эти два аспекта содержания, не подменять языковые значения достаточно абстрактными смыслами, передаваемыми в высказывании.

В каждом языке в значениях лексем закреплены присущие именно данному языку результаты гносеологической деятельности

его носителей. Но, будучи обобщенными и отвлеченными, лексические значения тем не менее не являются элементарными. Как уже отмечалось, в образе закрепляются признаки разной абстрагированности, в том числе и такие, которые поднимаются до уровня категориальных обобщений; ср., например, предметность, процессность, количество, деятель, одушевленность и др.

Деривационные морфемы, имея свои собственные значения, видоизменяют, дополняют, уточняют или преобразуют значения корневых (производящих) морфем, они участвуют в построении более сложных номинативных единиц, чем корневые (базовые) морфемы. Указанные морфемы обычно представлены аффиксами, однако деривационные значения могут быть переданы с помощью аналитических формантов (комплексных морфем), а также в редупликациях.

Значения аффиксов, хотя и характеризуются большей абстрактностью и обобщенностью, тем не менее также имеют структуру, мотивированную внешним миром.[8] В них, как правило, находят отражение признаки и отношения, свойственные познаваемым объектам. Подчеркнем, что деривация — это вторичный процесс, проистекающий на основе знания значений исходной базы, значения производящего форманта и ожидаемого результата взаимодействия этих двух значений, т. е. это эвристическое синтезирование нового целого, представленного до того элементами — более конкретным («вещественным») в базе и более абстрактным (обычно именуемым «грамматическим») в аффиксе. Естественно, что за такими процессами также стоит активная познавательно-интерпретирующая функция мышления, находящая в коммуникативной сфере представление в форме языковых знаков.

Идея о том, что сложение корневых и деривационных морфем есть своего рода синтаксическое построение, аналогичное словосочетанию, не чужда тюркской теоретической грамматике и находит свое обоснование в ряде работ.[9] Важно также подчеркнуть, что тюркологи отмечают сложность семантических отношений между морфемами — участниками деривационного акта.[10]

Что касается конструирования значений конкретных языковых знаков и иерархизации их компонентов, то они возможны благодаря вычленению абстракций разных рангов (т. е. признаков различных степеней обобщенности и отвлеченности) и вторичной интерпретации (в том числе и значимостей знаков) на уровне лингвистической теории (научной рефлексии). И все же, как представляется, нельзя не согласиться с выводом Г. В. Колшанского о том, что «в пределах языка всегда можно вычленить сегменты и установить микросистемные отношения как в лексике, так и в грамматике. Поиски системности в лексике есть не что иное, как поиски тех связей денотативного характера, которые группируют соответствующие языковые явления вокруг какого-либо объективно существующего явления (описание, например, семантического поля родства, цвета, каузальности и т. д.)».[11] Иначе говоря,

каждое такое обобщение имеет онтолого-гносеологическое обоснование и протекает обычно на основе процедуры интерпретации, под которой А. А. Холодович понимал «соотнесение факта языка с фактом объективной действительности»;[12] конечно, нельзя забывать, что связь «язык — реальность» не прямая, а всегда опосредована тем мыслительным образом, в котором отображен этот факт или событие действительности, корригируемые накопленным знанием.

Опыт таксономии языковых значений производящих и производных лексем и деривационных морфем предложен недавно Е. С. Кубряковой,[13] для которой исходным является признание ономасиологической природы основных категорий языка — предметности, процессуальности и признаковости. Очевидно, можно полагать, что дальнейшая субкатегоризация значений (обычно в рамках отдельных частей речи) действительно определяется этими главнейшими категориями. Но самое важное положение, которое необходимо принимать при анализе значений, это то, что они — значения языковых знаков и, следовательно, необходимо сопряжены с формальным представлением. За значением языкового знака стоят только коммуникативно важные признаки, содержательно весьма обобщенные, — о чем говорилось выше, — номинация (особенно вторичная, при деривации), очевидно, не может опираться только на такие отвлеченные признаки, релевантные в самом языковом механизме. Для эвристического синтезирования результата деривации, видимо, необходимо подключение более конкретных признаков именуемого факта. Знание об этих познаваемых (~ познанных) свойствах явления отражается на уровне мыслительного содержания, которое и детерминирует в данном случае ход деривационного процесса на уровне языка в его знаковой форме. Думается, что именно творческим мыслительным актом определяется «неповторимость семантики» производного слова, мотивированность структуры (через смыслы и значения) деривата.

В тайны первичной номинации проникает этимология, благодаря которой удается выделить признаки, отвлеченные некогда сознанием от реалий и отмеченные в абстрактной форме в значении корня. Знание о стоящих за словами современных предметах и явлениях опирается прежде всего не на эти тощие абстракции, а на более полнокровные образы существующих реалий, которыми оперирует мышление.

Как уже говорилось, категориальным содержанием глагола является процессность, представление свойств и отношений как процесса. В самой действительности процессу присущи качественные и количественные признаки. Поэтому в значении корневой (базовой) лексемы закреплены в общем виде и эти свойства процессов. Такие признаки в современной грамматике относят к аспектуальным, это — особенности действия-процесса «с точки зрения протекания и распределения во времени».[14] В глаголе как процессы представлены не только свойства изменяющиеся, но и

свойства постоянные, статические. Однако это сущностное различие свойств оказывается в своем системно-языковом проявлении значимым грамматически, подчиняя себе организацию высказывания и определяя функционирование глагольной лексемы. В данном случае на особом категориальном содержании формируются «грамматические классы или, точнее, разряды лексических значений» слов:[15] глаголы действия и глаголы не-действия, или состояния.

И. И. Мещанинов подчеркивал, что полярные группировки глаголов действия и состояния связаны между собой постепенными переходами, где затухают одни признаки и соответственно возрастают противоположные.[16] Если глаголы действия и не-действия являются двумя наиболее общими лексико-грамматическими разрядами глаголов вообще, определяемыми внутренними свойствами «вещественных» значений, то соподчиненные их подразряды отражают типы действий и состояний, которые соотносятся с упомянутыми крайними типами процессов вообще. Таким образом, на этом семантическом основании деления значений выстраивается целая пирамида соподчиненных разрядов и подразрядов, классов и подклассов лексем. И чем ниже опускаться по такой пирамиде, тем более значимыми и выпуклыми будут становиться конкретные особенности глагольного содержания, выражаемого отдельной лексемой, и поэтому кажется, что место лексико-грамматических признаков занимают признаки лексико-семантические и лексико-грамматический разряд пересекается уже с лексико-семантической группой глаголов. Однако это не так: здесь лексико-семантическая группа — закономерное проявление последовательного распределения глагольной лексики, основанного на лексико-грамматическом противопоставлении глаголов действия и состояния. В этом смысле лексико-семантическая группа остается столь же грамматически значимой в рамках данной корреляции, как и весь разряд, ибо в конечном счете реальное проявление данного противопоставления осуществляется всегда через отдельно взятый глагол, конкретную лексему.

Входящие в лексическое, «вещественное», значение корневой лексемы характеристики процесса являются по своему содержанию, конечно, весьма отвлеченными, но благодаря связям языкового значения с мыслительными образами, содержательно более емкими, а также употреблению глагола в высказывании, соотнесенном с ситуацией, такие характеристики уточняются, наполняются дополнительными оттенками, и тем самым конкретное действие предстает для коммуникантов во всей полноте его свойств, в том числе и аспектуальных.

Исследователи, занимающиеся описанием лексико-семантических групп в различных языках, обращают внимание на тот факт, что отдельные самостоятельные лексические значения глаголов могут различаться по своим аспектуальным признакам, сохраняя идентичность или большую близость «вещественного» содержания. Так, среди глаголов движения чувашского языка в группе, пере-

дающей направленное движение, выделяется подгруппа глаголов, в значениях которых отражено противопоставление по степени интенсивности процесса; ср.: *сӳре* 'двигаться вообще' (признак интенсивности не выделен) — 'двигаться интенсивно' [*ăнтăл*, *ĕшкĕн*, *вĕс*, *ĕрĕх*, *çиç* и др.] (признак интенсивности является одним из компонентов значения) — 'двигаться не интенсивно, медленно' [*танкăш*, *йăшалан*, *ленкке*, *лапăстат* и др.] (признак ослабленности входит в значение).[17] Аналогичные семантические компоненты отмечаются в лексических значениях самостоятельных лексем и в узбекском языке, где по интенсивности движения различаются глаголы *югурмоқ*, *чопмоқ*, *кочмоқ*, *елмоқ*, *қувмоқ*.[18]

Различными оттенками интенсивности процесса, отображаемого в лексическом значении, характеризуются также и глаголы звучания, например узб. *хахоламоқ*, *хехеламоқ*, *қиқирламоқ*, *пиқирламоқ*.[19] Градации скорости протекания процесса отмечены также и в глаголах говорения; ср. узб. *бидирламоқ*, *вижирламоқ*, *какшамоқ*, *ғулдирамоқ*, *имилламоқ* и др.[20] В лексических значениях глаголов могут выделяться и другие семантические компоненты, передающие особенности процессов. Но все это внутренние составляющие единого лексического значения, соотносящегося с целостным отображением отдельного факта. Словом, аспектуальные признаки существуют и осознаются в лексическом значении глагола так же, как и признаки в значении имени существительного; например, в значениях слов узбек. *пода* 'стадо', *гала* 'стая', *тӯда* 'группа', 'толпа', *йилқи* 'табун', *кӯч* 'рой' «вычленяется» отвлеченное свойство 'собирательное множество'; в словах *ӯрмон* 'лес', *тӯқай* 'заросли', *боғ* 'сад', *чакалак* 'чаща' выступает также 'собирательное множество', но уже не существ, а растений; в словах *қулоқ* 'ухо, уши', *оёқ* 'нога, ноги', *кӯз* 'глаз, глаза', *эмчак* 'грудь, груди' отмечается значение 'парность' или 'двойственность' и т. п.

Таким образом, в означаемом языкового знака для корневого или непроизводного (на синхронном уровне) глагола нет особых формальных компонентов, несущих содержательную информацию о свойствах или характеристиках развертывания процесса. Информация об этом черпается из единого значения знака и в большей мере подсказывается знанием о свойствах реального события, отраженным сознанием. Однако в тюркских языках наличествует набор формальных средств — деривационных показателей, специально предназначенных для выражения характеристик развертывания процесса, передаваемого глаголом. Эти показатели передают значения способов действия глаголов, или Aktionsart'а, поэтому такие значения мы будем называть акциональными.[21] В тюркских языках такие деривационные значения выражаются аффиксами и аналитическими формами, а также приемом редупликации.[22]

Каждый деривационный показатель обладает своим собственным языковым значением, с помощью которого происходит видо-

изменение значения производящей основы. Акциональные значения аффиксов расцениваются как грамматические и описываются в грамматиках в разделе морфологии (правда, в лингвистике идут споры о месте деривации в системе языка). Акциональные значения являют собой «ограниченное число типично примышляемых к [лексическому значению глагола] абстрактных значений»;[23] в данном случае это такие свойства процесса, как длительность и краткость, интенсивность и ослабленность, ограниченность и неограниченность, начало и окончание, многократность и однократность и т. п. Все эти характеристики отвлечены мыслью от реальных событий и в качестве коммуникативно значимых закреплены в значениях специализированных языковых знаков. Сочетаемость лексических и деривационных значений, как уже указывалось, сложный процесс эвристического их синтезирования. Спорной проблемой, на которую мало внимания обращает современная аспектология, остается квалификация статуса деривата, производной, модифицированной акционально лексемы. Если для признания в качестве отдельных двух лексем типа узбек. *чопмоқ* 'ехать вскачь' и *елмоқ* 'нестись во весь опор', различающихся интенсивностью процесса, видимо, ни у кого не возникает возражений, то противопоставление лексемы узбк. *ухламоқ* 'спать' и аналитической конструкции *ухлаб бормоқ* 'спать всю дорогу' (Самарқандгача ухлаб бордим 'Я [про]спал до самого Самарканда') оценивается тюркологами не однозначно.[24] По мнению А. А. Юлдашева, здесь «словообразование» сопровождается значением «процессуальности или типичности», а в случае *яхшиланмоқ* 'улучшаться' и *яхшиланиб бормоқ* 'улучшаться' различие состоит только в выражении аналитической формой «процессуальности перехода из одного состояния в другое»,[25] т. е. различие оказывается как бы только акциональным.

Проблема сдвига лексического значения при образовании сложновербальной конструкции со значением способа действия, видимо, не поддается однозначному решению. Однако в любом случае необходимо подчеркнуть тот факт, что результатом такой деривации всегда бывает наращение акциональной характеристики процесса, причем новый компонент лексического значения, выраженный формально, отличается большой обобщенностью, абстрактностью, тип которой выявляется в целом подклассе таких образований, т. е. обладает свойствами грамматическими.

Трудности, испытываемые аспектологами в данных вопросах, представляются совершенно обоснованными. Область акциональной деривации, сфера способов действия глагола захватывает разные языковые уровни и расположена в пограничных областях, проникая в денотативный, словообразовательный и категориально-грамматический ярусы языковой семантики. И это не случайно: модификация именно качественно-количественных признаков процесса может нарушить естественную меру данного процесса, и в таком случае в сознании носителя возникает представле-

ние уже о новом процессе, отличном от исходного. Однако стремление прервать этот диалектический путь рамками жесткой классификации оказывается не всегда оправданным и результативным.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Кубрякова Е. С.* Части речи в ономасиологическом освещении. М., 1978, с. 101—102.

[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 29, с. 194.

[3] *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978, с. 34, см. также с. 37—39. *Мельников Г. П.* 1) Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978; 2) Типы означаемых языкового знака и детерминанта языка. — В кн.: Проблемы семантики. М., 1974; 3) Семантика и проблемы тюркологии. — Советская тюркология, Баку, 1971, № 6.

[4] *Мельников Г. П.* Системология. . ., с. 261.

[5] *Колшанский Г. В.* Лингво-гносеологические основы языковой номинации. — В кн.: Языковая номинация: Общие вопросы. М., 1977, с. 114.

[6] *Мельников Г. П.* Системология. . ., с. 271.

[7] *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл; *Мельников Г. П.* Системология. . ., с. 267—290; *Павлов В. М.* Языковая способность человека как объект лингвистической науки. — В кн.: Теория речевой деятельности. М., 1968, с. 38—68; *Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983; Мышление: процесс, деятельность, общение. М., 1982, с. 36, 46—47 и др.

[8] *Мельников Г. П.* 1) Системология. . ., с. 270; 2) Скрытая смысловая деривация с позиций системной лингвистики. — В кн.: Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. Пермь, 1977, с. 64—92; *Гак В. Г.* К диалектике семантических отношений в языке. — В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976, с. 78.

[9] См.: *Баскаков Н. А.* Историко-типологическая морфология тюркских языков: (Структура слова и механизм агглютинации). М., 1979.

[10] См.: *Севортян Э. В.* Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966; *Ганиев Ф. А.* Суффиксальное образование глаголов в современном татарском языке. Казань, 1976.

[11] *Колшанский Г. В.* Лингво-гносеологические основы языковой номинации, с. 139.

[12] *Холодович А. А.* О предельных и непредельных глаголах. — В кн.: Филология стран Востока. Л., 1963, с. 7.

[13] *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений, с. 115 и след.

[14] *Маслов Ю. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии. — В кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978, с. 8.

[15] *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 87.

[16] *Мещанинов И. И.* Глагол. М.; Л., 1948, с. 130.

[17] *Васильева Т. Н.* Глаголы движения в современном чувашском языке. АКД. Уфа, 1980, с. 14—15.

[18] *Халиков К.* Глаголы движения в современном узбекском литературном языке. АКД. Самарканд, 1967, с. 4—5.

[19] *Мухитдинова Х. С.* Глаголы звучания в узбекском языке. АКД. Ташкент, 1979, с. 19.

[20] *Кучкартаев И.* Семантика глаголов речи в узбекском языке. АДД. Ташкент, 1978, с. 13—14. Ср.: *Степанова Г. В.* Лексико-семантическая группа глаголов речи в современном русском языке. АКД. М., 1970, с. 15.

[21] См.: *Шелякин М. А.* Основные проблемы современной русской аспектологии. 2. — Вопросы русской аспектологии. II. Тарту, 1977, с. 3—13; *Ломов А. М.* Очерки по русской аспектологии. Воронеж, 1977, с. 21—38.

14 Заказ 1165

Ср., однако: *Маслов Ю. С.* Универсальные семантические компоненты в содержании грамматической категории совершенного / несовершенного вида. — Советское славяноведение, М., 1973, № 4, с. 73.

[22] Подробнее см.: *Насилов Д. М.* Формы выражения способов глагольного действия в алтайских языках. — В кн.: Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. Л., 1978, с. 114 и сл.

[23] *Поливанов Е. Д.* Введение в языкознание для востоковедных вузов. Л., 1928, с. 24.

[24] *Юлдашев А. А.* Аналитические формы глагола в тюркских языках. М., 1965, с. 75—76.

[25] Там же, с. 75.

И. Е. Петросян

О ТРЕХ АНОНИМНЫХ РУКОПИСЯХ ИВ АН СССР

В коллекции ИВ АН СССР хранятся две аналогичные по содержанию турецкие рукописи, значащиеся в изданном каталоге как анонимные.[1] Первая из них, под шифром С 2339, имеет два позднейших названия — «Насихат аль-мулюк» и, как это явствует из записи одного из ее владельцев, «Мерхум ве магфурла султан Ибрахим саадетийле тахта гечтикте ишбу канун-намейи вердилер», иначе говоря, «Канун—наме». Рукопись была описана еще В. Д. Смирновым.[2] Вторая рукопись того же сочинения значится под шифром А 319. Она не имеет названия. Многочисленные списки этого сочинения указаны как В. Д. Смирновым, так и составителями недавнего каталога тюркских рукописей Института востоковедения. Ими указывается также перевод сочинения на немецкий язык, выполненный В. Ф. Бернауэром.[3]

В. Д. Смирнов, задолго до составления им каталога турецких рукописей библиотеки Учебного отделения восточных языков МИД, в своем исследовании трактата Кочибея Гёмюрджинского посвятил несколько строк и сочинению, переведенному Бернауэром. Основываясь на его содержании, он, как и Бернауэр, пришел к выводу, что оно представляет собой ряд различных наставлений султану Ибрагиму I (1640—1648). Автор этих наставлений «преподавал несведущему султану правила управления государственными делами».[4] Позднее, в своем описании рукописи этого сочинения (С 2339), В. Д. Смирнов подчеркнул, что данный сборник политических поучений мог быть составлен, судя по тону высказываний автора и манере обращения его непосредственно к султану, только очень близким к султанской особе лицом.[5]

Заинтересовавшись этой рукописью в ходе работы над переводом турецкого сочинения начала XVII в. «Мебде-и канун-и йеничери оджагы тарихи», автор настоящей статьи неожиданно для себя обнаружил ее текстуальное сходство с турецким трактатом, авторство которого приписывается Кочибею Гёмюрджинскому. Речь идет о так называемом втором трактате Кочибея, переведенном А. С. Тверитиновой.[6] Не подозревая, что сочинение

это представлено двумя рукописями в коллекции Института востоковедения, А. С. Тверитинова сделала свой перевод по изданию (латиницей), увидевшему свет в Турции в 1939 г.[7] Текст публикации, выполненной А. К. Аксютом, почти полностью совпадает с текстами обоих списков сочинения, хранящихся в Ленинграде.

Казалось бы, можно считать рукописи под шифром С 2339 и А 319, а также другие многочисленные списки этого сочинения не анонимными, а вышедшими из-под пера Кочибея Гёмюрджинского, автора, достаточно хорошо известного в отечественной туркологии. Однако дело обстоит не так просто. С достаточной степенью надежности авторство этого сочинения, как нам представляется, доказано не было. Публикацию текста, предпринятую А. К. Аксютом, нельзя признать научной, что и неудивительно, ибо Аксют — не профессионал (вышедший в отставку губернатор Биледжика, как он сам о себе сообщает).[8] Не зная о том, что обнаруженное им сочинение уже переведено на немецкий язык, правда, как анонимное и имеет несколько списков, Аксют заявляет, что публикует обнаруженную им утерянную часть сочинения Кочибея, представляющую собой 19 докладов.[9] А. К. Аксют не дал сведений о рукописи, на основе которой он подготовил публикацию текста. Однако именно ему принадлежит утверждение, что автором сочинения является Кочибей Гёмюрджинский. Оно основано на анонимной записи без даты, которую нашел Аксют на полях рукописи, включающей в себя в качестве первой части известный туркологам трактат Кочибея, переведенный В. Д. Смирновым. Запись эта гласит: «Известно, что Кочибей представил султану Мураду докладные записки (лаиха). Данные же записки — это то, что он написал по указанию султана Ибрагима. Из содержания этих записок и докладов, представленных Мураду, ясно, до какой степени серьезно покойный относился к этим приказаниям».[10]

Таким образом, какое-то неизвестное лицо приписало авторство 19 записок на имя султана Ибрагима Кочибею Гёмюрджинскому. Эти записки составляют вторую часть рукописи, которой пользовался А. К. Аксют. Конечно, соседство записок с первым трактатом Кочибея Гёмюрджинского в составе одной рукописи и анонимная запись на ее полях могут считаться доводами в пользу версии об авторстве Кочибея. К тому же имеется замечание Ахмеда Вефика, первого издателя докладных записок Кочибея Гёмюрджинского на имя султана Мурада IV (1623—1640), который в своей публикации отметил, что существуют также доклады Кочибея, представленные им султану Ибрагиму.[11] На это замечание обратили внимание как В. Д. Смирнов,[12] так и А. К. Аксют.[13] Однако остается неизвестным, на основании каких сведений Ахмед Вефик утверждал о существовании докладов Кочибея на имя Ибрагима.

К тому, что автором докладов к Ибрагиму, опубликованных Аксютом, является Кочибей Гёмюрджинский, склоняется и автор

статьи о нем в турецкой «Энциклопедии ислама» Чагатай Улучай. Он отмечает, что, хотя имеются сомнения относительно принадлежности сочинения, опубликованного Аксютом, Кочибею Гёмюрджинскому, сравнение его с докладами, поданными Мураду IV, приводит к выводу о едином авторстве: оба сочинения созданы на основе докладов, представленных султанам, и построены по одному и тому же принципу. Единое авторство подтверждает, по мнению Улучая, и запись на полях рукописи из библиотеки мечети Фатиха, которой пользовался Аксют.[14] Перевод ее приведен нами выше.

Итак, автором записок, или докладов, на имя султана Ибрагима является Кочибей?

Есть обстоятельства, которые все же не позволяют утверждать это с точностью. Так, в турецком журнале «Тарих весикалары» опытным турецким источниковедом Фаиком Решидом Унатом был опубликован в 1942 г. текст тех же самых записок, но с указанием другого автора — Кеманкеш Кара Мустафа-паши.[15] Правда, сам Унат не был уверен в правильности того, чтобы приписывать авторство Кеманкешу Кара Мустафа-паше. Будучи знаком с публикацией А. К. Аксюта, Унат признавал возможность авторства Кочибея. Тем не менее он издал текст писем на имя Ибрагима I с тем названием, какое значилось в рукописи, которой он пользовался. В начале этой рукописи имелось следующее название: «Кара Мустафа пашанын султан Ибрагиме йаздыгы канундур».[16] Унат высказал предположение, что занимавший при вступлении на престол Ибрагима пост великого везира деятельный Кеманкеш Кара Мустафа-паша, который не умел ни читать, ни писать, мог заказывать Кочибею написание конфиденциальных наставлений молодому султану Ибрагиму или диктовать их Кочибею.[17]

Запутанности вопроса способствует и недостаточность сведений о личности самого Кочибея. Кочибей — не настоящее, а литературное имя автора докладов на имя Мурада IV, известных как трактат Кочибея Гёмюрджинского. Как выяснил на основании каталога хедивской библиотеки Мехмед Тахир Брусалы, настоящее имя Кочибея — Мустафа.[18] Прозвание Гёрюджели идет, по-видимому, от места, где он предположительно родился. Во всяком случае в одной из турецких рукописей он назван как Боснави Кочибей, а его жена и сын похоронены в Гёридже (современная Горица в Югославии).[19] Таким образом, В. Д. Смирнов, очевидно, был неправ, считая Кочибея, вслед за Бернауэром, уроженцем Гёмюльджины и «прирожденным» турком.[20] К этому умозаключению В. Д. Смирнова привела резко враждебная позиция Кочибея по отношению к «иностранцам», как переводит В. Д. Смирнов слово «эджнеби», заполнившим аппарат власти в Османской империи, о чем пишет Кочибей в своем трактате, представленном султану Мураду IV. Однако термин «эджнеби» не имеет того смысла, какой вкладывал в него В. Д. Смирнов. Как это показано в туркологической литературе, этим словом обозначались в турецкой

историо-графической литературе лица, социальный статус которых не позволял им по неписаному закону занимать то или иное место в военной или придворно-административной иерархии.

Мехмед Тахир Брусалы, собравший воедино имеющиеся сведения о Кочибее, считал его албанцем по национальности (он пишет, что слово «коч» по-албански означает «красный»), взятым на воспитание во дворец, скорее всего по существовавшей практике набора — девширме. По прошествии времени Кочибей был зачислен в разряд придворных ага и являлся придворным служителем со времени правления султана Ахмеда I (1603—1617) до времени восшествия на престол султана Ибрагима I. Особенным влиянием при дворе Кочибей пользовался при султане Мураде IV. Именно Мураду IV он подал в 1631 г. свои доклады в виде трактата, посвященные вопросам управления государством, а затем подал целый ряд записок и султану Ибрагиму. Кочибей умер предположительно около 1650 г., в самом начале правления султана Мехмеда IV (1648—1687).[21] Никаких точных сведений о должностях, которые Кочибей занимал при дворе, не имеется.

Таким образом, две ленинградские рукописи, содержащие доклады на имя султана Ибрагима, умножают собой число списков сочинения, приписываемого Кочибею Гёмюрджинскому. Они могли бы иметь большое значение при издании критического текста, тем более что рукопись под шифром С 2339 переписана, возможно, еще при жизни автора в 1059 г. х. (1649 г.).Эта дата (цифрой) стоит в конце текста рукописи (без указания переписчика).[22]

В рукописном собрании ИВ АН СССР под шифром В 2422 хранится еще одно турецкое сочинение, которое в каталоге значится как анонимное. Оно имеет заглавие «Канун-и Ал-и Осман». Список неполный: пропущен шестой раздел. Авторы каталога определили сочинение как свод законов об административном делении Турции с указанием данных о земельных владениях (тимарах и зеаметах), количестве сабель, выставляемых каждой административно-территориальной единицей в случае военного похода. Они указали, что законы составлены в правление султана Ахмеда I (1603—1617). Рукопись переписана, по предположению авторов каталога, в XVIII в. почерком дивани. Переписчик в рукописи не назван. Авторы каталога отметили также, что к сочинению имеется большое добавление под названием «Рисале-и каванин-и Ал-и Осман хуляса-и мезамин-и дефтер-и диван», составленное, как они считают, в 1706—1707 г.[23]

Ознакомление с текстом рукописи привело автора данной статьи к выводу, что настоящая ленинградская рукопись является списком, включающим в себя два трактата Айни Али, опубликованных еще в прошлом веке турецким издателем Ахмедом Вефиком.[24] Тексты ленинградской рукописи и изданные почти полностью совпадают. Название первого трактата, входящего в ленинградскую рукопись, так же, как и имя автора, указывается

лишь в предисловии ко второму трактату из той же рукописи (о втором трактате речь пойдет несколько ниже). Название первого трактата выделено в рукописи золотом — «Рисале-и каванини Ал-и Осман хуляса-и мезамин-и дефтери диван».[25] Именно это название авторы каталога ошибочно приняли за название «добавления» к сочинению. В том же предисловии ко второму трактату («добавлении», по определению авторов каталога) Айни Али называет свое имя. Он пишет, что прежде занимал должность эмина султанских дефтеров, а ныне занимается их сличением,[26] что уже составил один трактат (имеется в виду трактат с вышеприведенным названием), посвященный системе тимаров в Османской империи и представленный великому везиру Мурад-паше.[27] В предисловии же к первому трактату о системе тимаров Айни Али не упоминает ни своего имени, ни названия сочинения. Зато он довольно подробно пишет о том, как, получив указание великого везира Мурад-паши собрать воедино разбросанные по различным дефтерам сведения о тимарах и зеаметах Османской империи, он написал труд, в котором представлены данные о числе бейлербейств и санджаков в Османской империи, о количестве имеющихся в них тимаров, зеаметов и хассов. Сделав это, он впервые, как здесь же указывает, представил в систематически собранном виде этого рода сведения, извлеченные им из «старых и новых дефтеров и канун-наме». Айни Али сообщает также, что писал свой труд в надежде, что он будет представлен через великого везира султану Ахмеду I.[28]

Существуют различные мнения относительно времени составления этого первого трактата. Издавший текст трактата Ахмед Вефик указывает в качестве года его составления 1018 г. х. (1609—1610).[29] Хадийе Тунджер, опубликовавшая трактат Айни Али в 1962 г., дает ту же дату по хиджре — 1018 г., однако переводит ее на европейский календарь с ошибкой — 1602 г.[30] А. Титце датирует произведение 1607 г.[31] Между тем время составления трактата можно определить с достаточной точностью. Известно, что Мурад-паша был назначен великим везиром в декабре 1606 г., будучи командующим на австрийском фронте. Приехав в Стамбул, он сразу же занялся подготовкой к военной экспедиции на восток и почти сразу же перебрался к армии на азиатский берег Стамбула в Ускюдар. Длительное время Мурад-паша вел борьбу с антиправительственными выступлениями в Анатолии и только 18 декабря 1608 г. прибыл со своей армией в Стамбул.[32] Лишь с этого времени Мурад-паша сравнительно длительное время находился в Стамбуле, занимаясь государственными делами в качестве великого везира. В конце мая 1610 г. он отправился с армией в иранский поход в качестве командующего и умер 15 августа 1611 г. в Диярбекире во время переговоров о мире с персидскими послами.[33] Таким образом, сколько-нибудь серьезным образом заняться государственными делами он мог лишь в период с 18 декабря 1609 г. по май 1610 г. В этот промежуток времени и были составлены по его указанию трактаты Айни Али.

Первый трактат Айни Али, посвященный описанию тимарной системы в Османской империи, явился не простым перечнем административно-территориального деления государства с указанием точного числа земельных владений и сабель в каждой единице, но произведением, в котором автор подверг анализу причины нарушения системы тимаров, невыполнения тимариотами и заимами своих военных обязанностей по отношению к султану. Мало того, Айни Али предложил также несколько мероприятий, которые, по его мнению, должны были способствовать наведению порядка в системе тимаров и вернуть былую боеспособность османской армии. Это сочинение, по-видимому, понравилось великому везиру, а возможно и султану, если только было ему представлено, так как Айни Али, находившийся не у дел, получил канцелярскую должность мукабеледжи (мукабеледжи занимались сверкой новых дефтеров со старыми, выявляя ошибки и возможные приписки).[34]

Получив от Мурад-паши поручение составить второй трактат, посвященный описанию штата придворных слуг (кул), гражданских и военных, с указанием получаемого ими из казны жалованья, Айни Али написал сочинение, которому дал название «Рисале-и вазифе-и харан ве мератиб-и бендегян-и Ал-и Осман».[35] В предисловии к нему автор обосновывает свою задачу, полагая полезным представить в собранном виде сведения о численности штата придворных слуг, о сумме их годового жалованья, выплачиваемого из казны, о назначенной им прибавке к жалованью. «Никто, кроме тех, кто специально тем занимается, обо всем этом не ведает, да и сведующие в том люди знают лишь то, что к служебным их обязанностям относится», — пишет Айни Али.[36]

Свой второй трактат Айни Али составил в 1610 г., так как он указывает, что при составлении его взял за основу сведения о жалованьи «решен» 1018 г. х.,[37] то есть за октябрь, ноябрь и декабрь 1609 г. Эта дата, 1018 г. х., присутствующая в тексте ленинградской рукописи и кем-то неверно воспроизведенная на полях (1118 г.), и приводится составителями каталога как дата составления «дополнения» к сочинению.[38] На самом деле это «дополнение» является не чем иным, как вторым произведением Айни Али, составленным в 1610 г. под названием «Рисале-и вазифе-и харан ве мератиб-и бендегян-и Ал-и Осман». Как видим, составители каталога неверно воспроизводят и название второго сочинения, входящего в ленинградскую рукопись под шифром В 2422.

Таким образом, ленинградское собрание восточных рукописей Института востоковедения АН СССР включает в себя представленные тремя списками два известных специалистам сочинения, значащихся в каталоге тюркских рукописей Института востоковедения как анонимные. Оба эти сочинения являются важными источниками для историков, изучающих социально-экономическое и политическое развитие Османской империи в XVII в.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Подробные сведения о них см.: *Дмитриева Л. В., Муратов С. Н.* Описание тюркских рукописей Института востоковедения. М., 1975, вып. 2, № 63—64. с. 109—111.

[2] Manuscrits turcs de l'Institut des langues orientales décrits par W. D. Smirnow (Collections scientifiques de l'Institut des langues orientales du Ministère des affaires étrangères. VIII). St.-Pb., 1897, N 28, p. 50.

[3] *Behrnauer W. F. A.* Das Nasîhatnâme: Dritter Beitrag zur osmanischen Finanzgeschichte. — Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft. Leipzig, 1864, Bd. 18, S. 699—740.

[4] *Смирнов В. Д.* Кучибей Гömюрджинский и другие османские писатели XVII века о причинах упадка Турции. СПб., 1873, с. 33—34.

[5] Manuscrits turcs, p. 51.

[6] *Тверитинова А. С.* Второй трактат Кочибея. — Учен. зап. Ин-та востоковедения, М.; Л., 1953, т. 6, с. 212—268.

[7] Koçi Bey risalesi. Şimdiye kadar elde edilmemis olan tarihî eserin tamamı. Eseri bulup tahşiye eden Ali Kemali Aksüt. İstanbul, 1939.

[8] Там же, с. 15.

[9] Там же, с. 11.

[10] Там же, с. 11—12.

[11] Nizâm-i devlete müteallik Göriceli Koçi Beğin saadetlü mehabetlü rebi' sultan Murad han Gaziye verdiği risaledir. [İstanbul], 1277 (1861), s. 1.

[12] *Смирнов В. Д.* Кучибей Гömюрджинский, с. 39.

[13] Koçi Bey risalesi, s. 11.

[14] Uluçay Ç. Koçi Bey. — İslam Ansiklopedisi. İstanbul, 1950. Cilt 5, kısım 2, s. 833—834.

[15] *Unat F. R.* Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa paşa lâyihası. — Tarih vesikaları. Sayı 6. Nisan, 1942, Cilt 1, s. 443—480.

[16] Там же, с. 443.

[17] Там же, с. 444—446.

[18] *Tahir B. M.* Osmanlı müellifleri. Cilt 3. İstanbul, 1343 (1924—25), s. 119.

[19] Там же.

[20] *Смирнов В. Д.* Кучибей Гömюрджинский, с. 40—41.

[21] *Tahir B. M.* Osmanlı müellifleri, s. 119—120; *Babinger F.* Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leipzig, 1927, S. 184—185; *Uluçay Ç.* Koçi Bey, s. 832—833; Nizâm-i devlete müteallik Göriceli Koçi Beğin. . ., s. 1.

[22] Nasihat al-mulük, л. 49а (Рукопись ИВ АН СССР).

[23] *Дмитриева Л. В., Муратов С. Н.* Описание тюркских рукописей, вып. 2, № 50, с. 87—89.

[24] Ayni efendinin kavanin risalesi. [İstanbul, 1864]. Сведения о месте и времени издания и имени издателя взяты у Белена: *Belen M.* Essais sur l'histoire économique de la Turquie, d'après les écrivaines originaux. — Journal Asiatique, VI sér. 1864, t. 4, août-septembre, p. 243. В более позднее время эти трактаты были опубликованы Хадие Тунджер: (Kanunname-i Âl-i Osman) Osmanlı devleti arazi kanunları. Bugünkü dile çeviren ziraat yüksek mühendisi Hadiye Tuncer. Ankara, 1962 (второй трактат издателем текстуально не выделен).

[25] Kanun-i Al-i Osman, л. 37а (Рукопись ИВ АН СССР).

[26] Там же, л. 36б.

[27] Там же, л. 37а.

[28] Ayni efendinin kavanin risalesi, s. 4.

[29] Там же, титульный лист.

[30] (Kanunname-i Âl-i Osman), титульный лист.

[31] *Tietze A*. Muṣṭafā ʻAlī's Counsel for Sultans of 1581. Edition, translation, notes. Part 1. Wien, 1979, p. 7.

[32] Tarih-i Naima. Cilt 2. Kostantiniye, 1280 (1863—64), s. 2, 8, 47.

[33] Там же, с. 83—84; İ. H. Uzunçarşılı. Osmanlı tarihi. Cilt 3, kısım 2. Ankara, 1954, s. 364.

[34] Ayni efendinin kavanin risalesi, s. 84.

[35] Там же, с. 85—86; Kanun-i Âl-i Osman, л. 37б (Рукопись ИВ АН СССР).

[36] Ayni efendinin kavanin risalesi, s. 86.

[37] Там же; Kanun-i Âl-i Osman, л. 38а. «Решен» — условное обозначение трех месяцев мусульманского лунного календаря: реджеба, шабана и рамазана.

[38] *Дмитриева Л. Д., Муратов С. Н.* Описание тюркских рукописей, вып. 2, с. 87.

И. Е. Петросян, Ю. А. Петросян

О ПЕРИОДИЗАЦИИ «ЭПОХИ РЕФОРМ» В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Борьба за реформы шла в Османской империи на протяжении значительного исторического периода — с конца XVIII до начала XX в. и представляла собой политически активный этап в процессе разложения османского феодализма и вызревания капиталистических отношений в этой стране. Реформы являлись частью буржуазной социальной революции, длившейся в Османской империи более века и подготовившей политическую революцию, известную под названием младотурецкой буржуазной революции 1908—1909 гг.[1]

Для определения исторического места и характера процесса борьбы за реформы в Османской империи представляется важным ленинский анализ зарождения и развития буржуазной социальной революции в России, известные слова В. И. Ленина о том, что «1861 год породил 1905».[2] Исходя из ленинских оценок, Н. А. Симония делает вывод, «что период зарождения и начального этапа социальной революции всегда составляет особый период, главным содержанием которого является умирание старой формации и появление элементов нового уклада, который, однако, все еще существует (вместе с соответствующими элементами новой надстройки) в оболочке старых отношений собственности».[3]

Период борьбы за реформы в Османской империи наглядно демонстрирует особенности указанного особого периода социальной революции. В конце XVIII—начале XIX в. этот начальный процесс социальной революции, уже так или иначе начавшейся в экономической области под влиянием постепенного втягивания Османской империи в мировой капиталистический рынок, пусть в качестве неравноправного партнера, получил мощный стимул в виде политики правящей турецкой верхушки, направленной к реорганизации ряда османских государственных институтов.

«Эпохой реформ» применительно к истории Османской империи мы называем весь тот исторический период, на протяжении которого правящие круги страны делали попытки реформировать механизм государственной машины, изменить социально-политические нормы жизни подданных турецкого султана и условия разви-

тия культуры страны в соответствии с требованиями времени, имея в качестве образца более развитые буржуазные государства Западной Европы.[4] Нельзя забывать при этом, что стремление к «модернизации» или «европеизации» во многом порождалось задачей сохранения власти султана над нетурецкими народами, национально-освободительная борьба которых в этот период все более грозила политическим распадом империи.

Вопрос о хронологических этапах «эпохи реформ» имеет важное значение для выявления особенностей реализации реформ.[4a] Разное понимание характера реформ и их движущих сил определяет и возможные различные толкования ее периодизации. Если принимать во внимание только сами реформаторские акты, то «эпохой реформ» будет цепь конкретных мероприятий начиная с военных преобразований султана Селима III на рубеже XVIII и XIX вв. Возникает вопрос, какой момент считать концом этой серии реформ. Некоторые исследователи, не приводя, впрочем, никакой аргументации, указывают на 1876 г., год провозглашения первой турецкой конституции. Нет единства и в решении вопроса о том, где лежит нижняя граница периода реформ. Одни считают, что начало реформ в Османской империи было положено в период правления Селима III, другие называют совершенно конкретную дату — 1826 г., год уничтожения янычарского корпуса.

На наш взгляд, такой разнобой объясняется отсутствием четкого понимания характера тех государственных преобразований, которые осуществлялись в период реформ. По существу нет никакой принципиальной разницы в военной реформе, которую проводили сначала Селим III, а затем Мамуд II в 1826 г. И тот и другой султан с их окружением ставили своей вполне осознанной задачей создание новой боеспособной армии, могущей противостоять технически и организационно более сильным армиям стран Европы. Сам по себе неуспех реформы ничего не значит в оценке всего движения за реформы и лишь определенным образом характеризует чрезвычайную слабость социальных сил, способных в тот момент поддержать проведение реформы. Такое положение симптоматично для самого раннего этапа начинающегося перехода общества в иную формационную стадию. Более того, именно неуспех проведения военной реформы Селима III указал султану Махмуду II тот единственный путь, который мог привести к успеху, — полную ликвидацию старого пехотного войска янычар, всеми корнями и традициями связанного со старой феодальной Османской империей. После военных реформ Селима III, а затем Махмуда II были сделаны шаги, расширяющие область государственных преобразований (кроме уничтожения янычарского корпуса и создания армии нового типа можно упомянуть и ликвидацию тимариотской системы, во многом связанной с военной организацией).

Реформы Селима III и Махмуда II, проводившиеся по их инициативе и активном участии, составляют первый период реформ в Османской империи, когда задачи реформ и их проведение фор-

мулируются и осуществляются самими представителями верховной власти, олицетворяющими в своем лице в этот период политическую силу, не связанную впрямую с социально-политическими интересами какой-то определенной части господствующего класса, что характерно для переходных формационных периодов.[5] Военная реформа в Османской империи, предусматривавшая создание новой армии, являлась тем государственным мероприятием, в котором остро нуждался старый господствующий класс в целом в интересах сохранения самих условий своего господства.

Вторым этапом реформ следует считать реформы 40—60-х годов XIX в. (завершающим актом их является закон о вилайетах 1864 г. и ряд незначительных экономических законодательных инициатив), проводником и организатором которых были государственные деятели из высшей бюрократии, своими корнями связанные с традиционными феодальными институтами Османской империи.[6] Это были представители той бюрократии, которая может быть названа новой по причине ее особой политической активности и умонастроения. В данный период они в конечном итоге с помощью реформ отстаивали свои пошатнувшиеся (по разным причинам) экономические и политические позиции в качестве старого господствующего класса. В условиях Османской империи середины XIX в. они явились той политической силой, которая взяла в свои руки инициативу в деле государственных преобразований.[7] Для этого периода проведения реформ в Османской империи было характерно тесное взаимодействие верховной власти султана с представителями основной массы господствующего класса, по своему экономическому образу жизни еще вполне феодального. Их взаимодействие временами нарушалось, и дело реформ вновь переходило в руки исключительно верховной власти. Это происходило тогда, когда в отдельных реформах и действиях реформаторов султаны усматривали угрозу своей авторитарной власти.

На данном этапе реформ переустройству подверглись многие звенья структуры управления, среди них появились качественно новые, были осуществлены культурные преобразования, значительно изменилось и законодательство. Для движущих сил этого периода реформ характерно постепенное расширение социальной базы реформаторов, которые к концу указанного периода приобретают активную поддержку молодой турецкой интеллигенции. Возникают предпосылки общественного движения за реформы.

Провозглашение в Османской империи в 1876 г. конституции и учреждение парламента, борьба за которые началась в 60-е годы XIX в., внесли в политическую жизнь страны совершенно новый элемент радикализма, который в конечном итоге оказался чуждым даже воспитанной в духе реформ необюрократии. Самую радикальную политическую реформу в Османской империи удалось осуществить с помощью социального слоя интеллигенции, являвшегося во многом продуктом буржуазных по своей направленности реформ, по-новому взглянувшего на задачи социальных

преобразований и конкретные пути их осуществления. Конституция и парламент, явившиеся главным результатом третьего, «конституционного», этапа реформ в Османской империи, затронули, пусть весьма слабо, казавшийся незыблемым институт власти султанов, которые до той поры санкционировали частные государственные преобразования. Борьбою новой социальной прослойки, интеллигенции, нашедшей себе сильную опору в правительстве в лице самого радикального необюрократа, Мидхат-паши, а также волею особо складывавшихся внешнеполитических и внутриполитических обстоятельств у султана была вырвана политическая уступка, превратившая турецкую деспотическую монархию в конституционную. Был сделан политически несколько преждевременный, как оказалось, но важный шаг на пути развития буржуазной социальной революции в Османской империи.

Провозглашение в 1876 г. турецкой конституции, это «забегание вперед» (в данный период развития османского государства) в процессе поэтапного осуществления задач буржуазной социальной революции в Османской империи, оказало неожиданно тормозящее влияние на процесс проведения реформ, цели которого были далеко не исчерпаны. Султанская власть в лице Абдул Хамида II, прерогативы которой, пусть минимально, оказались нарушены, вновь проявила свой авторитарный характер, встав «над классами» общества, стремившимися к освобождению от сковывавших экономических и политических норм жизни старой восточной деспотии. Так на свет появился режим «зулюма».

Только политический младотурецкий переворот 1908 г. смог создать условия, которые не только восстановили и прочно закрепили прошлый политический успех 1876 г., но и позволили продолжить процесс буржуазных социальных преобразований в стране. Младотурецкая политическая революция 1908 г. явилась тем инструментом, с помощью которого была доведена до конца конституционная реформа 1876 г. Движущими силами младотурецкого движения были широкие слои турецкой и инонациональной интеллигенции, в частности военной, сумевшей отразить интересы мелкобуржуазных слоев Османской империи, во многих отношениях заинтересованных в ограничении авторитарной власти турецкого султана. В годы правления Абдул Хамида II в Османской империи движение за реформы было лишено поддержки в высших эшелонах власти. Изменились условия развития этого политического процесса. Высшая бюрократия страны была отстранена от дела реформ силою авторитарной султанской власти, и продолжить ее можно было лишь в случае устранения этого политического препятствия, что и осуществила младотурецкая революция 1908 г.

Таким образом, реформенный период буржуазной социальной революции в Османской империи, в ходе которого социальными силами старой формации создавались элементы капиталистического уклада как в базисе, так и в надстройке, протекал в несколько этапов.

П е р в ы й э т а п связан с деятельностью султанов Селима III и Махмуда II, которые осуществили в целом успешно военную реформу, создав армию, способную поддерживать военно-политическую силу османского государства в новых условиях (1789—1830-е гг.).

В т о р о й э т а п, связанный с деятельностью высшей прослойки необюрократии, искавшей поддержки своим начинаниям не только у верховной власти, но и в более широких слоях бюрократической и иной интеллигенции, характеризует резкое расширение области реформ (40-е — начало 60-х гг. XIX в.).

Т р е т и й э т а п — это затянувшийся по времени период проведения в жизнь самой радикальной политической реформы — ограничения власти султана с помощью конституции, реформы, успешно осуществленной лишь в результате младотурецкой революции 1908 г. (60-е годы XIX в. — 1908 г.).

Последующий период буржуазной социальной революции в Османской империи, связанный с правлением младотурок, протекал уже на фоне качественно иной социально-политической ситуации. Реальная власть в стране (через парламент) перешла к буржуазным, в той или иной степени, элементам османского общества, искавшим политического соглашения уже не с султанской властью, а со старым господствующим классом (также постепенно обуржуазивавшимся), не желавшим сдавать свои традиционно сильные позиции в аппарате государственного управления, которые позволяли ему активно участвовать в формировании внутренней и внешней политики османского государства.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О соотношении социальной и политической революции см.: *Симония Н. А.* Страны Востока: пути развития. М., 1975, с. 20—22.

[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 20, с. 177.

[3] *Симония Н. А.* Страны Востока. . ., с. 22.

[4] Нами принимаются во внимание материалы и выводы работ советских и зарубежных исследователей по узловым проблемам истории Османской империи в XVIII—начале XX в. В их числе: *Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А.* Очерки истории Турции. М., 1983; *Желтяков А. Д.* Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции (1729—1908). М., 1972; *Желтяков А. Д., Петросян Ю. А.* История просвещения в Турции (конец XVIII—начало XX в.), М., 1965; *Новичев А. Д.* История Турции. Л., 1968—1978, т. 2—4. *Петросян Ю. А.* 1) Младотурецкое движение (вторая половина XIX—начало XX в.). М., 1971; 2) Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи (конец XVIII—начало XX в.). М., 1985; *Mardin Ş.* Jön türklerin siyasi fikirleri. Ankara, 1964; *Tunaya T. Z.* Türkiyenin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri. İstanbul, 1960; *Berkes N.* The Development of Secularizm in Turkey. Montreal, 1964; *Davison R. H.* Reform of the Ottoman Empire, 1956—1876. Princeton, 1963; *Devereux R.* The First Ottoman Constitutional Period. Baltimore, 1963; *Lewis B.* The Emergence of Modern Turkey. London; New York; Toronto, 1965; *Mardin Ş.* The Genesis of Young Ottoman Thought. Princeton, 1962; *Ramsaur R. E.* The Young Turks. Princeton, 1957; *Shaw St.* 1) Between Old and

New. Massachusetts, 1971; 2) History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge, 1971—1977, vol. 1—2.

[4a] См., например: *Дулина Н. А.* К вопросу о периодизации реформ Танзимата. — ПИ и ПИКНВ. XIV годичная сессия ЛО ИВ АН СССР. Ч. 1. М., 1979.

[5] Подробнее об этом см.: Эволюция восточных обществ: Синтез традиционного и современного. М., 1984, с. 198 и сл.

[6] Подробно об этом см.: *Петросян И. Е.*, *Петросян Ю. А.* К вопросу о движущих силах реформаторского и конституционного движения в Османской империи: (Некоторые процессы социальной трансформации). — В кн.: Тюркологический сборник. 1974. М., 1985, с. 110—126.

[7] Об отдельных представителях этой бюрократии см.: *Фадеева И. Е.* Мидхат-паша: Жизнь и деятельность. М., 1977; *Фадеева И. Л.* Основные черты программы османских реформаторов 50—60-х годов XIX в. Али-паши и Фуад-паши. — НАА, 1978, № 4; *Дулина Н. А.* Тензимат и Мустафа Рашид-паша. М., 1984.

Ю. А. Петросян

ИЗ ИСТОРИИ ТУРЕЦКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ПРЕССЫ НАЧАЛА XX ВЕКА

На рубеже XIX и XX вв. турецкая эмигрантская пресса младотурок была представлена немалым перечнем газет. В их числе были значительные издания, выходившие длительное время и оказавшие большое воздействие на формирование и пропаганду идейно-политических взглядов младотурок. Вместе с тем нередки были случаи кратковременного существования газет, издававшихся как различными многочисленными эмигрантскими группировками младотурок, так и отдельными деятелями их движения.[1] Эмигрантская пресса младотурок до сих пор не представлена сколь-нибудь полными собраниями в одном книгохранилище. Она рассеяна по библиотекам и частным книжным собраниям Лондона, Парижа, Женевы, Стамбула, Анкары, Каира, Пловдива и ряда других городов. Рядом ценных изданий располагают и библиотеки Ленинграда. В их числе и крайне редкие экземпляры газеты «Анадолу» («Анатолия»), несколько месяцев выходившей в Каире в 1902 г. Поскольку полный учет такого рода изданий и анализ их содержания важны для характеристики идеологии младотурецкого движения и идейной борьбы внутри него, представляется целесообразным рассмотреть и материал дошедших до нас номеров газеты «Анадолу». Историки турецкой печати и «вольной» прессы младотурок об этой газете только упоминают.

Об издателе газеты известно немногое. Аданалы Сулейман Вахид не был в числе идеологов или лидеров младотурецкого движения. Скорее всего «Анадолу» отражала сумму личных взглядов издателя — участника деятельности каирской группы младотурок.

Ее недолговременное существование относится к тому периоду, когда идейный разброд в рядах младотурок отразился и на каирской их группе. После раскола младотурок на конгрессе в Париже в феврале 1902 г. в Каире несколько лет издавалась только одна значительная их газета «Шура-и уммет» («Совет общины»). Но и она, по сути дела, только печаталась в Каире, ибо основным центром ее подготовки и местом пребывания редколлегии был Париж. Таким образом, «Шура-и уммет» был практически органом

парижской группы младотурок, возглавлявшейся Ахмедом Ризой. И хотя группа отражала взгляды большинства идеологов и лидеров движения, разобщенность и идейные противоречия продолжали в этот период определять политическую атмосферу и организационное состояние оппозиционного султанскому самодержавию движения младотурок. Каирский центр во многом отличался от парижского. Традиционализм и мусульманская консервативность чаще определяли здесь идеологию младотурецких издателей и публицистов. Во всяком случае «Шура-и уммет» далеко не всех здесь могла удовлетворить. Это обстоятельство стоит принять во внимание при оценке самого факта появления новой газеты каирских младотурок.

«Анадолу» начала издаваться примерно в середине апреля 1902 г.[2] Не исключено, что совпадение во времени начала издания «Шура-и уммет», начавшей выходить в Париже 10 апреля 1902 г., определено и какими-то случайными факторами. Но совпадение представляется символичным. Каирская группа младотурок, до начала 1902 г. игравшая очень большую роль в младотурецкой прессе (издание таких крупных газет, как «Канун-у эсаси» («Основной закон»), «Санджак» («Знамя»), «Османлы» («Османец») и ряд других изданий),[3] не могла не попытаться восстановить свое значение в движении и укрепить свои ряды. Издание оппозиционных газет рассматривалось ими как наиболее эффективное средство решения таких задач. В подобной обстановке началось издание «Анадолу». Располагая лишь двумя номерами — третьим и седьмым, — мы не можем ответить на вопрос о длительности существования газеты. Судя по тому, что известные нам работы по истории турецкой печати и младотурецкого движения не содержат материалов этой газеты, ее издание длилось недолго и не оставило заметного следа в истории движения. Имя ее издателя также не встречается в специальных работах. И все же газета заслуживает внимания специалистов.

Историка может привлечь уже само название газеты. В довольно длинном перечне младотурецкой эмигрантской периодики крайне редки названия, связанные с идеями тюркизма. Более всего названия младотурецких газет отражали либо общие лозунги свободы и прав человека, либо идеи общеимперского патриотизма — османизма. Название «Анадолу» как бы напоминало об особом значении Анатолии для турок-османов. А уже в седьмом номере газеты в ее подзаголовке появляются слова — «Турецкая газета, обсуждающая причины тирании».[4] Обычно младотурецкие газеты называли себя «османскими», а не «турецкими», подчеркивая, что отражают интересы всех подданных империи — «османов». И хотя по своему содержанию «Анадолу», насколько об этом можно судить по дошедшим до нас номерам, в целом находится в русле младотурецкой пропаганды этой поры, заголовок и подзаголовок газеты вряд ли были совсем случайны. Скорее это один из признаков процесса развития турецкого национального самосознания.

Тюркистскими идеями была окрашена и статья «Возможно ли величие?», опубликованная в 7-м номере «Анадолу». Хотя в ней главное внимание было уделено распространенной в среде младотурецких публицистов теме закабаления мусульманских народов европейскими державами, заканчивалась статья необычным призывом — «Так не потеряем же надежды, турки».[5] Не случайно, вероятно, и то, что почти одновременно с появлением «Анадолу» в Каире появилась и некоторое время издавалась в 1902—1904 гг. газета «Турок» [6] (или «Тюрок», в зависимости от смысла, который вкладывали в это слово издатели). К сожалению, мы не располагаем никакими сведениями о ее содержании.

Что касается содержания материалов «Анадолу», то они могут быть охарактеризованы следующим образом. Издатели газеты ставили своей целью разоблачение деспотического режима султана Абдул-Хамида II, а также пропаганду борьбы с деспотизмом и распространения знаний. Эти задачи ставили перед собой обычно все органы младотурецкой эмигрантской прессы. И все же освещение их на страницах «Анадолу» имеет свою специфику. На первый план в материалах двух рассматриваемых нами номеров выдвинуты проблемы анализа сущности деспотизма и просвещения народа. Две трети текста в 3-м номере газеты от 23 мая 1902 г. занимала редакционная статья «Деспотизм», в которой в теоретическом плане анализировалась сущность деспотизма. Пожалуй, центральной идеей статьи было утверждение и обоснование тезиса о том, что деспотизм по сути своей противоречит корану и шариату. Статья утверждала, что «у деспотизма есть лишь один противник — справедливость. Подобно тому как справедливость является основой добрых нравов, их истоком, деспотизм представляет собой первооснову нравов, достойных порицания».[7] Резюмируя свои взгляды на сущность деспотизма и способы борьбы с ним, автор (или авторы) статьи писали: «Итак, шариат предписывает нам прямоту, честность, верность, справедливость и сострадание. Он препятствует низости, коварству, лжи, деспотизму и тирании».[8]

Тема осуждения деспотизма с позиций заповедей корана и норм шариата была очень распространенной в младотурецкой публицистике этого времени. Но издатели «Анадолу» не просто представляли на страницах своей газеты шариат и его интерпретаторов — улемов — в роли гарантов справедливости и противников деспотизма. Они касались и другой стороны вопроса, реже затрагивавшегося младотурецкими публицистами. Речь идет об оценке роли сословия улемов в деле распространения знаний и просвещения народа, которое издателям газеты представлялось важной предпосылкой создания реальных условий для борьбы с деспотизмом султана Абдул-Хамида II. Эта тема — основа редакционной статьи 7-го номера «Анадолу» от 21 июля 1902 г. под названием «Знание и улемы». Статья концентрировала внимание читателя на исключительном значении знаний и просвещения для судеб нации, находящейся в состоянии упадка. В статье

содержалась критика сословия улемов, в частности в связи с состоянием уровня преподавания в медресе, не дающих учащимся никаких знаний. «Знания являются единственным средством спасения нации, находящейся в состоянии упадка».[9] Этот тезис, сформулированный в самом начале статьи, звучит ее лейтмотивом. Статья заканчивается призывом к улучшению преподавания в медресе, в частности и на основе опыта обучения и воспитания учащихся в военных училищах, тщательного изучения турецкого и арабского языков, сугубо религиозных дисциплин, а также истории философии.

Тщательность обучения учащихся, воспитание в них должных нравственных качеств представлены на страницах «Анадолу» как путь совершенствования системы обучения в медресе.[10]

Газета «Анадолу», подобно большинству органов младотурок, направляла острие публицистической критики против самого султана Абдул-Хамида, представляя его олицетворением того деспотизма и тирании, к борьбе с которыми призывала редакция газеты. В рассматриваемых номерах печатались подвальные статьи под названием «Подлинное лицо Абдул-Хамида».[11] В них на примерах из жизни султана, в частности обстоятельств биографии принца и истории его прихода к власти, читателю представляли Абдул-Хамида как личность бездарную и порочную.

«Анадолу» печатала и различного рода статьи по злободневным политическим темам. Так, в 3-м номере была помещена статья, в которой опровергались газетные толки относительно стремления египетского хедива провозгласить себя халифом.[12]

Конечно, трудно сделать определенные выводы об идейной направленности газеты по двум дошедшим до нас номерам. Но все же их материалы дают представление о целях и задачах издателей «Анадолу». Они стремились пропагандировать идеи борьбы с абсолютизмом Абдул-Хамида II, внушать читателю мысль о возможности прогресса Османской империи в новых исторических условиях на базе традиционных институтов мусульманского общества, убеждать читателя в огромной роли знаний для прогресса государства и общества. В этом плане «Анадолу» стоит в ряду нескольких десятков изданий младотурецкой эмиграции. Особенно примечательной для исследователей является ее попытка обратиться к тюркистским идеям, которые для младотурок этой поры не были характерны. Как известно, до революции 1908 г. в среде младотурок господствовали идеи османизма.

Малоизвестные номера газеты «Анадолу» открывают исследователям еще одну страницу в длительной и сложной истории младотурецкой эмиграции, расширяют наши познания о путях формирования идеологии младотурецкого движения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О периодических изданиях младотурок в эмиграции см.: *Желтяков А. Д.* Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции (1729—1908 гг.). М., 1972, с. 239—291; *Mardin Ş.* Jön türklerin siyasi fikirleri, 1895—1908. Ankara, 1965.

[2] Газета издавалась два раза в месяц. Один из двух ее номеров — третий, которым мы располагаем, вышел в свет 23 мая 1902 г.

[3] См. об этом: *Желтяков А. Д.* Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции, с. 269—275.

[4] (далее — Anadolu) — اناطولی، نومرو ٧

[5] Anadolu, № 7, s. 4.

[6] См.: *Mardin Ş.* Jön türklerin. . ., s. 249.

[7] Anadolu, № 3, s. 2.

[8] Ibid., s. 3.

[9] Anadolu, № 7, s. 1—2.

[10] Ibid., s. 2—3.

[11] Anadolu, № 3, s. 2—3; № 7, s. 2.

[12] Anadolu, № 3, s. 3.

Л. П. Потапов

САКРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 'БОГАТЫЙ' В АЛТАЕ-САЯНСКИХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

(ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ) [1]

Слово 'богатый', как и слово 'бедный', в тюркских языках исследовано специально А. Н. Самойловичем. В его известной работе [2] прослежена история обоих слов в социальном значении. Но А. Н. Самойлович затронул еще один аспект значения слова *богатый* в тюркских языках, отражающий религиозные верования. В обоснование выдвинутого им положения автор привлек этнографический материал, в том числе и из тюркских языков алтае-саянских народов. Обращение А. Н. Самойловича к этнографическому материалу вполне естественно, ибо он, как ученый, был представителем классической школы русского востоковедения, завоевавшего мировое признание в науке еще задолго до Октябрьской революции.

Востоковеды этой школы — филологи, историки, лингвисты, будь то тюркологи или монголисты, арабисты или иранисты, кроме письменных источников привлекали в своих исследованиях этнографический, археологический, фольклорный материал. Напомню в этом отношении о В. В. Радлове, чьи труды, по выражению А. Н. Кононова, составили «эпоху в истории мировой тюркологии».[3] Добавлю, что В. В. Радлов внес ценный вклад в этнографию тюркских народов Сибири и Средней Азии. Велика роль его и в организации этнографических исследований, которую он играл будучи директором Музея антропологии и этнографии нашей Академии наук и возглавляя «Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, лингвистическом и этнографическом отношениях», исследовательская деятельность которого имела большое международное значение. Видимо, под влиянием своего маститого учителя А. Н. Самойлович уже с первых лет деятельности не только использовал для своих лингвистических и филологических исследований этнографический и фольклорный материал, но и сам успешно занимался его сбором в полевых условиях. Он был связан с такими этнографическими журналами, как «Живая Старина», «Этнографическое обозрение»,

«Советская этнография», в которых печатал свои работы. Во время научных поездок к различным народам А. Н. Самойлович собирал этнографические коллекции для ленинградских этнографических музеев, а в Ленинградском университете участвовал в подготовке этнографов-тюркологов.[4]

Прежде чем рассмотреть этнографический материал о сакральном значении слова *богатый*, я напомню, что данное слово привлекло внимание А. Н. Самойловича в форме bay и bayat. Он указал при этом, что еще Г. Вамбери в 1878 г. в своем этимологическом словаре сближал слова со значением 'богатый', 'князь', 'бог' в тюркских языках, а Н. Я. Марр независимо от Вамбери «включил в один пучок значений: *руку* и те же слова *богатый*, *князь*, *бог* в языках яфетической системы».[5] Увидев в этом новый аспект значения слова *богатый*, А. Н. Самойлович привлек конкретный материал из тюркских языков, начав это с рассмотрения слова bayan-bayat. Он пишет: «Слово bayat, которое можно рассматривать как древнюю форму множественного числа на -t от вышеупомянутого слова bayan, обозначало, по словам Махмуда Кашгарского (III, 128), бога на языке племени аргу и вместе с тем, как это нам известно из других источников, служило названием, по-видимому, тотемного происхождения, одного из гузских племен (I, 56; III, 128)».[6]

Затем в связи со словами bay и bayan А. Н. Самойлович приводит название другого племени, также упоминаемого Махмудом Кашгарским и известного по другим источникам, включая названия селений в Анатолии, именно племени bayandur, а также этническое название в орхонских надписях bayirqu.[7] Я несколько задержусь на этом пассаже, чтобы привести некоторые параллели к данному материалу и его интерпретации, поскольку приведенные выше слова сохранились и употреблялись, например, у северных телеутов и северных хакасов-кизильцев. Прежде всего о племени аргу, в среде которого (в XI в.) бытовало слово bayat в значении 'бог'. Мне уже приходилось указывать, что среди тюркского населения долины р. Чулыма русские письменные источники начиная с XVII в. систематически фиксируют родоплеменную группу аргун, именуя ее Аргунской волостью. В свое время я показал, что аргуны попали сюда, как и некоторые другие родоплеменные группы, с запада, из района Тобольска, после падения Сибирского ханства в конце XVI в., что еще раньше они, как повествуют предания, составляли с казахской ордой один народ. Последнее вполне подтверждается тем, что среди казахов Средней орды аргуны составляли значительную группу.[8] Таким образом, кочевники XI в. аргу, название которых Махмуд Кашгарский поместил в свой словарь, в какой-то части оказались продвинувшимися к Тобольску, а к началу XVII в. в бассейн Чулыма, где смешивались с кизильцами и северными телеутами. Возможно, это частично объясняет и то, что среди телеутов широко было распространено слово *байана* 'божество', характерное для названия бога у аргу. Однако я думаю, что более правильное объяснение

этого факта следует видеть в распространении слова bayan для названия божества у ряда тюркских племен и народов, которое отражает кроме социального и религиозное, сакральное значение. Но, прежде чем остановиться на данном предположении, скажу, что наблюдение А. Н. Самойловича о словах bayan и bayat в названиях некоторых тюркских племен или родов, также подтверждается, хотя без каких-либо признаков и намеков на тотемное происхождение.

Возвращаясь к слову bayan — bayat замечу, что со значением этого слова у алтае-саянских тюрков наблюдается та же ситуация, которая отражена в словаре Махмуда Кашгарского, побудившая А. Н. Самойловича выдвинуть положение о бытовании слова bayan — bayat в области верований. Речь пойдет о северных телеутах б. Кузнецкого уезда, точнее об их большой группе, обитавшей в бассейне верхнего течения р. Ини (правый приток Оби) по рекам Большой и Малый Бочаты (ныне Кемеровская обл.). Они именовали себя *пайат* (bayat) вплоть до нашего времени. Название в форме *пайан* (bayan) фиксируется русскими документами уже с начала XVII в. как название ясачной волости и сохранялось для таковой вплоть до начала XX в. Под названием пайат телеуты были известны кумандинцам, челканцам, телесам и алтайцам Горного Алтая. Одновременно слово *пайан* широко употреблялось у телеутов в качестве названия божества. Это же самое можно сказать и про слово *бай*, отраженное в нескольких родоплеменных названиях родов в форме *байлагас*, *байгода*, *байгара* (у алтайцев, койбалов, тувинцев).

В самой среде северных телеутов религиозное значение слова *пайан* ∼ *пайана* было довольно разнообразным. У шаманистов оно обозначало целую категорию доброжелательных духов, преимущественно небожителей, в том числе Ульгеня и его дочерей, обитавших на 14-м слое небес. В состав данной категории входили те или иные божества и духи, носившие и собственное имя, например *Тотой пайана* — Владыка грома, дождя и града. Его изображали символически среди рисунков на шаманском бубне в виде облака. В других случаях, например на бубне бывшей шаманки Марфы Тодышевой, который я подробно изучал в свое время, рисунок, посвященный Тотою, изображал *бура* (коня символического), на котором ездило это божество и назывался он «*Мундус пайаназынын кара буразы*», т. е. «вороной конь божества рода Мундус».[9] Однако должен заметить, что мне приходилось слышать название и *Тотой тенгерези*. Это не единственный пример того, что рисунки на поверхности шаманского бубна, изображающие божества или их символических коней, на которых они ездят, называются божествами — словом *тенгере* или словом *пайана*. Так, на бубне М. Тодышевой символическое изображение коней «бура» называлось для божества телеутского рода Мундус — *мундус пайана*; для родов Ойрот, Меркит, Тумат — *ойрот тенгере*, *меркит тенгере* и *тумат тенгере*. В этом примере бросается в глаза, что слово *тенгере* в значении 'божество' относится к ро-

дам монгольского происхождения, а слово *пайана* к коренному и древнейшему телеутскому роду. На этом же бубне было изображение «бура», которое символизировало ездового чубарого коня *йаан пайназы бай Ульгень*, т. е. великого божества Бай-Ульгеня. Здесь Ульгень, как и его дочери, выступает с эпитетом *пайана*, в то время как у южных алтайцев он именуется просто *Бай Ульгень*, где слово *бай* также имеет значение 'божественный', о чем будет говориться дальше, а дочери Ульгеня с эпитетом *тенгере* (*тенгере кыстар* 'небесные девы').

У челканцев слово *байана* означало, как и слово *тенгере*, целую категорию духов и божеств. В записи, сделанной мной в 1936 г. при изучении шаманского бубна, сказано, что рисунки верхней части (разрисованной стороны бубна), отделенной полосой от нижней, называются обобщенно *тенгере*, а нижней — обобщенно *байана*. Конечно, можно думать, что слово *тенгере* в данном конкретном примере выступает для духов и божеств в значении 'небесный', а *байана* — 'земной', т. е. в качестве наименования небесной и земной сфер их обитания.

В представлении названных народов пайана, как правило, означало название для категории доброжелательных духов и божеств как небесных, так и земных, но никогда злых или недоброжелательных (к человеку) по своей природе. У телеутов к пайана относилось божество Ене йайачы (Мать-творец), сотворившее тело человека, покровительствующее рождению детей. По словам телеутов, бездетные супруги, обращаясь с молением к Ене йайачы, приносили через шамана жертву, после чего у них появлялся ребенок. Про него говорили: *öрöгö пайанадан йайылган бала*, т. е. «сотворенный верхним божеством ребенок». У телеутов же А. В. Анохиным записано следующее представление. После смерти человека «душа» (*сюр*) его отправляется к пайана, пославшему ему *кут* (зародыш) на земную жизнь.[10]

У северных (бочатских) телеутов представилась возможность уточнить категорию божеств или духов, именуемую *пайаналар*, в том смысле, что к ней относились и такие духи, к которым можно было обращаться с просьбой и жертвой самому, без приглашения шамана. Это для них многие хозяева «ставили» (вкапывали) у своего жилища березки (*сом*) как знак почитания пайана, ибо пайана, если их не почитали, могли наказывать такие семьи болезнями.

У шорцев (телеутского происхождения) сеока Калар термином пайана называли божество охотников. По существу духи пайана, объясняли мне охотники каларцы, с которыми я ходил на зимний промысел (1927 г.) в тайгу, прилегающую к знаменитой священной горе (особенно шаманов) Мустагу, помогали в удаче на охоте только тем охотникам, которые их почитали, устраивали камлание, приносили жертвы. Такое представление о пайана весьма схоже с почитанием Бай Байанай — духа «хозяина» леса у якутов.

У кумандинцев пайана называли также большую категорию божеств и духов, обитающих на небе (Ульгень и др.) и на земле

(Каным — божество охотников и др.), благосклонных к человеку. Слово это придавалось (как приставка) к названию такого широко известного божества, как Умай, упоминаемого еще в древнетюркских орхонских надписях.[11] «Пайана — Умай, — пишет Ф. Сатлаев, — всегда находится с человеком, охраняя его от нападения злых духов».[12] К категории пайана кумандинцы относили духов — покровителей рода (*тöс*), духов домашнего очага, двери (*эжик пайаназы*). Следовательно, слово *пайана* в верованиях алтае-саянских народов выражало классификационное понятие, как и слово *богатый* в социальной жизни, а не было собственным именем божества.

Слова bayan и bayat со значением 'бог, божество' вовсе не были ограничены в их распространении в тюркских языках, как это полагал Д. Клосон в своей словарной статье baya:t.[13] Материал, приведенный им, свидетельствует скорее об обратном, ибо автор указывает на выживание этого слова в юго-восточных тюркских языках XX в., на бытование его в религиозном значении начиная с Махмуда Кашгарского (XI в.) в различных источниках XIII—XIV вв. вплоть до XVI в., когда это слово упоминается в одном тексте как «имя бога по-тюркски».

В подтверждение широкого распространения слова bayan я могу сослаться на верования якутов и бурятов (шаманистов). По выражению А. Н. Самойловича, «если не bayan, то bay находится в составе якутского названия духов — покровителей охотников и рыболовов bayanay или bayïanay» (со ссылкой на словарь Пекарского). По этнографической литературе об этом божественном персонаже известно, что он почитался как божество тайги и «хозяин» зверей под полным его именем Бай Байана. Его представляли в образе старика и приносили ему жертвы домашним скотом. Название *байан* в значении божества тункинские буряты применяли к почитаемому ими хребту Хангай. Охотники перед зимним промыслом обращались к Байан-Хангаю с молением об удаче. Данный бурятский пример уместен здесь в силу того, что тункинские буряты в большинстве являются обуряченными по языку восточными тувинцами (сойотами). Тувинцы же до сего времени именуют один из почитаемых хребтов Южной Тувы Байан-Танды, т. е. именем, где слово *байан* означает божество.

Я не пытался исчерпать этнографический материал по верованиям алтае-саянских народов, раскрывающий значение слова *пайана/байана* как божество. Но для целей, поставленных перед настоящим сообщением, этого, видимо, достаточно.

Мне остается еще остановиться на слове *бай*, которое, как полагал А. Н. Самойлович, также выступает в области верований, например, у алтайцев в названии Bay ülgen и в сочетании с названиями деревьев и цветов, «как bay terek (казахи, алтайцы), — пишет он, bay qazïn (шорцы), bay šeček (казахи) 'тюльпаны' и еще тувинские Pay tayġa и Payan Tandï 'Бай-тайга и Баян-Танды'».[14]

Сразу же замечу, что слово *бай* бытовало в религиозной об-

ласти, преимущественно в шаманском ритуале алтае-саянских народов, и было широко распространено. В одних случаях оно служило как бы эпитетом к именам таких высоких божеств, как Ульгень, которого величали Бай Ульгень, или сыновей Ульгеня, например Бай Каршит, Бай Кыргыс, Бай Сойот и т. д. Это слово прибавляли к именам выдающихся шаманских духов Бай Курмуш, Бай Улюп и др. В других случаях *бай* служило приставкой к названию мифического дерева, корни которого растут в подземном мире, ствол на земной поверхности, а вершина достигает небесной сферы. Таков образ (в эпосе алтайцев) тополя — Бай терек. Но особенно ярко эта особенность выступает в названии Бай кайынг — березы, под которой приносили в жертву коня или посвящали его какому-либо божеству или духу («хозяину» той или иной священной горы и др.). Бай кайынг именовали березу, растущую в небесной сфере, на листьях которой находились «кут» (зародыши) на детей, на скот, которые шаман (при некоторых камланиях) сдувал, и кут падали на землю в жилища просителей этих благ. Бай Кайынг изображалась на шаманском бубне в виде примитивного рисунка, помещаемого в верхней части разрисованной стороны бубна. Там же помещался и рисунок *Бай бӱркӱт* (беркут) или просто *Байкуш* («священная» птица). Слово *бай* прибавилось и к названию изображения лягушки в нижней части бубна (*бай пага*), которая символизировала духа-помощника шамана, которому он поручал иногда нести сосуд с жертвенной брагой божеству. Далее можно назвать *байтал*. Так именовали молодую (еще не жеребившуюся) кобылу, предназначенную в жертву божеству, а слово *байталчы* означало духа-помощника шамана, который вел «душу» жертвенной лошади божеству. Наконец, назову еще слово *байтере*, означающее шкуру жертвенной лошади, вывешиваемую после жертвоприношения на березовой жерди у жертвенной березы (*бай кайынг*), в то время как название шкуры обычной лошади было просто *тере*.

Приведенный материал об употреблении слова *бай* в сакральном значении у алтае-саянских народов далеко не исчерпывается изложенным, но едва ли есть смысл расширять его. Слово *бай* со значением 'священный' встречается и в топонимике того же Горного Алтая или Тувы. Таковы, например, названия почитаемых шаманистами горных хребтов, гор, речных долин и т. п., таких как Бай-тайга, Бай-таг, Бай-туу, Байгол (Бай-коол). В таком же значении оно выступает в отношении птиц и деревьев и т. д.

В большом количестве слово *бай* в рассматриваемом значении встречается и в фольклоре алтайцев.

Стоит, пожалуй, отметить только то, что рассматриваемое слово встречается и в сфере таких верований, которые не связаны с именами тех или иных божеств и духов или с определенными ритуальными действиями, в частности с шаманскими, и выступает в значении 'запретный'. Я имею в виду хотя бы запретные дни у алтайцев, приходящиеся на последние дни убывающей луны, именуемые *байлу кӱн*, *бай кӱн*. В такие дни считалось недопустимым

что-либо продавать или просто давать из своей юрты посторонним, выносить какие-либо продукты, вещи, даже огонь в трубке, прикуренной в данной юрте. Делалось это во избежание всяких несчастий и неприятностей, причиняемых злыми духами, ибо последние в названные дни особенно свободно повсюду бродят в темноте. Отсюда следует, что словом *байлу кӱн* названы запретные дни, своего рода религиозное табу. Однако термином *байлу* называют и беременную женщину, что в некоторой степени можно объяснить тем, что она получила, носит в себе «богатство» — будущего ребенка, зародыш которого дарован божеством.

Слово *бай*, относящееся к верованиям, ученые, в частности этнографы, обычно переводят как 'богатый'. Таковы Бай Ульгень, Бай кайынг, Бай пака и др. Но такой перевод малоудовлетворителен, поскольку за словом *бай* в области верований закрепилось не только социальное, но и сакральное значение.[15] С учетом этого названные слова лучше переводить как 'священный Ульгень', 'священная (культовая) береза', 'священная лягушка' и т. д.

В заключение о слове ƅаг в значении 'богатый', которого также коснулся А. Н. Самойлович, считая его этимологически родственным слову ƅау. И это слово, кроме социального значения, предположительно могло получить значение сакральное, как и слово *бай*. И действительно, уже при первой попытке изучения выясняется обоснованность такого предположения. Слово *бар* присутствует в названии деревянной рукоятки шаманского бубна, представляющего собой изображение духа — «хозяина» бубна. У алтайцев, качинцев, сагайцев, бельтиров и др. эта рукоятка называется *бар*, *барс*, *барыс* (*мар*, *марс*). Любопытно, что у якутов она, хотя совершенно иная (тунгусская) по форме, называется *баарык*, как и у алтае-саянских шаманистов.

Слово *бар* присутствует в названии жертвы духам, приносимой какими-либо вещами (но не домашним животным) и произносится как *барылга* (ср. жертва конем — *тайылга*).

Ограничившись приведенными примерами, я хотел бы закончить свое сообщение на основе изложенных выше фактов, следующим выводом. Различные формы тюркских слов со значением 'богатый' не препятствовали тому, чтобы каждая из них, кроме социального, имела сакральное значение и вошла в религиозную терминологию тех или иных тюркских племен и народов. В основе этого явления, привлекшего в свое время внимание А. Н. Самойловича, лежат пока еще недостаточно изученные и распознанные причины, исследование которых может объяснить пути и стимулы проникновения в религиозную лексику некоторых слов и понятий из области социальной жизни в силу закона отражения реальной действительности в религиозных верованиях и представлениях людей (хотя и в фантастической форме). Едва ли нужно доказывать, что научные результаты такого исследования могут иметь значение, выходящее за рамки тюркологии, поскольку такого рода явления наблюдались и в языках других языковых систем, в частности яфетической.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Настоящая статья была прочитана мною в качестве доклада на Тюркологическом семинаре при Востфакс ЛГУ, руководимом проф. С. Н. Ивановым, зимой 1982 г.

[2] *Самойлович А. Н. Богатый* и *бедный* в тюркских языках. — Изв. Академии наук СССР. Отд. Обществ. наук. М.; Л., 1936, № 4.

[3] *Кононов А. Н.* Тюркское языкознание в Ленинграде. 1917—1967. — Тюркологический сборник. 1970. М., 1971.

[4] Научная деятельность А. Н. Самойловича в области этнографии подробно освещена в работе С. М. Абрамзона «А. Н. Самойлович — этнограф» (Тюркологический сборник. 1974. М., 1975).

[5] *Самойлович А. Н. Богатый* и *бедный* в тюркских языках, с. 31.

[6] Там же, с. 32. Цифры в скобках в приведенной цитате из работы А. Н. Самойловича — это указание на том и страницы Тюркско-арабского словаря (XI в.) Махмуда Кашгарского.

[7] Там же, с. 32.

[8] *Потапов Л. П.* Происхождение и формирование хакасской народности. Абакан, 1957, с. 154—155.

[9] *Потапов Л. П.* Бубен телеутской шаманки и его рисунки. — В кн.: Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1949, т. 10, с. 194—195.

[10] Душа и ее свойства по представлению телеутов. — В кн.: Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1929, т. 8, с. 261.

[11] *Потапов Л. П.* Умай — божество древних тюрков в свете этнографических данных. — Тюркологический сборник. 1972. М., 1973.

[12] Кумандинцы: Историко-этнографический очерк. Горно-Алтайск, 1974, с. 150.

[13] *Clauson G.* An Etymologial Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972, p. 385.

[14] *Самойлович А. Н. Богатый* и *бедный* в тюркских языках, с. 32.

[15] Мне известна попытка этимологического объяснения слова *бай* исходя из основы древнетюркского слова uma 'мать': *Кудачина Н.* К этимологии слова *бай* в алтайском языке. — СТ, 1980, № 5. Рассуждения по этому поводу мне кажутся неубедительными и не учитывают результаты исследования А. Н. Самойловича.

Б. А. Серебренников

В ПОИСКАХ ИСТОРИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ

I. О ПАРАЛЛЕЛИЗМЕ СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА В ТЮРКСКИХ И ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

Всеобщее распространение страдательного залога в тюркских языках дает известное основание предполагать его существование уже в тюркском праязыке.

Вместе с тем есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что на ранних этапах существования тюркского праязыка страдательного залога не было. Любопытно отметить, что различные остатки древних причастий в современных тюркских языках очень часто имеют пассивное значение, но не содержат аффикса страдательного залога, ср. азерб. *бурма* 'крученый', тур. *yarma* 'расколотый', тув. *үзүк* 'разорванный', тат. *җимерек* 'разрушенный', тур. *kirgın* 'разбитый'.

По видимому, на этом основании Г. И. Рамстедт считал категорию страдательного залога в тюркских языках относительно поздним образованием и стремился доказать, что аффикс, являющийся показателем страдательного залога, первоначально был словообразовательным аффиксом.[1] К этой точке зрения склоняется также Э. В. Севортян.[2]

Действительно, в тюркских языках встречаются случаи, правда в настоящее время уже не многочисленные, когда аффикс -л- выражает многократное действие, ср. узб. *қувламоқ* 'преследовать' (энергично) от *қувмоқ*, 'преследовать', *букламоқ* 'складывать' от *букмоқ* 'гнуть', *саваламоқ* 'стегать', 'хлестать' от *савамоқ* 'бить', *қайталамоқ* 'возвращаться часто' от *қайтмоқ* 'возвращаться',[3] тат. *сыйпала-* 'поглаживать' от *сыйпа-* 'гладить', *сибәл-* 'накрапывать' от *сиб-* 'лить' и т. д.

Однако непосредственно на базе многократного значения значение страдательного залога развиться не могло. Был необходим какой-то переходный этап, в котором уже наметились определенные условия для развития значения страдательного залога. Такие условия в тюркских языках действительно существовали.

Суффиксы с многократным значением, содержащие элемент *-л-*, широко использовались в тюркских языках для обозначения процесса накопления определенного качества. Обычно такие гла-

голы образуются от прилагательных, ср. азерб. *азал-* 'уменьшаться' от *аз* 'мало', *бошал-* 'пустеть' от *бош* 'пустой', узб. *енгилла-* 'облегчаться' от *енгил* 'легкий', *музла-* 'леденеть' от *муз* 'лед', тур. *kısala-* 'сокращаться' от *kısa* 'короткий', тат. *түгәрәклә-* 'закругляться' от *түгәрек* 'круглый', чув. *ватăл-* 'стареть' от *ватă* 'старый', кирг. *арыкта-* (из *арык-ла-*) 'худеть' от *арык* 'тощий', казах. *жуанда-* (из *жуан-ла-*) 'толстеть' от *жуан* 'толстый' и т. д.

Нетрудно заметить, что в предложениях, содержащих глаголы этого типа, субъект действия фактически является пассивным, ср. русск. *человек худеет.* В данном случае процесс происходит совершенно независимо от желания самого субъекта. Пассивность субъекта послужила импульсом для переосмысления аффикса *-л-*, обозначавшего становление или увеличение степени определенного качества, в показатель страдательного залога. Аффикс получил новую функцию — показывать, что кто-то производит или производил определенное действие над субъектом, причем сам субъект остается при этом пассивным, ср. тат. *Хат язылa* 'Письмо пишется' и т. д. Стремление формально дифференцировать две функции одного и того же аффикса привело к тому, что возник особый показатель страдательного залога *-ыл-*, *-ил-*.

В мордовских языках страдательная форма глагола образуется от действительных глаголов с помощью суффикса *-в-*, например: эрз. *Паксясь вельтявсь ловсо*, мокш. *Паксясь вельхтявсь ловса* 'Поле покрылось снегом'; эрз. *Эйкакштненень прядовсь тонавтнемась* 'Детьми закончено ученье' (дословно: 'детям закончено ученье'); эрз. *Пиземесэнть шлявсть сюротне* 'Дождем омылись хлеба'; мокш. *Колхозникненди тикшесь урядавсь* 'Колхозниками сено убрано'.[4]

Источник мордовского суффикса *-в-* найден. Это тот же суффикс, что и финский суффикс *-ри*, *-ру*, *-и*, *-у*, имеющий параллели и в других уральских языках. В финском языке этот суффикс имеет три значения: возвратное, транслативное и страдательное. Нам представляется, что первоначальным значением здесь было транслативное значение, т. е. становление определенного качества. В финском языке глаголы с таким значением встречаются, ср. *kuivua* 'сохнуть', *mustua* 'темнеть', *ruostua* 'ржаветь', *tylsyä* 'тупеть', *paisua* 'вздуваться', 'увеличиваться' и т. д. Позднее на базе этого значения могло развиться значение страдательного залога, ср. фин. *rakentua* 'строиться'.

Таким образом, путь образования значения страдательного залога здесь тот же самый, что и в тюркских языках.

Возвратный залог существует во всех современных тюркских языках. Показателем его служит аффикс *-н-*, *-ын-*, *-ин-*. Засвидетельствован он также во всех ныне существующих тюркских языках, отраженных в памятниках старой тюркской письменности. Есть все основания предполагать, что этот залог уже существовал в тюркском праязыке.

Конечно, было время, когда его не было. Значение возвратного залога явилось результатом переосмысления первоначального значения многократности действия. Можно найти в настоящее время ставшие уже довольно редкими глаголы, у которых аффикс *-ын-*, *-ин-* еще сохраняет свое прежнее значение, ср. тат. *сөйлән-* 'говорить несколько раз' от *сөйлә-* 'говорить вообще', *каран-* 'посматривать' от *кара-* 'смотреть', *сайлан-* 'выбирать по нескольку раз' от *сайла-* 'выбирать', азерб. *гәзинмәк* 'прохаживаться', 'разгуливать' от *гәзмәк* 'ходить', 'гулять' и т. д. На основе многократного значения сравнительно легко может развиться так называемое медиальное значение, выражающее действие, совершаемое в пользу субъекта, удовлетворяющее его личные интересы, ср. русск. *Он работал каждый день.* Действие здесь фактически многократное. Если действие совершается регулярно, каждый день, то чаще всего это происходит в тех случаях, когда действие имеет особое значение для его совершающего, т. е. действие совершается в интересах субъекта, занимающегося этим делом.

Ярким подтверждением того, что в тюркских языках развитие многократного аффикса *-ын-*, *-ин-* могло происходить только таким путем, могут служить данные якутского языка, ср. як. *тиэнэбин* 'я вожу себе [сено]', *маста кэрдин* 'наруби себе дров', *уута баһын* 'натаскай себе воды', *дьиэтэ булун* 'найди себе квартиру'.[5]

Действие, совершаемое в интересах субъекта, может быть ассоциируемо с действием, направленным непосредственно на субъект, ср. тат. *мин ю-ын-ам* 'я умываюсь', т. е. '*мою самого себя*'. Таким образом, медиальное значение в тюркских языках превратилось в значение возвратного залога.

Тот же путь развития страдательного залога мы находим и в пермских языках.

В языке коми страдательный и возвратный залоги имеют один и тот же показатель — суффикс *-сь*, например: *пальто вурсьӧ* 'пальто шьется' и *кӧдзыд ваӧн мыссьыны* 'умываться холодной водой'.

В удмуртском языке также употребляется общий суффикс *-ськы*, *-иськы* для выражения страдательного и возвратного залогов, ср.: *бусы тракторен гыриське* 'поле пашется трактором' и *дисяськыны* 'одеваться'.

По происхождению оба суффикса являются многократными суффиксами. Вместе с тем известно, что как в коми, так и в удмуртском эти суффиксы могут иметь значение медиального залога, ср. в коми: *Учитель тшӧктіс велӧдчысьяслы гижны предложение вит глаголӧн. Ичӧтик Юрка гижис: «Мамӧ пусьӧ, чышкысьӧ, вурсьӧ, гладитчӧ, песласьӧ»* (Чушканзи) 'Учитель предложил ученикам (букв.: приказал написать) предложение с пятью глаголами. Маленький Юрка написал: «Мама варит, метет, шьет, гладит, стирает»'. Во всех этих пяти глагольных формах суффикс *-сь-* показывает, что мать варит, метет, шьет, гладит и стирает для себя и для своей семьи, т. е. делает это в свою пользу.

В некоторых пермских языках значение возвратного залога, как и в тюркских языках, возникло на базе медиального значения. По причинам известной близости возвратного и страдательного залогов суффикс возвратного залога стал также выражать и значение страдательного залога.

II. О СОСТАВЕ АФФИКСА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ *-ЛЫҒ* В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

В тюркских языках имеется несколько форм аффиксов относительных прилагательных: а) аффикс *-лы*, *-ли*, ср. тат. *айлы* 'лунный', кум. *тузлу* 'соленый', тур. *atlı* 'конный', каз. *тасты* 'каменистый' (из *таслы*), турк. *гарлы* 'снежный', ног. *тавлы* 'гористый' и т. д., б) *-лу*: — кирг. *жылдыз-дуу* (из *жылдыз-луу*) 'звездный', алт. *салкынду*: 'ветреный' (из *салкын-луу*); в) *-лаах*: як. *тыал-лаах* 'лесистый'; г) *-лыҒ* — др.-тюрк. *ḳарлыҒ* 'снежный', хак. *азырлыҒ* 'ветвистый', тув. *даглыг* 'гористый', шор. *канаттыҒ* 'крылатый' из *канат-лыҒ*, тоф. *маллыҒ* 'имеющий скот', чул.-тюрк. *та:длыҒ* 'вкусный'.

Все эти разновидности аффиксов относительных прилагательных восходят к архетипу **-лы:Ғ*, который когда-то был показателем совместного падежа, или комитатива. Форма *атлы:Ғ* когда-то имела значение 'с лошадью'. В древнем аффиксе *-лыҒ* выделяется элемент *л*, который собственно и обозначал идею совместности. Он, по-видимому, генетически связан с аффиксом собирательной множественности *-л-*, ср. окончание мн. числа *-л-ар*, а также аффикс собирательной множественности *-л-ыḳ*, ср. тат. *нарат-лык* 'сосняк', *каен-лык* 'березняк' и т. д.

III. О ВОЗМОЖНОЙ СВЯЗИ АФФИКСОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАКЛОНЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛАТИВОВ (НАПРАВИТЕЛЬНЫХ ПАДЕЖЕЙ)

А. Н. Кононов, рассматривая вопрос о происхождении настояще-будущего времени в турецком языке типа *okur-um* 'я читаю вообще', 'я прочитаю', высказал предположение, что аффикс *-ar*, *-er*, возможно, восходит к форманту дательно-направительного падежа *-gar*, *-ger*, *-garu*, *-gerü*, который и поныне сохраняется при местоимениях в кумыкском, ногайском, татарском языках; в якутском языке с помощью этого аффикса образуется дательный падеж с аффиксом принадлежности. Этот аффикс сохранился при словах типа *içeri* < *içkeri*.[6] На первый взгляд такая связь может показаться маловероятной. Однако более внимательное исследование этого вопроса показывает, что она не исключена.

Значение будущего времени в различных языках часто развивается на базе какого-нибудь модального значения. Модальное значение часто проецировано в план будущего. Для выражения плана будущего язык мог воспользоваться аффиксами лативных

падежей, ср. коми-зыр. *муна-с* 'он пойдет' и эрзя-морд. *кудо-с* 'в дом', тат. *язмак-чы булам* 'я намереваюсь написать' и тув. *хөл-че* 'к озеру', тур., азерб. *ал-а-м* 'возьму-ка я' и *суј-а* 'в воду' и т. д.

IV. ОТКУДА ПРОИСХОДИТ ПОКАЗАТЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ -*ДЫР*-?

В некоторых тюркских языках Сибири — хакасском, алтайском и чулымско-тюркском — существует настоящее время с показателем *-дыр-*, ср. в хакасском:

Настоящее обычное на *-дыр*

Ед. ч.		Мн. ч.	
1-е л.	*сани-дыр-бын* 'я считаю обычно'	1-е л.	*сани-дыр-быс* 'мы считаем обычно'
2-е л.	*сани-дыр-зын* и т. д.	2-е л.	*сани-дыр-зар* и т. д.
3-е л.	*сани-дыр*	3-е л.	*сани-дыр-лар*

Происхождение этой формы объясняется довольно просто. Эта форма образуется путем присоединения к деепричастию на *-а/-е* аффикса *-дыр/-дир* (<*тур-* 'стоять').[7]

Если это действительно так, то почему же глагол *тур-* 'стоять' сменил огласовку корня? Почему *у* сменилось на *-ы*. По всей видимости, здесь участвует не глагол *тур-*, а аффикс многократного действия, обнаруживаемый в таких формах, как тат. *язы-ш-тыр-а* 'пописывает', *уйлаш-тыр-а* 'подумывает' и т. д.

V. О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ В КЫПЧАКСКИХ ЯЗЫКАХ

Как известно, некоторые окончания падежей в кыпчакских языках отличаются от соответствующих окончаний падежей в огузских языках. Родительный и винительный падежи в кыпчакских языках имеют наращение *-н*, ср. тат. *кыз-ның* 'девушки' — тур. *kızın*; тат. *кызны* 'девушку' — тур. *kızı*; тат. *авыл-га* 'в деревню' — тур. *kıza* 'девушке' и т. д.

Объясняется происхождение этих падежей довольно просто. Наращение *-н-* в кыпчакских языках проникло из сферы местоимений, где произошло переразложение основ и конечный *-н* основы местоимения отошел к падежному окончанию. Происхождение *-ķ*, *-ғ* вообще неизвестно.

Нам представляется, что эта проблема не лингвистическая, а скорее лингво-техническая. В кыпчакских языках просто произошло укрепление слабооформленных падежей, окончания которых состояли из одного слога или из одного гласного. Чтобы

предохранить такие слабооформленные падежи от фонетического выветривания, кыпчакские языки укрепили эти падежи различного рода наращениями.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Рамстедт Г. И.* Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с. 149.

[2] *Севортян Э. В.* Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, с. 94.

[3] *Кононов А. Н.* Грамматика современного узбекского литературного языка. М.; Л., 1960, с. 270.

[4] Грамматика мордовских языков. Саранск, 1962, с. 254.

[5] *Харитонов Л. Н.* Залоговые формы глагола в якутском языке. М.; Л., 1963, с. 79.

[6] *Кононов А. Н.* Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956, с. 225, 226.

[7] Грамматика хакасского языка. М., 1975, с. 204.

И. В. Стеблева

ОБ ОДНОМ МИФОЛОГИЧЕСКОМ ПЕРСОНАЖЕ ТУРЕЦКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

Известный турецкий фольклорист П. Н. Боратав собрал при участии многих помощников огромное количество сказок, бытующих на территории Турции в наше время. Небольшую часть из них он опубликовал на турецком и западных языках. Эти сказки интересны не только с точки зрения изучения особенностей и функционирования сказочного эпоса в современную эпоху, но также потому, что содержат ценный мифологический материал — реликты архаических представлений, донесенных консервантом-сказкой до наших дней.

Мифологические персонажи сказок, опубликованных П. Н. Боратавом,[1] в целом вполне традиционны и встречаются в других культурных ареалах мусульманского мира: это дэв, старуха или женщина-дэв, джинн, шайтан, пери, джады (ведьма), арап (черный джинн), дервиш. Среди этих обычных персонажей в одной из сказок под названием «Bostancı Dede»,[2] записанной в 1947 г. в Анкаре, но от сказителей из Чанкыры, имеется загадочный персонаж Бостанджи-деде, т. е. Дед-садовник или Дед-огородник (bostan в современном турецком языке означает только «огород, бахча», но слово bostān в персидском языке, откуда оно попало в турецкий, имеет значение «сад» и «огород», а из текста самой сказки следует, что Бостанджи-деде работает у себя в саду — «bahçesinde çalışlıyormuş»). Данная сказка включает два сюжета: типы 213 и 204 по указателю Эберхарда — Боратава.[3]

Нас интересует первый сюжет сказки (EbBo 213), зафиксированный и исследованный П. Н. Боратавом в 26 вариантах, имеющих распространение в местах: Эльван (Анкара), Анкара, Арапкир (Малатья), Чанкыры, Байбурт (Гюмюшхане), Муджур (Кыршехир), Невшехир, Кастамону, Мараш, Сарыкамыш, Сивас, Токат, Кадыкёй (Стамбул), Стамбул.[4] Перечисленные названия показывают, что основной регион бытования данного сюжета — центральная и восточная Анатолия, откуда этот сюжет скорее всего был занесен в Стамбул. Этот сюжет состоит в следующем: умирающий падишах поручает трем сыновьям стеречь свою могилу от дэ-

вов. Старшие братья, испугавшись, не справляются с заданием, а младший сын падишаха перехитрил дэвов и убил их, тем самым освободив от дэвов другого падишаха — обладателя трех дочерей. В награду этот падишах отдал свою младшую дочь за младшего шахзаде, а ее старших сестер шахзаде попросил в жены своим братьям. Когда три брата, взяв с собой девушек, направились на конях в свою страну, им по пути встретился старик. У него, как говорится в сказке, «борода перепуталась с усами», и «он сидел верхом на шелудивом коне». Старик спросил поочередно у старшего и среднего брата, куда они едут. Братья ответили ему неприветливо, сказав, что это не его дело. Тогда старик спросил у младшего брата, и тот подробно рассказал о своих приключениях. Наступило время расстаться со стариком, и тут младший шахзаде увидел, что шелудивый конь под стариком превратился в чистокровного гнедого арабского коня с крыльями. Старик мгновенно схватил девушку, сидевшую позади шахзаде, и взлетел с нею на крылатом коне в воздух. Чтобы отыскать свою невесту, шахзаде обратился к известному ему мудрецу, и тот сказал, что старика, похитившего девушку, зовут Бостанджи-деде (Дед-садовник или огородник), но ему неизвестно, где он живет. Мудрец пообещал собрать вечером птиц, поскольку они могут знать о местонахождении Деда-садовника. Действительно, когда мудрец собрал птиц, оказалось, что о том, где живет Дед-садовник, знал один орел. Он посадил шахзаде на спину и опустил его прямо у дверей дома Деда-садовника. В это время Дед-садовник работал у себя в саду, а похищенная им девушка сидела на деревянной террасе на крыше дома, перед ней стояли подносы с множеством разных плодов, но она, погруженная в глубокую печаль, ни к чему не притрагивалась. Юноше удалось вызволить свою невесту, и они пустились бежать. Однако Дед-садовник на крылатом коне догнал беглецов и снова отнял у шахзаде девушку. Так повторилось еще раз, и шахзаде понял, что простым средством ему девушку не вернуть. Он вновь обратился за советом к мудрецу, который порекомендовал узнать через девушку у Деда-садовника, имеется ли где-нибудь другой летающий конь. Девушка хитростью узнала у Деда-садовника, что, оказывается, еще жива мать крылатого коня. Юноша добыл эту кобылу и, опять вызволив девушку, ушел от преследования Деда-садовника на крылатой лошади — матери коня Деда-садовника. Кроме того, мать крылатого коня приказала ему сбросить Деда-садовника «с высоты седьмого неба». Тот упал на землю и разбился «на тысячу кусков». Шахзаде с невестой продолжали путь дальше. После этого начинается другой сюжет сказки: история Гюль-Синан (обозначена в EbBo как история Синан-паши).[5]

Сюжет похищения царевны (красавицы, девушки, невесты) великаном (дэвом, Кащеем) с последующим освобождением ее царевичем (шахзаде, сыном падишаха), который узнает через девушку, в чем состоит уязвимость похитителя (где находится его жизнь, каков у него талисман или каково условие побега от него),

вообще широко распространен в мировом сказочном эпосе, о чем можно судить по каталогу Аарне—Томпсона.[6] В турецком варианте этого сюжета похитителем красавицы — невесты шахзаде, младшей дочери падишаха, — оказался Дед-садовник (или огородник) — персонаж, по-видимому, никем не описанный. Во всяком случае, нет упоминания о таком объекте мифологических представлений турок в известной работе В. А. Гордлевского,[7] и еще более показательно, что такой знаток турецкого фольклора, как П. Н. Боратав, анализируя данный сюжет, обходит фигуру Бостанджи-деде молчанием. Следует отметить также, что в предисловии Н. К. Дмитриева к изданию русского перевода турецких сказок из собрания И. Куноша в записях конца XIX в. упомянут единственный случай появления «садовника», но не как мифологического персонажа, обладающего какой-то магической силой, а в ряду перечисления тех профессий, которые, по наблюдениям Н. К. Дмитриева, обнаруживаются в турецких сказках.[8] Правда, уместно обратить внимание на то, что этот якобы обыкновенный садовник в данной сказке спасает от гибели детей падишаха, брошенных в саду на берегу реки (сказка № 43 «Дильрукеш»), а в аналогичном сюжете сказки «Чан-Кушу, Чор-Кушу», записанной в нашем столетии П. Н. Боратавом, функцию спасителя падишахских детей, брошенных в сундуке в море, выполняет удалившийся от мирских дел «старик-дервиш», служитель Аллаха, наделенный святостью.[9] В сказке «Падишах и три девушки», бытовавшей также в XX в. в среде видинских турок (Болгария), спасителем падишахских детей, брошенных в сундуке в Дунай, в таком же сюжете является «старик-дервиш», обладающий чудесными предметами: колпаком-невидимкой, шкурой и плеткой, с помощью которых можно передвигаться по воздуху, и перстнем, вызывающим арапа — исполнителя желаний.[10] Можно предположить, что мифологическая сущность «садовника» в сказке «Дильрукеш», упомянутой Н. К. Дмитриевым, была либо утрачена, либо имплицитна.

Для возможной идентификации явно мифологического персонажа Деда-садовника (или огородника) из сказки «Бостанджи-деде» прежде всего необходимо выделить такие его характеристики, как внешний облик, поведение и связь с другими персонажами сказки.

1. Дед-садовник — это старик, заросший волосами или, точнее, с обильной растительностью на лице.

2. Появился перед героями сказки на шелудивом коне, т. е. имел обманный вид жалкого существа.

3. Проявляет интерес к красивым девушкам.

4. Обладает чудесным крылатым конем, говорящим человеческим голосом.

5. Может перемещаться по небу, в воздухе.

6. Связан с птицами: о местонахождении Деда-садовника знал орел.

7. Постоянно работает у себя в саду.

8. Окружил похищенную им девушку подносами со множеством разнообразных плодов (а не драгоценностями, которыми обычно утешают грустящих красавиц).

9. Непосредственной причиной гибели Деда-садовника становится его чудесный конь, следовательно, магические силы Деда-садовника ограничены, у него нет полной власти над конем.

Если мы остановим свое внимание только на положительных и нейтральных характеристиках, то ближайшим родственником турецкого Деда-садовника (или огородника) в пантеоне других тюркских народов, по-видимому, можно считать узбекского Бобо-дехкона (Деда-земледельца). Другая форма имени — Бобо-и дехкон, также встречающаяся среди узбеков, говорит о том, что данный мифологический персонаж заимствован у оседлых ираноязычных народов Средней Азии. Это божество получило распространение и у кочевых киргизов, казахов, полукочевых туркмен, а также каракалпаков, поскольку Бобо-дехкон (Дед-земледелец) вошел в культ святых ислама. Предполагается, что Бобо-дехкон являлся покровителем земледелия, божеством доисламского происхождения.[11] Бобо-дехкон был наделен очень скромной ролью и в отличие от других мусульманских святых не совершал чудес.[12] Он представлялся обычно «в виде крепкого старика (у киргизов — также птицы)»[13] «в простой одежде».[14] В. Н. Басилов полагает, что поклонение святому Бобо-дехкону можно рассматривать как остаток культа некогда могущественного аграрного божества, которое вошло в ислам после завоевания арабами Средней Азии и сохранилось в культе святых ислама.[15] Существует также традиция связывать культ Бобо-дехкона с культом предков и мифами о культурных героях, так как Бобо-дехкону приписывается создание первого оросительного канала и изобретение плуга.[16] У таджиков и узбеков известен ритуал первой пахоты и сева, когда крестьянин, разбрасывая зерна, говорил: «[Пусть] это [будет] не наша рука, а рука Бобо-и дехкона».[17] Таким образом, культ Бобо-дехкона (Деда-земледельца) в Средней Азии возник под влиянием развития земледелия на орошаемых землях, и, как считают исследователи, когда-то Бобо-дехкон представлял собой местное, очень почитаемое божество, которое в дальнейшем монотеистический ислам оттеснил на более низкий уровень, сохранив за ним в народном исламе ранг святого.[18]

Но если мы обратимся к отрицательным чертам мифологического персонажа турецкой сказки Бостанджи-деде (Деда-садовника), к которым следует причислить похищение девушки и вред, причиненный человеку (шахзаде), то они позволяют отнести данный персонаж к малоазийскому пандемониуму. Выше было показано, что сюжет турецкой сказки, в одном из вариантов которого фигурирует Бостанджи-деде, распространен главным образом в центральной и восточной Анатолии, поэтому небесполезно для идентификации интересующего нас персонажа рассмотреть материал, связанный с тюркскими народами Кавказа, и, в частности, — как наиболее близкие — азербайджанские сказки.

Среди азербайджанских сказок, изданных в переводе на русский язык, имеется сказка под названием «Царевич Газанфар»,[19] которая представляет собой контаминацию двух сюжетов. Падишах Мелик-Надир изгоняет из своего дворца сына и дочь, те уходят и поселяются в доме семи дэвов, которых шахзаде Газанфар предварительно убивает и бросает в колодец. Один из дэвов случайно остался жив, сестра юноши его спасает, и девушка с дэвом, полюбив друг друга, замыслили погубить шахзаде Газанфара. Дэв посоветовал девушке сказать брату, что она заболела, а лекарство от ее болезни — дыни, которые растут на огороде, принадлежащем главе всех дэвов. Они набросятся на шахзаде и растерзают его. Девушка сделала, как советовал ей дэв, и шахзаде, пустившись в путь, через несколько дней подъехал к дому, окруженному со всех сторон садом. Из дома вышел богатырь и стал бороться с шахзаде. Когда юноша почти одолел богатыря, он заметил, что богатырь — женщина необыкновенной красоты. Они полюбили друг друга, и красавица, узнав, зачем едет юноша, дала ему в помощь своего крылатого коня. Шахзаде сел верхом на коня и тотчас был доставлен в нужный ему огород с дынями. Он взял там дыню и отправился в обратный путь. Крылатые дэвы бросились его догонять, но не смогли настичь коня шахзаде, который мчался по воздуху как стрела. Шахзаде прибыл домой невредимый, и тогда дэв — возлюбленный его сестры — посоветовал ей отправить брата за целебным яблоком, что растет в саду семиглавого дэва. Шахзаде отправился за яблоком, но сначала заехал к своей возлюбленной и все ей рассказал. Красавица научила его, как добыть яблоко. Шахзаде удалось достичь этого сада и, пользуясь советами красавицы, добыть нужных яблок и благополучно вернуться домой. Третье поручение сестры шахзаде, действовавшей по наущению дэва, было еще более трудным, но юноша выполнил и его. Перенеся еще одно испытание, шахзаде Газанфар наконец понял, что его хочет погубить собственная сестра в сговоре с дэвом. Шахзаде уничтожил вероломную сестру и дэва. Зажил счастливо вместе с красавицей, но она вскоре умерла, и шахзаде вернулся к себе домой.

На этом кончается один сюжет и далее начинается другой, который аналогичен приведенному выше сюжету турецкой сказки «Бостанджи-деде», — похищение девушки-красавицы сверхъестественным существом и ее последующее освобождение от этого существа. Шахзаде Газанфар увидел портрет прекрасной девушки, влюбился в нее и отправился на поиски. По пути он взял себе в товарищи богатыря, который обещал ему помочь добыть красавицу. Богатырь пробрался во дворец, отыскал там красавицу, завернул ее спящую в ковер и вынес из дворца. Шахзаде проснулся, увидел свою возлюбленную, а она — его, и тоже полюбила юношу. Богатырь предупредил, что на обратном пути шахзаде встретится старец с оковами на руках. Его нельзя освобождать от них, ибо это — семиглавый дэв, который тут же похитит девушку. Несмотря на предупреждение богатыря, шахзаде

Газанфар, встретив в пути старика, освобождает его от оков. Старик сильно избивает шахзаде, хватает девушку-красавицу и летит с ней к себе домой. Об этом узнает богатырь и советует шахзаде узнать через девушку, где находится жизнь семиглавого дэва. Девушке удается выпросить у дэва склянку, где находилась его жизнь, и передать ее богатырю, тот победил дэва, освободил девушку, и шахзаде Газанфар с красавицей отправились к падишаху Мелик-Надиру, отцу юноши. . .

В этой сказке, которая содержит два самостоятельных сюжета, обнаруживаются сквозные персонажи, объединяющие сказку в единое целое: падишах-отец, играющий отрицательную роль в приключениях своего сына шахзаде Газанфара (эти мотивы нас сейчас не интересуют, хотя последним злодейством падишаха является попытка тоже отнять у сына красавицу-девушку и погубить его), сам шахзаде Газанфар и семиглавый дэв — владелец огорода и сада с целебными яблоками, который по необходимости принимает облик жалкого старика и обманом похищает красивых девушек.

Родство Бостанджи-деде (Деда-садовника) турецкой сказки с семиглавым дэвом — хозяином огорода и сада с целебными яблоками — представляется вполне очевидным. Возможно также, что мифологический персонаж Дед-садовник состоит в некотором родстве с другим объектом азербайджанской демонологии — Агач-киши (Древесный человек). Это — лесные духи, полуантропоморфного облика, заросшие волосами, они надевают одежду, брошенную людьми, и хотя как будто связаны с лесом, но в целях пропитания посещают огороды и бахчи.[20] На Кавказе же обнаруживается и сходный мифологический персонаж в аналогичном сюжете абхазской «Сказки о трех сыновьях князя», где красавицу — жену младшего брата — похищает человек, появившийся верхом на козле. Человек был ростом в три вершка, а его усы — в шесть вершков. Он стал бороться с мужем красавицы и, несмотря на свой ничтожный рост, победил его, поскольку был акуртлагом.[21] Любопытно, что автор приложенного к переводам абхазских сказок «Словаря непереводимых слов», авторитетный исследователь К. С. Шакрыл пояснил слово «акуртлаг» весьма уклончиво: «сказочное существо, наподобие русского Кощея».[22]

Указанные выше мифологические персонажи сближаются благодаря общей для них характеристике — обилию волос (бороды и усов), что свидетельствует о их связи с растительным миром и символизирует рост растений, плодородие, плодоносящие силы природы. Точно так же упоминание о множестве разных плодов и саде (как совокупности растений) в турецкой сказке «Бостанджи-деде», а в азербайджанской — «Царевич Газанфар» использование в сюжете огорода с дынями и сада с яблоками имеют мифологический смысл, выражающий идею плодородия, изобилия, процветания, богатства и обновления жизни.[23] В связи с этим показательно, что мифическое существо абхазской сказки акуртлаг появляется верхом на козле, который в мифологических пред-

ставлениях многих народов олицетворяет повышенную сексуальность и плодовитость, благодаря чему козел связывается с буйной растительностью и божествами плодородия, например в древнегреческой мифологии — с Дионисом (бог растительности, плодоносящих сил земли, виноделия) и Афродитой (богиня плодородия, жизни и любви, пронизывающей мир). Дионис-козел сближается с персонажами более низкого уровня мифологии: с Паном (козлоногий и козлорогий демон стихийных плодоносящих сил, заросший волосами и бородатый, влюбчивый, преследует нимф), сатирами (демоны плодородия, также длинноволосы, бородаты, влюбчивы и преследуют нимф), силенами (демоны плодородия, воплощение стихийных сил природы, также преследуют нимф). В облике этих персонажей обязательно имеется что-то козлиное или лошадиное: морда, или ноги, уши и хвост, рожки. Козловидные божества обладали свойствами лесных богов, считались владыками леса. В римской мифологии Пан отождествлялся с Сильваном (божество растительности, покровитель культурного земледелия, изображался в крестьянской одежде с серпом, деревом, плодами, козой, собакой и змеей) и Фавном (фавнами) — божеством лесов, полей, пастбищ, животных.[24] Интересно также обратить внимание на то, что за погибшего акуртлага, появлявшегося на козле, стал мстить его брат, который преследовал героев абхазской сказки на кабане («Сказка о трех сыновьях князя»). Согласно мифологическим представлениям разных народов, кабан (вепрь, свинья) тоже символизирует плодородие и в древнегреческой мифологии связывается с такими божествами растительности, как Адонис и Аттис, олицетворяющими периодическое умирание и возрождение природы.[25] С Дионисом (а также с Зевсом) связан и орел — птица, которая в турецкой сказке «Бостанджи-деде» знала, где разыскать Деда-садовника, и сумела к нему добраться.

Может возникнуть вопрос, какое отношение имеет турецкая сказка, записанная в наше время, к античному миру? Однако если мы вновь обратимся к интересующим нас растительным божествам античности, то обнаружим, что все они переднеазиатского происхождения: Аполлон, который иногда почитался как Дионис, и Афродита — малоазийского происхождения, носят негреческие имена; Адонис — финикийско-сирийского происхождения, имя взято из финикийского языка; Аттис — фригийского происхождения (т. е. из центральной Анатолии), Дионис — фракийского и лидийско-фригийского происхождения (Лидия и Фригия — соответственно на западе и в центре Анатолии), Дионис отождествлялся с Сабазием — божеством фригийского происхождения. Как Афродита связана с Адонисом, так Аттис связан с Великой матерью богов — Кибелой (также имеющей фригийское происхождение, богиней неиссякаемого плодородия лесов, полей, гор и зверей). Таким образом, целый ряд древнегреческих божеств, культы которых были распространены по всей Греции, по разным ее местам, пришел с берегов и из глубин Передней Азии. Как известно, древнегреческие боги вошли в пантеон римской мифологии,

в частности, Дионис отождествлялся там с Либером — божеством плодородия и оплодотворяющей силы, виноградарства.

Кроме собственного восточного происхождения древнегреческие божества, связанные с растительностью, плодоносящими силами земли и плодородием, отождествлялись с разными богами восточного Средиземноморья и Передней Азии; например, Дионис отождествлялся с египетским Осирисом — богом производительных сил природы, олицетворяющим ее периодическое умирание и возрождение; с Амоном — египетским богом солнца, который в свою очередь отождествлялся с богом плодородия Мином; с Сераписом — богом плодородия эллинистического мира, распространенным в греко-римской среде Египта и отождествляемым также с Аполлоном. Адонис отождествлялся с Таммузом — богом плодородия, символизирующим круговорот жизни и смерти в природе у ряда народов Передней Азии (Шумер, Аккад, сиро-палестинский регион). Афродита отождествлялась с финикийской Астартой, вавилоно-ассирийской Иштар, египетской Исидой, т. е. с богинями плодородия.[26]

Все эти божества (наше внимание специально было остановлено преимущественно на мужских персонажах) отражали развитие культурного земледелия в древних земледельческих цивилизациях Средиземноморья.

Если мы сравним мифологический персонаж Деда-садовника из турецкой сказки «Бостанджи-деде» с упомянутыми выше ближневосточными божествами, то ближе всего к нему окажется, пожалуй, Серапис — повелитель стихий и явлений природы, бог плодородия столицы Египта Александрии, который почитался главным образом среди греко-римского населения. Он изображался человеком средних лет, крепкого телосложения, в греческой одежде, с длинными волосами и пышной бородой и усами. На голове он держал корзину, наполненную плодами.[27]

Таким образом, когда тюрки-сельджуки пришли на территорию Малой Азии в XI в., уже будучи мусульманами, они застали там сложные напластования и переплетения мифологических представлений индоевропейских и неиндоевропейских народов. Понятие о Бостанджи-деде (Дед-садовник или огородник) можно рассматривать как турецкую (возможно, не без иранского влияния, во всяком случае, судя по имени, заимствованному из персидского языка) переработку представлений об одном или нескольких растительных божествах, выражающих идею плодородия и имеющих местное, малоазийское происхождение. Представление об этом божестве турки, по-видимому, унаследовали от местного населения. Территория Передней Азии, давшая, как мы показали, средиземноморскому миру не одного бога, символизирующего плодородие и животворные силы природы, должна была что-то привнести и в исламизированный мир турков. Конечно, мощное воздействие монотеистической религии ислама не могло оказаться нейтральным для местных языческих божеств, и представление о богах земледелия, растительности и плодородия,

попав в турецкую среду, по-видимому, свелось теперь к полузабытому мифологическому персонажу Деду-садовнику, поставленному исламом на более низкий уровень, но не святого, как Бобо-дехкон, а скорее демона.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Boratav P. N.* Zaman zaman içinde. İstanbul, 1958.

[2] Ibid., N 18, s. 187—194.

[3] *Eberhard W., Boratav P. N.* Typen türkischer Volksmärchen. Wiesbaden, 1953 (далее в тексте — EbBo), S. 250—254.

[4] Ibid., p. 250. В скобках указаны названия илей (вилайетов), к которым относится место записи вариантов.

[5] Ibid., p. 238—240.

[6] *Aarne A., Thompson St.* The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FFC N 3) / Transl. and enlarged by St. Thompson (FFC № 184). Helsinki, 1964, N 304.

[7] *Гордлевский В. А.* Из османской демонологии. — В кн.: *Гордлевский В. А.* Избр. соч. М., 1962, т. 3, с. 299—325.

[8] Турецкие народные сказки. 2-е изд. / Пер. с турецкого Н. А. Цветинович-Грюнберг. Редакция, вступит. статья, коммент. Н. К. Дмитриева. М., 1967, с. 17.

[9] *Boratav P. N.* Az gittik uz gittik. Ankara, 1969, N 20, s. 129—141.

[10] *Németh J.* Die Türken von Vidin: Sprache, Folklore, Religion. Budapest, 1965, S. 153—161.

[11] *Андреев М. С.* По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских древних цехов и цеховых сказаний (рисаля). — Этнография, 1927, № 2; *Сухарева О. А.* К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков и узбеков. — Труды АН ТаджССР. Т. 120. Памяти Михаила Степановича Андреева. Сталинабад, 1960.

[12] *Басилов В. Н.* Культ святых в исламе. М., 1970, с. 12.

[13] *Басилов В. Н.* Бобо-дехкон. — В кн.: Мифы народов мира. М., 1980, т. 1, с. 176.

[14] *Басилов В. Н.* Культ святых в исламе, с. 12.

[15] Там же, с. 13.

[16] *Басилов В. Н.* Бобо-дехкон, с. 176.

[17] *Басилов В. Н.* Культ святых в исламе, с. 17.

[18] О разнице между официальным исламом и его народными формами см.: *Гольдциэр И.* Культ святых в исламе: (Мухаммеданские эскизы). М., 1938.

[19] Азербайджанские тюркские сказки / Пер., статьи и коммент. А. Багрия и Х. Зейналлы. Под общей ред. Ю. М. Соколова. [М.; Л.], 1935, с. 110—124.

[20] Агач-киши. — В кн.: Мифы народов мира, т. 1, с. 35.

[21] Абхазские народные сказки / Сост. и автор примечаний К. С. Шакрыл. М., 1974, № 16, с. 65—73.

[22] Там же, с. 417.

[23] См.: *Фрэзер Дж. Дж.* Золотая ветвь. М., 1980, с. 356—462; *Токарев С. А.* Ранние формы религии и их развитие. М., 1964; *Roux J.-P.* Faune et flore sacrées dans sociétés altaïques. Paris, 1966.

[24] *Фрэзер Дж. Дж.* Золотая ветвь, с. 514—516; Мифы народов мира, т. 1.

[25] *Фрэзер Дж. Дж.* Золотая ветвь, с. 522—523.

[26] *Jobes G.* Dictionary of Mythology, Folklore and Legends, New York, 1962; Мифы народов мира, т. 1.

[27] Серапис. — Мифы народов мира, т. 2, с. 427.

Т. И. Султанов

«ЗАПИСКИ» БАБУРА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ МОГОЛОВ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ

История моголов, игравших заметную роль в процессе исторического развития ряда народов Центральной и Средней Азии XIV—XVII вв., остается слабо изученной. Никто из ориенталистов еще не брал на себя задачи изложить полную историю моголов и Моголистана с учетом всех известных источников. Остается не выясненным до конца и само значение термина могол. Кто такие моголы Моголистана и Восточного Туркестана XIV—XVII вв.: представители царствовавшей тогда в Восточном Туркестане и Семиречье династии и конгломерат подчиненных им тюрко-монгольских кочевых племен Моголистана? Сословие на службе у ханов Чагатаидов или особый этнический коллектив? На эти вопросы нет однозначного ответа, обоснованного материалом источников. Наиболее надежным пособием по политической истории моголов все еще остается «Очерк истории Семиречья» академика В. В. Бартольда, первое издание которого вышло в 1898 г. За истекшие десятилетия не появилось новых исследований по истории Моголистана, которые могли бы заменить этот краткий, но ценный обзор. Впрочем, отдельные вопросы истории моголов XIV—XVII вв. рассмотрены в статье В. П. Юдина,[1] в работе К. А. Пищулиной [2] и в исследовании японских ориенталистов Ханеда Акира, Ода Дзютен, Мано Эйди, Сагути Тору, Хамада Масами.[3] Названные авторы писали о моголах и Моголистане преимущественно на основании «Тарих-и Рашиди» Мирза Хайдара Дуглата (1500—1551). Между тем мусульманских источников, содержащих материал о моголах, не так уж мало. В их числе находятся и «Записки» Бабура (1483—1530).

«Записки» Бабура по жанру относятся к мемуарной литературе. Главный герой — сам автор, который от своего имени, просто и в то же время образным языком, рассказывает о том, что он слышал от людей, что видел и испытал в жизни сам. Мемуары начинаются с описания событий 899/1494 г. и обрываются на полуслове при изложении событий начала 936 г. х. (сентябрь 1529 г.).

«Записки» Бабура хорошо известны в науке. Существуют переводы этого сочинения на ряд европейских языков, в том числе пе-

ревод на русский язык, который, однако, «не преследует научно-филологических целей и предназначается для широких читательских кругов».[4] Перевод М. Салье действительно не обладает той степенью научно-филологической точности, которая позволяла бы исследователям пользоваться им, не обращаясь непосредственно к тексту оригинала: в переводе встречаются неточности, имеются пропуски, почти полностью опущена восточная терминология. В настоящей статье использованы две публикации оригинала «Записок»: печатное издание, подготовленное Н. Ильминским,[5] и факсимильное издание, осуществленное А. Беверидж.[6]

Бабур состоял в родстве с могольскими ханами, некоторое время даже жил среди моголов, в его окружении всегда было немало могольских беков и простых воинов с их семьями. Все это позволило ему, тонкому и вдумчивому наблюдателю, составить вполне определенное представление об обитателях Моголистана. К сожалению, не все, что знал Бабур о моголах, получило отражение в его «Записках»: некоторые аспекты, представляющие интерес при изучении вопросов социальной и этнической истории народов Восточного Туркестана, излагаются Бабуром слишком сжато, порою только намеками, в свое время, возможно, ясными читателю его книги, но теперь малопонятными. К этому кругу малопонятных явлений относится значение термина могол.

Бабур отличает моголов от «кочевых узбеков», казахов, чагатаев, сартов, от горных племен Андижана и т. д., но при этом не разъясняет значение часто употребляемого им термина «могол». На страницах его мемуаров моголы выступают как ревностные хранители монгольских кочевых традиций в этнографическом, бытовом и ином планах и именно этим отличаются не только от тогдашних среднеазиатских своих соседей, но и от других подданных могольских ханов Восточного Туркестана. Вот что мы узнаем о моголах и их предводителях из «Записок» Бабура.

Моголы сохраняли свою национальную одежду. Так, описывая прибытие в 1502 г. Ахмад-султана из Восточного Туркестана и встречу его с братом Махмуд-ханом в окрестностях Ташкента, Бабур отмечает, что люди, составлявшие свиту Ахмад-султана, все были наряжены по-могольски: «в могольских шапках и халатах из китайского атласа, расшитого золотыми блестками. У них были могольские колчаны из зеленой шагрени, седла и могольские кони». Все это было под стать их необычному внешнему виду, заключает Бабур (Беверидж, л. 103а; Ильминский, с. 126). Из описания могольского наряда, которое приводится в другом месте «Записок», видно, что платье могольского образца начала XVI в. подпоясывалось кушаком или китайским поясом. На левой стороне пояса подвешивались мешочек для кремня и огнива и «три-четыре безделушки, которые вешают женщины на воротник, нечто вроде коробочки для амбры и сумки». С правой стороны тоже подвешивали три-четыре такие же вещички (Беверидж, л. 102б; Ильминский, с. 126).

Насколько могольский наряд отличался от тогдашней одежды

среднеазиатских народов, можно судить по следующему эпизоду. Прибывший из Турфана Ахмад-султан пожаловал Бабуру полный комплект верхней одежды могольского образца: шапку, кушак, халат, пояс со всеми подвесками. Когда Бабур, облаченный в могольский наряд, вместе с Ахмад-султаном и его приближенными пришел на аудиенцию к Махмуд-хану, то Ходжа Абу-л-Макарим, старинный слуга дома Тимуридов, не признал Бабура и спросил: «Они какой султан будут?». Лишь когда Бабур заговорил, он узнал его по голосу (Беверидж, л. 103б).

При возведении на престол нового государя моголы традиционно соблюдали древний обряд поднятия на белом войлоке. «По обычаю моголов, — указывает Бабур, описывая обстоятельства Йунус-хана, — хана и [его супругу] Исан Даулат-биким посадили на белый войлок и, подняв, провозгласили государем» (Беверидж, л. 10б). Другой «древний обычай моголов — богатырская доля», говорится в «Записках». Богатырскую долю получал всякий, кто в бою вырвался вперед из рядов и лихо бился клинком. Ее вручали богатырю в торжественной обстановке во время пиршества или трапезы (Беверидж, л. 31а).

Моголы сохраняли также некоторые старинные языческие обряды. В «Записках» описывается следующий эпизод. В 1502 г. могольский хан Махмуд повел свое войско из Ташкента на Ура-Тепе. Между Бискентом и Самсираком произвели смотр войску. По обычаю моголов, распустили знамена. Хан сошел с коня. Перед ханом водрузили девять знамен. Один могол привязал к берцовой кости быка длинную белую холстину и держал кость в руке; еще три длинных холстины привязали к трем знаменам ниже кутаса и пропустили их концы под древки знамен. На конец одной холстины наступил ногой хан, «на конец холстины, привязанной к другому знамени, наступил я», а на конец третьей — Султан Мухаммад Ханыке, сын Махмуд-хана. Могол, который держал в руке бычью кость с привязанной к ней холстиной, что-то произнес на могольском языке и, смотря на знамя, подал знак. Хан и все те, кто стоял подле него, принялись кропить кумысом в сторону знамени (Беверидж, л. 100а, б; Ильминский, с. 122—123).

Как видно, Бабуром зафиксирован здесь обряд завораживания бунчуков, существовавший у монголов-шаманистов. Могол, обслуживавший обряд, по всей вероятности, шаман, жрец-посредник между людьми и миром духов, а бычья кость и длинная белая холстина — его ритуальные принадлежности. А. Н. Самойлович и Мано Эиди, обращавшиеся к интересующему нас отрывку из «Записок» Бабура, привели только его перевод (соответственно на русский и английский языки), но оставили без комментария.[7] Как нам представляется, в приведенном эпизоде речь идет о ритуале призывания Сульдэ-тенгри, который занимал важное место в шаманском пантеоне.[8] Культ сульдэ находил свое выражение в поклонении боевому знамени, которое олицетворяло и само божество. Считалось, что, пока сульдэ-знамя в сохранности, народ благоденствует; если ритуал призывания Сульдэ-тенгри испол-

нять точно, то в военных походах ожидает удача. Соответственно ритуал призывания Сульдэ-тенгри совершался перед военным походом или во время марша и сопровождался обрядом освящения знамени и бунчуков и жертвоприношением им.

В приведенном рассказе Бабура обращает на себя внимание также его замечание о том, что могол, обслуживавший обряд завораживания бунчуков, «что-то сказал по-могольски» и Бабур не понял, хотя и слышал его слова. Из этого сообщения ясно, что в начале XVI в. монгольский язык еще употреблялся моголами Восточного Туркестана и Средней Азии. В этой связи укажем еще на два сообщения Бабура, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемой здесь теме. Султан Ахмад-хан (ум. в 1504 г.), местопребыванием которого была Кашгария, носил прозвание Алача-хан. «Говорят, — пишет Бабур, — будто причина, почему его прозвали Алача, в том, что на языке калмаков и моголов убийцу называют „алачи". А так как Султан Ахмад-хан несколько раз побеждал калмаков и истребил много их людей, то его называли алачи; от частого употребления [слово алачи] превратилось в Алача» (Беверидж, л. 11б; Салье, с. 21—22). В другом месте «Записок» говорится о том, что моголы называют костоправов бахши (Ильминский, с. 133; Беверидж, л. 108б, текст испорчен в этом месте).

По кратким, сказанным по случаю и мимоходом, заметкам Бабура трудно судить о степени распространенности монгольского языка среди моголов Восточного Туркестана и Средней Азии. Согласно В. В. Бартольду и исследованию В. П. Юдина, по языку уже к XV в. не было разницы между тюрками и моголами Восточного Туркестана и Средней Азии.[9] В свете этого положения приведенные сообщения Бабура, по-видимому, следует понимать и интерпретировать так: монгольский язык не был забыт полностью, но число моголов — подданных Чагатаидов Восточного Туркестана, — знавших монгольский, да и то как второй язык, было незначительно, что язык этот употреблялся лишь отдельными категориями людей (например, служителями культа), лишь в отдельных случаях (например, во время отправления шаманских обрядов) и функции его были, таким образом, сильно ограничены.

Косвенным подтверждением высказанного здесь положения может служить следующее сообщение Бабура: «В Кабульском вилайете говорят на одиннадцати или двенадцати языках: арабском, персидском, тюркском, мо[н]гольском, хинди, афганском, пашаи, парачи, гебри, бараки, ламгани» (Беверидж, л. 131б). На этом же листе «Записок» уточняется, что на мо[н]гольском языке говорят некоторые племена, которые живут в горах Газни, среди хазарейцев и никудерийцев. Речь идет в данном случае о той группе монголов Афганистана, которые, насколько известно, единственно из переселившихся на запад в эпоху монгольского завоевания коренных обитателей собственно Монголии действительно сохранили свой язык до новейшего времени.[10] Между тем

об употреблении монгольского языка моголами Восточного Туркестана и Средней Азии здесь ничего не говорится.

При дворе могольского хана во время встречи и приема высокого гостя соблюдался торжественный церемониал, о котором Бабур сообщает интересные подробности. Осенью 1502 г. Бабур находился в Ташкенте, при дворе могольского хана Махмуд-султана. Было получено сообщение о том, что из Восточного Туркестана прибывает младший брат хана Ахмад-султан. Навстречу ему выехали Бабур, сестры хана, его сын и другие близкие родственники и приближенные Махмуд-хана. Вскоре группа встречающих достигла лагеря Ахмад-султана, разбитого у деревни Йага, что между Ташкентом и Сайрамом. Спешились, поздоровались, осведомились о здоровье и «просидели до полуночи, беседуя о былых делах и минувших событиях». Наутро с этой стоянки все направились к Ташкенту. Махмуд-хан тоже выехал навстречу. В нескольких фарсахах от Ташкента, «в одном месте», разбили шатры, и Махмуд-хан уселся там для торжественного приема брата.[11] Ахмад-султан подъезжал к шатру хана спереди. Приблизившись, он объехал шатер хана слева и сзади и спешился перед ним; дойдя до «места встречи», Ахмад-султан девять раз преклонил колени и сказал слова приветствия. Махмуд-хан, когда младший брат приблизился, встал с места: они поздоровались и долго стояли, обнявшись. Отступая назад, Ахмад-султан снова девятикратно преклонил колени; поднося подарки, он опять много кланялся. Затем он подошел к хану, и оба они сели (Беверидж, л. 102б—103а; Ильминский, с. 125—126).

Обратимся теперь к известиям Бабура о могольском войске. Судя по «Запискам», основной организационной единицей в армии могольских ханов были вооруженные отряды родов и племен. Такие отряды не имели, видимо, своего особого названия, и они определяются Бабуром через название соответствующего рода или племени: туман дуглат, туман барин, туман бекчик и т. д. (Беверидж, л. 103б, 109а; Салье, с. 122, 128). Родо-племенной отряд представлял собой самостоятельную войсковую единицу: во главе его стоял бек рода или племени, каждое ополчение имело свое знамя и свой особый уран — боевой клич. Несколько таких автономных отрядов в случае необходимости объединялись в войсковое соединение (*бир паре черик* — Беверидж, л. 109а). В эпизодах, приводимых Бабуром, командир войскового соединения каждый раз назначается ханом, т. е. самим верховным руководителем войск. В войсковое соединение назначались также бек войска (*черик беги*) и даруга войска (*черик даругасы* — Беверидж, л. 103б, 109а; Ильминский, с. 127). Любопытно, что один и тот же человек — Сарык Баш-мирза из племени итарчи — в одном случае был назначен беком войска, а в другом — даругой войска. Служебные функции, связанные с исполнением этих должностей, в «Записках» не определяются. Основываясь на разных значениях слов *бек* и *даруга*, можно полагать, что обязанности бека войска заключались в обеспечении боевого порядка во время походного движения

войска, т. е. он являлся, так сказать, начальником марша. Даруга войска — это скорее всего лицо, ответственное за хозяйственное снабжение войска в походе.

Из других войсковых должностных лиц в «Записках» упоминается воин-знаменщик (*тугчи* — Беверидж, л. 106б, 112а; Ильминский, с. 131, 137). В одном месте встречается сообщение о том, что при сражении в окрестностях Канбая во главе авангарда стоял Хайдар Кукельташ, «который был главным столпом войска моголов» (*рукн-и а'зам* — Беверидж, л. 30б). Здесь несомненно мы имеем дело с титулом, а не с должностью или званием. В этой связи стоит отметить, что официально присвоенных наименований, определяющих степень служебного положения того или иного лица в войске моголов, Бабур не приводит.

Моголы сохраняли традиционное военное построение, согласно которому войско делилось на левое и правое крыло и центр. «Среди моголов, — пишет Бабур, — установления Чингисхана до сих пор таковы, как их учредил Чингисхан. [Воины] правого крыла (барангар) стоят на правом крыле, левого крыла (джунгар) — на левом крыле, центра (кул) — в центре; каждый занимает в строю то место, которое досталось ему от его предков. На правом и на левом крыле тот, чье значение больше, стоит ближе к краю, то есть во главе фланга» (Беверидж, л. 100б; Ильминский, с. 123). Из других элементов полного боевого порядка в «Записках» упоминаются авангард (*йаравул* — Беверидж, л. 30б) — часть войска, находящаяся впереди главных сил, арьергард (*чагдаул* — Ильминский, с. 131) — часть войска, находящаяся сзади боевых линий для прикрытия главных сил с тыла, сторожевой отряд (*караул* — Беверидж, л. 106б; Ильминский, с. 131), обычно шедший впереди авангарда, а также *ильгар* (Беверидж, л. 103б; Ильминский, с. 127) — передовой отряд легкой конницы особого назначения.

Перед сражением устраивался торжественный официальный смотр войсковым подразделениям. Согласно постановлениям Чингисхана, проводить его должен был сам хан.[12] Смотр представлял собой своеобразную военную инспекцию, во время которой определялась общая численность войска, проверялось снаряжение воинов и т. д.[13] На месте смотра в присутствии всего воинства совершался обряд завораживания бунчуков. Смотр кончался боем барабанов и военным кличем. Вот как описывает окончание смотра Бабур. Когда знамена окропили кумысом, «все разом задули в трубы и ударили в барабаны; воины, стоявшие в рядах, как один, испустили боевой клич (сурен). Всё это проделали три раза, а потом сели на коней и с боевыми возгласами (сурен) вскачь объехали вокруг лагеря» (Беверидж, л. 100б; Ильминский, с. 123). Продолжительность смотра в первую очередь зависела, конечно, от численного состава войска, так что смотр мог длиться несколько дней. По свидетельству Бабура, во время похода против Танбала в 908/1502—03 г. на смотре могольского войска «воинов насчитали тридцать тысяч человек» (Салье, с. 122).

Судя по «Запискам», основным боевым оружием моголов были сабля и лук. Из других видов боевого оружия упоминаются: шестопер (*шашпур*), палица (*пūиāзū*), кистень (*кūстан*), секира (*табарзūн*), боевой топор (*бāлтӯ*), копье (*найза* — Беверидж, л. 103а, 113а; Ильминский, с. 127, текст неполный). Данных о наличии у моголов отрядов войск, вооруженных каким-либо определенным видом оружия, нет. Из воинских доспехов упоминаются кольчуга, щит, латы, шлем с подшлемником и «калмакский панцырь (*джūбе*) с двойным листом». Такой двухслойный защитный доспех был на Бабуре во время похода могольских ханов против Танбала (Беверидж, л. 113а). Заслуживает внимания сообщение Бабура о том, что Ахмад-султан, прибывший из Восточного Туркестана, подарил ему «новенький кушагир» (Беверидж, л. 107а; Ильминский, с. 131). Судя по тому, что Бабур хранил подарок своего дяди в колчане, речь идет о стреле. Что она представляла собой, неизвестно. Название ее персидское и составлено из *куша* 'искомый', 'предмет стараний' и *гир* — основа настоящего времени от глагола *гирифтан* 'брать, ловить, схватывать' и т. д. *Гир* часто составляет второй компонент сложных слов со значением 'хватающий, ловящий, покоряющий' и т. д. В целом словосочетание *кушагир* может быть истолковано как «метко поражающая цель» [стрела].

Непременной принадлежностью военного снаряжения моголов были звуковые сигнальные инструменты — боевой барабан, трубы, литавры и т. д. (Беверидж, л. 100б, 105б). Они не только поднимали воинский дух, но и служили военным сигналом.

В нескольких местах «Записок» мы встречаем упоминание о знамени (*туг*). Из вышеприведенного эпизода, где описывается обряд завораживания бунчуков, очевидно, что Махмуд-хану, как верховному руководителю могольского воинства, принадлежало девять знамен. Из сочинения Бабура не ясно, все ли эти девять знамен считались священными или только одно из них признавалось государственной святыней, которому единственно и поклонялись. О цвете (цветах) военных знамен ничего определенного не говорится. На древке знамени, ниже полотнища, привязывался кутас — украшение из конского хвоста или хвоста яка. О том, имели ли все девять ханских знамен кутас или только одно, главное знамя, сообщений нет. Судя по одной мелкой заметке Бабура (Беверидж, л. 88б), знамя как символ власти имел каждый бек-родоначальник. Военные знамена родов имели, видимо, на себе родовые знаки — тамги. Знамена выполняли по меньшей мере две функции: они были важным священным символом и одним из средств управления войсками на марше и в бою.

«Записки» Бабура дают чрезвычайно ценный материал и об особых боевых и призывных кличах, которые носили общее название *уран*. В главе, где описывается поход могольского хана против Танбала, в котором участвовал и сам Бабур, приводится рассказ-воспоминание, читая который мы узнаем о разных видах урана, разных случаях его применения, о значении урана на войне. События, о которых повествуется в этом рассказе, относятся к 908/

1502—03 г. Могольские ханы выделили Бабуру войско с заданием обойти Танбала с тыла. В полночь войско прибыло из Оша в окрестности Андижана. Несколько беков было отправлено вперед, чтобы они сговорились со знатными горожанами. Ожидая их возвращения, войско расположилось на стоянке: одни воины спешились, другие «сидели на конях; некоторые дремали, иные погрузились в сон». В это время вернулась группа моголов из племени бекчик, которая еще днем, покинув войско в Оше, отправилась в окрестности Андижана, чтобы пограбить. Увидев войско, они пробрались вперед и, желая выяснить, свои это или чужие, выкрикнули слова пароля: «Ташкент!, Ташкент!». Воин сторожевой службы войска то ли от волнения, то ли спросонок в ответ тоже закричал: «Ташкент» вместо условленного «Сайрам». Моголы из племени бекчик решили, что перед ними враг, подняли крик, забили в барабаны и стали стрелять из луков. В стане Бабура поднялся переполох: люди кричали, метали стрелы куда-то в темноту ночи, метались сами по сторонам, в панике многие бросились прочь со стоянки, не заботясь о других. Из-за этой ложной тревоги, пишет Бабур, задуманный план не удался: «Мы снова повернули назад и возвратились в Ош» (Беверидж, л. 103б—105б; Ильминский, с. 127—129; Салье, с. 122—124).

В связи с приведенным здесь эпизодом Бабур дает следующее разъяснение тому, что такое уран. «Уран бывает двух родов. Один уран — особый у каждого племени; так, например, у одного племени уран — «дурдана», у другого — «туккай», у третьего — «лулу». Другой уран — один для всего войска. На войне ураном [войска] устанавливают два слова; во время битвы при встрече один человек говорит одно слово, а другой говорит второе назначенное слово, чтобы таким путем отличить друзей от врагов и распознать своего от чужого. В данном походе условленными словами (войскового) урана были «Ташкент» и «Сайрам». Скажут: «Ташкент», говори: «Сайрам»; скажут: «Сайрам», отвечай: «Ташкент»» (Беверидж, л. 105а, б; Ильминский, с. 129). Краткое, но ясное разъяснение Бабура не требует комментариев.[14]

Войны, набеги и столкновения составляли характерную черту тогдашней жизни. То было время, когда в сражениях и стычках гибло немало людей, когда телесные раны и увечья были явлением обычным и привычным в жизни мужчин. Соответственно ощущалась постоянная потребность в хороших лекарях, костоправах. По свидетельству Бабура, в умении врачевать тяжелые ранения особенно отличались могольские лекари. Так, в одном сражении сошлись два джигита — Самад из племени минг и хисарский могол по имени Шахсувар. Ударом клинка Шахсувар пробивает шлем Самада и «глубоко всаживает ему лезвие в голову»; несмотря на рану, Самад так рубит саблей, что сносит с головы могола «кусок кости». Шахсувар-моголу лечили голову, и он поправился. «Лечить голову Самаду было некому», и через три-четыре дня он скончался (Беверидж, л. 65б; Салье, с. 80—81).

В другой раз был ранен сам Бабур: стрела насквозь пробила

его правое бедро, а голова была рассечена косым ударом сабли. Чтобы лечить его, могольские ханы прислали лекаря по имени Атике (Абике)-бахши, и Бабур вскоре поправился. По его словам, Атике-бахши был исключительно сведущ в искусстве исцелять кости: он брался лечить даже в тех случаях, когда у человека «вываливался из костей мозг». Он «легко исцелял» также любое повреждение сухожилий. К одним ранам он «прикладывал пластырь», при других ранах давал снадобье, приготовленное «из кореньев». Однажды, рассказывал этот бахши Бабуру, у одного человека была сломана стопа и кусок кости, величиною с ладонь, оказался полностью раздробленным. «Я вскрыл рану, вынул раздробленную кость стопы и заменил ее составом из порошка. Это лекарство образовало как бы кость, заменив настоящую, и рана закрылась» (Беверидж, л. 108б—109а; Ильминский, с. 133—134). Бабур, восхищенный высоким мастерством могольского лекаря, восклицает: «Мавераннахрские костоправы не способны так лечить».

Сведения Бабура о могольских родах и племенах довольно скудны и не дают возможности ни определить тип родоплеменной структуры, ни рассмотреть черты родо-племенной организации у моголов. Из них лишь видно, что в могольском обществе прочно сохранялось деление на отдельные роды и племена и что отдельные роды и племена играли важную роль в военно-политической жизни государства. Ниже приводим названия могольских родов и племен, о которых в «Записках» имеются исторические сведения.

Барин. После смерти Ваис-хана,[15] говорится в «Записках», могольский улус разделился на две части: одна часть была на стороне Йунус-хана, а большинство — поддержало Исан-Буга-хана. Бек тумана барин Иризан и Мирак Туркмен, принадлежавший «к числу беков тумана чурас», ушли из Моголистана вместе с Йунус-ханом и с 3—4 тысячами семейств моголов к Улугбек-мирзе в Самарканд. Улугбек не только не оказал им военную помощь, на которую они рассчитывали, но по его распоряжению прибывшие моголы «частично были пленены, а частично рассеяны по разным вилайетам». «Смута Иризана — памятное событие в улусе моголов», — пишет Бабур (Беверидж, л. 9б—10а; Ильминский, с. 12), однако точную дату этого события он не приводит.

Туман барин и бек этого племени Джан Хасан (Хусайн) упоминаются в описании событий истории Средней Азии конца XV—начала XVI в. В 903/1497—98 г. хан моголов Махмуд-султан назначил в помощь Бабуру Сейид Мухаммад-мирзу Дуглата, Айуб Бекчика и Джан Хасан Барина с 700—800 воинами (Салье, с. 70). В составе войска Бабура барины сражались также у Сар-и Пула против Шейбани-хана (Салье, с. 104). Джан Хасан (Хусайн) с туманом барин участвовал в походе могольских ханов против Танбала в 908/1502—03 г.

Бекчик и чурас. По словам Бабура, эти два племени (уруг) входили в состав правого крыла могольского войска и между ними постоянно происходили раздоры из-за того, кому возглавлять

фланг. В то время, говорится в «Записках» при описании событий 1503 г., беком «тумана чурас» был Кашка Махмуд, очень смелый человек. Беком «тумана бекчик» был Айуб, сын Йакуба. Из-за того, кому выходить на край крыла, т. е. возглавлять фланг, они дрались, обнажали друг на друга сабли. В конце концов решили, что в кругу для облавы (джарга) выше будет стоять одно племя, а в боевом порядке (йасал) на край фланга будет выходить другое (Беверидж, л. 100б; Ильминский, с. 123).

Айуб Бекчик со своим туманом и Кашка Махмуд Чурас принимали участие во многих событиях истории Средней Азии конца XV—начала XVI в. (Салье, с. 70, 104, 122, 124, 128 и др.).

Итарчи. Представитель этого племени Сарык Баш Итарчи упоминается при описании событий начала XVI в. то в должности «бека войска», то — «даруги войска» (Салье, с. 122, 128). В 1519 г. в Кабул к Бабуру прибыли послы из Кашгара во главе с Бишка-мирза Итарчи (Салье, 285).

Оглакчи. Как передает Бабур, в числе эмиров Тимурида Ахмад-мирзы был Сейид Йусуф Оглакчи. Судя по замечанию о том, что «его дед, говорят, пришел от моголов» (Салье, с. 32), один из могольских туманов назывался оглакчи. Представители оглакчи состояли на службе также у Султан Хусейн-мирзы и самого Бабура (Салье, с. 177, 203).

Сагрычи. Туман сагрычи упоминается в связи с междуусобной борьбой за верховную власть в улусе моголов между братьями Исан-Буга-ханом и Йунус-ханом в конце 50-х годов XV в. Беки тумана сагрычи поддержали тогда Йунус-хана, ставленника Тимурида Абу Саʿид-мирзы. В ту пору, пишет Бабур, великим или старшим (улуг) беком тумана сагрычи был Шир Хаджи-бек. Йунус-хан взял в жены его дочь Исан-Давлат-биким; у хана от нее было три дочери (Салье, с. 20).

В разных главах «Записок» часто упоминаются представители тумана дуглат. Однако исторических сведений не приводится, хотя из других источников известно, что роду дуглат принадлежало уникальное место в истории моголов и Моголистана XIV—XVI вв.

С. С. Губаева в числе могольских племен называет туман нарин, при этом она ссылается на перевод М. Салье.[16] Обратимся непосредственно к оригиналу. В тексте хайдарабадского списка «Записок» (Беверидж, л. 103б) в этом месте говорится следующее: могольские ханы выделили Бабуру таких-то и таких-то беков, в том числе «Джан Хусайн Нарина с его назинами» (так). В издании Н. Ильминского (с. 127). — «Джан Хасана с его илем». При изложении другого эпизода сообщается, что могольские ханы послали Бабура в сторону Ахси; с ним отправили «Айуб Бекчика с его туманом и Джан Хасан Нарина с туманом маринов» (так! — Беверидж, л. 109а). В издании Н. Ильминского (с. 134) — просто «Хасан хана». При описании событий 903/1497—98 г. Бабур называет Джан Хасана предводителем тумана барин (Беверидж, л. 56а; Ильминский, с. 69). Во всех приведенных случаях речь

идет, видимо, об одном и том же лице, а именно о Джан Хасане, беке племени барин: написание собственного имени Хасан арабскими буквами легко допускает конъектуру Хусайн. Как полагают В. П. Юдин и Mano Eiji, слово нарин (соответственно, назин и марин) — ошибочное написание этнонима барин, который часто встречается на страницах мемуаров Бабура.[17]

В «Записках» к ряду собственных имен прилагается слово тагай: Али Дуст Тагай, Мир Гияс Тагай, Ширим Тагай, Ярак Тагай, Ибрахим Чапук Тагай (Салье, с. 25, 27, 28, 70, 75, 128). С. С. Губаева склонна думать, что слово тагай в составе приведенных выше имен «указывает на этническую принадлежность их обладателей».[18] Между тем в хайдарабадском списке «Записок» при первом упоминании имени Али Дуст Тагая говорится о том, что «он был из беков тумана сагрычи» (Беверидж, л. 14б). Этот же текст в издании Н. Ильминского передан иначе: «Еще один — Али Дуст Тагай. Он был из беков тумана пашагир бахши» (Ильминский, с. 18). Таким образом, вопрос о том, является ли слово «тагай» этнонимом или же оно имело тогда иное содержание, остается открытым.

«Записки» дают богатый материал о службе моголов разным тимуридским владетелям. На страницах мемуаров Бабура часто можно встретить такого рода записи: «при моей матери было около тысячи пятисот или двух тысяч моголов»; в подчинении Хусрав-шаха находилось «три-четыре тысячи моголов»; «в Кахмерде было много моголов — нукеров Баки Чаганиани с домочадцами» и т. д. (Салье, с. 80, 146, 150). Судя по таким сообщениям, общая численность моголов, находившихся на службе у разных владетелей в государстве Тимуридов, была довольно значительна. Но, несомненно, их количественный состав зависел во многом от политической обстановки в Средней Азии и Восточном Туркестане, заметно увеличиваясь в период неурядиц и войн и резко уменьшаясь в политически стабильные годы. В числе служивших у Тимуридских владетелей в разное время моголов называются представители следующих туманов: барин, бекчик, дуглат, оглакчи, сагрычи (Салье, с. 25, 32, 38, 44, 47, 53, 67, 94 и др.).

За пределами могольского государства моголы, видимо, сами избирали себе сюзерена, которому решали служить (Салье, с. 47, 94, 149). Скреплялась ли эта служба письменным договором или сопровождалась присягой, клятвой, Бабур не отмечает. Служба у нового покровителя заключалась главным образом в несении воинских повинностей. В ряде случаев моголы-наемники оставались более верными вассалами, чем сами подданные Тимуридов, и отдельные представители «страны моголов» нередко достигали при дворе Тимуридских владетелей высоких должностей и принимали участие при решении важных государственных дел. В то же время в «Записках» есть немало примеров, когда моголы покидали государство Тимуридов и возвращались «в свою страну». Оказывала ли служба «на стороне» какое-либо влияние на положение возвратившихся «в свою страну» моголов, сказать трудно.

Мы не будем здесь касаться сведений Бабура, относящихся к военнополитической истории моголов; эти сведения обстоятельны и могут служить предметом особой статьи. В заключение приведем лишь характеристики, которые Бабур дает современным ему могольским владетелям и моголам вообще.

Главой могольского государства в то время был Махмуд-хан (1487—1508), сын Йунус-хана от Шах-биким. Основным местом его пребывания являлся Ташкент. В Самарканде и окрестных местах некоторые называли его Ханыке-хан (Салье, с. 21). Много противоречивого было в природе и судьбе этого человека. С одной стороны, Бабур признает в Махмуд-хане ряд достоинств. «Его душевные качества и манеры поведения были хороши», — пишет автор «Записок» (Беверидж, л. 54б). Хан был жизнерадостным, веселым человеком и писал стихи. О достоинстве стихов можно судить по замечанию Бабура, что Махмуд-хан мало уделял внимания правилам тюркского стихосложения и допускал вольности в своих стихах (Беверидж, л. 100а; Ильминский, с. 122). Вознесенный судьбой на высокий ханский престол, он смолоду отличался бесхарактерностью, был человеком слабовольным: в начальные годы его царствования все дела при нем «вязал и разрешал» Хайдар-кукельташ, погибший в битве при Канбае, а в последующие годы другие «любимые беки» (Салье, с. 85, 88). Неуверенность в себе, часто переходящая в малодушие, была отличительной чертой его характера. Ни одно важное дело хан не доводил до конца: «начав войну, он ею тяготился»; выступив в поход, возвращался с полпути (Салье, с. 27, 69, 119). Бабур полностью отрицает в своем дяде военные способности. «Султан Махмуд-хан, — говорится в «Записках», — не обладал бойцовскими качествами; он был бесконечно далек от ратных дел» (Беверидж, л. 94б; Ильминский, с. 115). Словом, личные качества Султан Махмуда входили в противоречие с обязанностями, диктуемыми положением верховного сюзерена и предводителя еще не утративших свой военный быт моголов: «у него совершенно отсутствовал талант военного предводителя» (Беверидж, л. 54б); столь же мало он, по рассказу Мирза Хайдара, умел управлять своими подданными.[19]

Младший брат Махмуда, Султан Ахмад, по прозванию Алача-хан, был его прямой противоположностью. Это был человек отчаянной смелости, непоколебимой силы воли, бесстрашный рубака. Из всех видов боевого оружия Султан Ахмад предпочитал саблю и никогда не расставался со своим острым клинком: «сабля либо висела у него на поясе, либо находилась в руке» (Салье, с. 121—122). По своим привычкам и наружности Султан Ахмад был настоящий сын степи: «выросший на далекой окраине Мавераннахра, он был несколько неотесан и грубоват в речах», носил могольскую одежду, ездил на могольском коне и вел суровый образ жизни (Беверидж, л. 103а, б; Ильминский, с. 126—127). Вот как, например, Бабур описывает «жилище» Султан Ахмада во время похода против Танбала. Когда наш автор прибыл к Султану, он взял его за руку и ввел в свой «маленький шатер». «Так

как [Султан Ахмад] вырос на окраинных землях, — замечает Бабур, — то палатка и обстановка, в которой он жил, были скромными, казацкими. Дыни, виноград, принадлежности конской сбруи — всё лежало тут же в палатке, где он жил» (Беверидж, л. 108б; Ильминский, с. 133). Горячий, увлекающийся, отважный до крайности, Султан Ахмад был в то же время человеком принципиальным, последовательным в своих словах и действиях; он «славился своей справедливостью и честностью» (Беверидж, л. 110б; Ильминский, с. 135).

Простота в общении с окружающими, скромность в быту, любовь к близким, уважение к боевым соратникам — таким предстáет Султан Ахмад в «Записках». «Удивительным человеком был мой дядя, Младший хан», — пишет Бабур (Беверидж, л. 103а; Ильминский, с. 127), и видно, что воспоминания о храбром и благородном Султан Ахмаде особенно дороги сердцу автора.

Простых моголов, нечингизидов, Бабур характеризует исключительно с отрицательной стороны. По его мнению, моголов отличают грубость и жестокость, алчность и лицемерие; это люди низменных страстей и пороков, склонные к мелкому, но злобному коварству (Салье, с. 25, 66, 75, 106, 145, 178). «Козни, интриги и раздоры всегда исходят из могольского улуса», — говорится в «Записках» (Беверидж, л. 64б). По словам Бабура, моголы совершали «злонамеренные поступки», проявляли «криводушие» не только по отношению к иноземным своим сюзеренам, которым они обязались служить верой и правдой, но и к «собственным ханам» (Беверидж, л. 64б). Интересно отметить, что в «Записках» от термина «могол» образовано существительное *моголлук*, с которым автор связывает все отрицательное: хищничество, вероломство, низость души и вообще все безнравственное (Беверидж, л. 64а; Ильминский, с. 79). В этом отношении весьма характерно объяснение, которое Бабур дает поступкам Кули Чунак-могола. Отметив, что он и раньше совершал «разные мерзости», автор пишет: «Последние дурные поступки [Кули Чунака] были также следствием его могольского происхождения (*моголлукнинг нетиджесидин*)» (Беверидж, л. 65а).

Моголистан — варварская периферия, а его обитатели — «злосчастные» создания (Беверидж, л. 90б, 103а, 108б), т. е. создания, которые источают зло, козни, интриги и вражду. Таково категорическое мнение Бабура о тех подданных его дяди Султан Махмуд-хана, которых он называет в своих мемуарах моголами.

Бабур судит о моголах на основании непосредственных впечатлений. Его наблюдения небезынтересны, хотя нельзя не видеть тут чрезмерного выделения автором «Записок» именно пороков моголов. Раздражение и пристрастие Бабура проявляются и в том, что он умалчивает о хороших поступках и душевных достоинствах простых моголов. Односторонность автора в этом вопросе объясняется, видимо, влиянием на него социальных и культурных условий: Бабуру, человеку истинно аристократическому, действующему в духе возвышенной рыцарской чести и морали, мо-

голы, еще не оставившие шаманистских воззрений, обитатели «окраинных земель», казались дикими, более грубыми и коварными, чем соотечественники.

Таковы историко-этнографического характера известия Бабура о моголах. Как это очевидно специалистам, они интересны во многих отношениях и, что очень важно, дают немало существенных дополнений к известиям Мирзы Хайдара Дуглата, сочинение которого было написано в 40-х годах XVI в. «Записки» Бабура представляют собой ценный источник для истории моголов и Моголистана, давно известный востоковедам, но до сих пор еще недостаточно исследованный в источниковедческом аспекте и в связи с этим неполностью использованный в историографии Семиречья и Восточного Туркестана.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Юдин В. П.* О родоплеменном составе могулов Могулистана и Могулии и их этнических связях с казахским и другими соседними народами. — Изв. АН КазССР, сер. обществ. наук, 1965, вып. 3, с. 52—65.

[2] *Пищулина К. А.* Юго-Восточный Казахстан в середине XIV—начале XVI веков: (Вопросы политической и социально-экономической истории). Алма-Ата, 1977.

[3] Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern culture, Tokyo, 1978, 34.

[4] Бабур-наме: Записки Бабура. / Перев. М. Салье. Ташкент, 1958. Далее ссылки на это издание с указанием страниц приводятся в тексте: Салье.

[5] Бабер-намэ, или Записки Султана Бабера / Изданы в подлинном тексте Н. И[льминским]. Казань, 1857. Далее в тексте сокращенно — Ильминский.

[6] The Babar-Nama (fac-simile) / Ed. by A. S. Beveridge. Leyden; London, 1905. («E. J. W. Gibb Memorial» ser., vol. 1). Далее в тексте сокращенно — Беверидж.

[7] *Самойлович А.* Монголо-шаманский обряд завораживания бунчуков в начале XVI века. — Живая старина, 1911, XX, 1912, с. 429—432; *Mano Eiji.* Moghulistan. — Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern culture. Tokyo, 1978, 34, p. 58.

[8] *Жуковская Н. Л.* Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977, с. 105—111.

[9] *Бартольд В. В.* Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. — В кн.: *Бартольд В. В.* Соч., М., 1968, т. V, с. 170; *Юдин В. П.* О родоплеменном составе могулов, с. 57—59.

[10] *Лигети Л.* Монгольские элементы в диалектах хазара в Афганистане. — КСИНА, вып. 83. Монголоведение и тюркология. М., 1964, с. 5—22; *Лигети Л.* О монгольских и тюркских языках и диалектах Афганистана. — АОН, 1955, t. IV, fasc. 1—3, p. 93—117.

[11] Когда Махмуд-хан принимал Бабура в окрестностях Шахрухии, «хан восседал в большом шатре с выходом на все четыре стороны» (Салье, с. 44).

[12] *Березин И.* Очерк внутреннего устройства Улуса Джучиева. СПб., 1863, с. 30.

[13] *Вернадский Г. В.* О составе Великой Ясы Чингис хана с приложением главы о Ясе из истории Джувейни в переводе В. Ф. Минорского. — В кн.: Исследования и материалы по истории России и Востока. Брюссель, 1939, вып. 1, с. 47.

[14] Вопросы о происхождении и применении боевых кличей у некоторых племен и народов рассмотрены в статье: *Рабинович М. Г.* Боевые кличи —

«ураны». — В кн.: История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968, с. 299—307. В этой интересной работе «Записки» Бабура не использованы.

[15] Датой смерти Ваис-хана обычно принято считать 1428 г. По мнению Mano Eiji, Ваис-хан умер в 1432 г. (Mano Eiji. Moghulistan, p. 47).

[16] *Губаева С. С.* «Бабур-наме» как источник для изучения этнонимии Средней Азии. — В кн.: Ономастика Востока. М., 1980, с. 321.

[17] *Юдин В. П.* О родоплеменном составе могулов, с. 56; *Mano Eiji.* Mogholistan, p. 51.

[18] *Губаева С. С.* «Бабур-наме» как источник, с. 232.

[19] См.: *Бартольд В. В.* Очерк истории Семиречья. — В кн.: *Бартольд В. В.* Соч. М., 1963, т. 2, ч. 1, с. 89.

Э. Р. Тенишев

О ЯЗЫКЕ ПОЭМЫ КУЛ ГАЛИ «КЫССА-И ЮСУФ»

Сказание о прекрасном Иосифе в письменной и устной версиях широко известно в восточной и западной литературах. Эмоциональная насыщенность и высокие нравственные идеалы поэмы, разнообразие сюжета и вариации сюжетных линий привлекают внимание исследователей. Вопроса об источниках сюжета поэмы и степени оригинальности отдельных ее изводов, их взаимовлияния недавно коснулся в своей книге казанский исследователь Н. Ш. Хисамов.[1] Вопрос этот настолько сложен, что необходимо специальное исследование истории сюжета поэмы наподобие, например, истории сюжета «Гамлета».

Один из тюркоязычных вариантов сказания — поэмы «Кысса-и Юсуф» («История Иосифа») — написан в 1212 г. (602 г. по хиджре) Кул Гали. Точное место написания поэмы не указывается. Недавно в Казани вышла книга с текстом поэмы в переводах на татарский и русский языки со вступительной статьей, комментариями и описанием списка рукописей Ф. С. Фасеева.[2]

Из книги выясняется, что поэма «Кысса-и Юсуф» широко и издавна распространена среди татар и башкир. По предварительным данным, насчитывается 161 рукопись и 70 печатных изданий поэмы.[3] Бóльшая часть рукописных списков «Кысса-и Юсуф» обнаружена в Татарской АССР (115 ед.), остальные — в Среднем и Нижнем Поволжье, северо-западной Башкирии, Прикамье, Оренбуржье, Урале и Сибири.[4] Центральный район распространения списков поэмы совпадает приблизительно с территорией Булгарского и Казанского ханств, что приводит к заключению об исходном бытовании и начальном этапе иррадиации рукописей именно в этом районе.[5]

Большинство датированных рукописных списков поэмы относится к рубежу XVIII—XIX и началу XX в. Несколько недатированных списков восходят ко второй половине XVIII в., а некоторые — предположительно к XVI—XVII вв. и более раннему периоду.[6]

Влияние поэмы «Кысса-и Юсуф» испытали на себе многие татарские и башкирские поэты от Мухаммедьяра (XVI в.) до Габдуллы Тукая (1886—1913) и Мажита Гафури (1880—1934).[7]

Что же представляет собой язык поэмы и каково его отношение к современному татарскому литературному языку?

Под языком поэмы следует понимать не собственно «поэтический язык» и не стилевую сторону, имеется в виду только структура литературного языка как единого целого в его функциональном аспекте. Под литературным языком следует понимать одну из форм существования языка, противостоящую другим формам: полудиалектам (городским койне) и территориальным диалектам. В этой триаде литературный язык является высшей, наиболее престижной формой языкового общения.

Его основные признаки — обработанность, состоящая в отборе языкового материала и противопоставленная спонтанности диалекта; наддиалектность или надъязыковость, заключающаяся в совмещении признаков разных диалектов (языков); сохранение языковых традиций.

Приложение этих признаков к поэме «Кысса-и Юсуф» поможет определить природу языка поэмы и как следствие — прояснить связи его с другими тюркскими языками.

Поэтическая обработанность, шлифовка языка «Кысса-и Юсуф» проявляется в отборе выразительных средств — метафор, эпитетов, разного ряда художественных определений: ziba bujyŋ uzun sačeŋ hub jamaleŋ (734)[8] 'твой строгий стан, длинные волосы и дивная красота', γaqly tämam, süze jaulaq datlu doryr (334) 'разум его совершенен, речь сладка', bašlaryna mörassäγ taǰ urar imdi (353) 'на голову каждой надела украшенный каменьями венец', möqärräb färeštäder inde kükdän (337) 'высший из ангелов спустился с неба'.

В ткань языка поэмы вплетены яркие, образные сравнения: küzlärendän gäühär kebi jäšlär aqdy/fäsih telin, sähih süzin süjlär imdi (360) 'из глаз их покатились слезы, подобные жемчугу, / он говорил красиво и изящно'; dörlü näsnä γäneär kebi quqyjur imdi (338) 'все вещи благоухали амброй'; biŋze nury könäš kebi balqyr imdi (399) 'лицо ее сияло подобно солнцу', aj kebi kürklü jüze (376) 'как луна красивое лицо ее'.

Образность языка достигается и путем использования законченных речений, что показывает на связь языка поэмы с фольклором: gäühär — daš, väläkin gäühär [daš] ulmaz (1004) 'алмаз — камень, но не всякий камень — алмаз'.

Число приведенных примеров можно увеличить, но и того, что было показано, достаточно для суждения о высоких художественных достоинствах языка поэмы.[9]

Наддиалектность языка «Кысса-и Юсуф» легко улавливается, поскольку различные диалектные (языковые) признаки лежат на «поверхности». В фонетике — это соответствие начальных m- и b-, b- и v-, t- и d-, серединных и конечных -j- и -δ-. В морфологии — параллельное употребление форм род. п. на -nyŋ и -yŋ (после конечной согласной), дат. п. на -γa и -(j)a (после любой конечной), вин. п. на -ny и -y (после конечной согласной), исх. п. на -dyn и -dan, причастий на -dačy и -(j)an. Такое же смешение и в лексике. Состояние наддиалектности подкрепляется большим количеством арабских и персидских слов и конструкций. Заимствования, изо-

лируя язык от диалектной среды, в то же время поднимают его в функционально-стилистическом отношении.

Более подробно картину совмещения разнородных диалектных (языковых) черт можно видеть из обзора языковых традиций, которые отложились в поэме «Кысса-и Юсуф».

На языке поэмы, несомненно, лежит печать хорезмско-тюркской традиции.[10] Она видна на всех уровнях языка.

В фонетике. Начальный m-: män (172) 'я', muny (350) 'этого', munlar (766[3]) 'эти', в середине и конце слов межзубный δ : aδaqy (552) 'его нога', iδi-m (331) 'бог мой', iδ-gil (55[1]) 'посылай'; в нарушение нёбной гармонии форманты содержат губные гласные: su ečürdi (64) 'напоил водой', tämam qyldum (1010) 'я окончил'.

В морфологии. Принадлежность 1-го л. мн. ч. оформляется афф.-myz: atamyz (44) 'наш отец'; дат. п. имеет -γa: xaliqγa (316) 'создателю', bunyŋ kebi hörmätlekgä (300) 'столь уважаемому'; в форме 3-го л. принадлежности дат. п. может быть с -γa и -nγa: taγnyŋ bašyγa (67[3]) 'на вершину горы', jüzinge (80[6]) 'на лицо его'; вин. п. в 3-м л. посессива оформляется афф. -ny: Isxaq — Zabix kämärini qušandyrdy (65) 'опоясал поясом Исхака-Забиха', anyŋ doγasyny (326) 'его молитву'; исх. п. образуется афф. -dyn: qašdyn ašqač (75) 'перейдя горку', näjat sändin kelmäz irsä (502[1]) 'если от тебя не будет помощи'; после принадлежности 3-е л. — -ndyn: mal suŋyndyn (42[1]) 'за скотом'; инст. п. — с афф.-yn: qačan anlary Jüsef küzin kürdi (308) 'когда Юсуф увидел их своими глазами'; форма собирательных числительных характеризуется формантом -lasy: unylasy (756) 'вдесятером', ikeläsi (326) 'они двое'. Глагол представлен совокупностью личных и неличных форм. Аспект невозможности действия образуется посредством афф. -uma: qärdešläri haterin qujumady / razin gizläp ajyryq süz däjümädi (41) 'он не мог обидеть родных, / сохраняя тайну, говорить обиняками'. Перфект существует в двух разновидностях — первая образуется с помощью афф. -myš+личные местоимения: bu ävi baŋa laiq huš düzmeššän (961[5]) 'ты сделала этот дом достойным меня', вторая — посредством афф.-ybdyr: hälvät saraj bizänebder (502) 'построен уединенный дворец'. Настоящее-будущее время обладает разветвленными формами — с афф. -z, -ur, -ar и -jur: bu qolny män häm alurmen (208) 'этого раба я также покупаю', atasy surar, äjder: -nä aγlarsän? (372) 'отец ее спрашивает: отчего плачешь?', nä däjürsez — aŋlajurmän (208) 'что́ вы говорите — я понимаю'. Одна из форм будущего времени имеет афф. -dačy: nöbüvvät risalet buldačysän / mämläkät ijäsi uldačysän (28) 'ты станешь проповедником-пророком / и будешь главой государства'. Деепричастие на -u, -a входит в состав оборотов и аналитических форм: ašlyq alu Misyra varyn! (753) 'за пшеницей идите в Египет!', anlara äjtü/ virmäz! (38) 'не говорите им ничего!'. Вспомогательный глагол ir- 'быть' является изменяемой частью именного и глагольного сказуемого: siddiq irdi (41) 'он был правдив', qylmaγa laiq irür (361) 'чтобы он ни делал, достойно его', bonča däülät ulur irmeš (368) 'богатства стало столько', ägär bäni istär irsäŋ (383) 'если хочешь.

найти меня'. В числе послелогов ičrä 'в, внутри', sary'в, в направлении': düšüm ičrä (24) 'во сне моем', misyr sary varyrlar imdi (756) 'они отправились в Египет'.

Лексический состав хранит слова, свойственные хорезмско-тюркским, караханидско-уйгурским и древнеуйгурским памятникам: savčy (637)~Jaγqub savčy 'пророк Якуб' — (ДТС 492),[11] jalavač (388) 'посол, сват' — (ДТС 228), jarmaq (209, 211), 'деньги' — (ДТС 242), kärtü (42) 'истинный' — (ДТС 302), kändüz (320) 'сам' — (ДТС 394), tälim (388) ~ tälim mal 'много товаров'— (ДТС 550), üküs (26) ~ üküš ni'mät 'много милостей' — (ДТС 624), betü- (395) ~ ǰävab betüb 'написав ответ'.

Совершенно явно язык «Кысса-и Юсуф» хранит в себе традицию огузского типа. Ее вклад ощутим на всех языковых уровнях.

В фонетике. В начале слов b: bän (301) 'я', beŋ (347) 'тысяча', ben- (320) 'подниматься'; звонкий d: düš (23) 'сон', dez (369) 'колено', datlu (334) 'сладкий', dut (343) 'держать', dyŋla- (140) 'слушать', duγ- (24) 'рождаться, всходить (о солнце)'; щелевой звонкий v: var (209) 'есть, имеется', var- (47) 'идти, отправляться', vir- (45, 211) 'давать'; в средней позиции слов j: ajaqlar (79) 'ноги'.

В морфологии. Род. п. после конечной согласной образуется посредством афф. -yŋ: Jüsefeŋ düšin (42) 'сон Юсуфа', haliqyŋ siddiqy (318) 'преданнейший создателю'; дат. п. после конечной согласной — посредством афф. -a, после конечной гласной — афф. -ja: baša čaldy (65) 'надел на голову', läškärä näzar qyldy (304) 'он бросил взгляд на войско', bu qojuja kermeš imdi (205) 'он спустился в этот колодец'; после формы принадлежности 1-го л. мн. ч. сохраняется -a: atamyza häp varalum! (60) 'все пойдем к нашему отцу!'; вин. п. после согласных имеет формантом -y: bu kitaby düzdi (1009) 'составил сию книгу', ušbu süzi (32) 'это слово'; после форм принадлежности следует вин. п. на -y: halemi (361) 'мое положение', säneŋ doγaŋy (325) 'твою молитву', dolyŋyzy (340) 'вашего раба'; исх. п. имеет афф. -dan: bezdän (300) 'от нас', älemezdän (302) 'из наших рук'; после принадлежности 3-го л. исх. п. -ndan: küzlärendän (67) 'из глаз его', ällärendän (302) 'из их рук'; у личных местоимений дат. п. baŋa (323) 'мне' (ед. ч. bän) и saŋa (321) 'тебе' (ед. ч. sän); отрицание при именах образуется частицей dägül/dägel: gol dägül sän (353) 'ты — не раб', bu dägelder adämidän (327) 'он не из рода людского'. Глагол обладает своими характерными чертами личных и неличных форм. Одна из форм прошедшего времени — перфект — образуется при помощи афф. -myš: beresi ul häm jüzekni jutmyš idi (327) 'другая [из рыб] проглотила также перстень', baŋa häsrät äsär qylmyš (807) 'я нахожусь в печали'.

Настоящее-будущее время строится по схеме: афф. -(j)a+личные показатели -m, -van-, -vyz, -sez: soltanat viräm imdi (136) 'дам я [ему] царство', Jüsefi bez saqlajavyz (51) 'мы будем охранять Юсуфа', sarajyma kermäjäsez (341) 'не будете допущены в мой дворец'.

Желательное наклонение в 1-м л. ед. ч. имеет формантом -(j)ajyn: bäγrimγä qysajyn! (55[3]) 'прижму-ка [тебя] к сердцу!', в 1-м л. мн. ч. -(j)alum: nä düš kürmiš — surajalum, izläjälüm (36) 'что за сон он видел — спросим-ка, выясним-ка!'.

Причастие настоящего времени оканчивается на -(j)an: buny düzän — zäγif bändä, adyγäli (1006) 'составивший сие — немощный раб по имени Гали', birär dinar virmäjänsezlär? (341) 'вы — не дающие по одному динару?'. Одна из форм деепричастий — с афф. -uban: balyq vidaγ qyluban suγa düšdi (371[1]) 'рыба, простившись, нырнула в воду', ündäjübän Jüsefi (37) 'позвав Юсуфа'.

Форма на -dyq участвует в образовании предложений: γašyqlyq kâr qyldyγyn beldi bäjan (380) 'ясно понял, что причина тому — любовь', aryγ junyp sudan tyšra käldegendä (322) 'когда ставши чистым, он вышел из воды'.

Именное сказуемое в 1-м л. ед. ч. показателем имеет -vän: bän — säneŋvän (378) 'я — твой'. К послелогам относятся: ilä/lä 'с, вместе с', üzrä 'на, пред' — bizüm ilä (46) 'с нами', ul säbäblä (351) 'по этой причине', jul üzrä tura qaldy (68) 'еще стоял на дороге'. Лексика поэмы включает в себя слова также огузской маркировки: äl (50) 'рука', äv (139) 'дом', bardaq (65) 'стакан', čuq (39) 'много', qurd (50) 'волк', söč (204) 'вина,ошибка', qanqyj (355) 'какой', jajan (76) 'пешком', kände (63) 'сам', könäš (399) 'солнце', tulun aj (24) 'полная луна', büjlä (24) 'этак', üjlä (52) 'так', satun al- (198) 'покупать', bul- (28) 'находить', ul- (28) 'становиться'.

Естественно ожидать в языке поэмы «Кысса-и Юсуф» татарские (шире: кипчакские) строевые элементы и лексику.

В фонетике. В начале слов глухой t: tüš- (304) 'спускаться', telä- (308) 'желать, просить, сватать'.

В морфологии. Род. п. образуется при помощи афф. -nyŋ: taγnyŋ bašyγa (673) 'на вершину горы'; дат. п. имеет универсальный формант -γa: bu šähärgä (308) 'в этот город', после принадлежности 1-го и 2-го л. ед. формант меняется на -a: sarajema (341) 'в мой дворец', hizmätiŋä (202) 'твоей службе', после принадлежности 3-го л. — афф. -na: moradyna (384) 'своей цели'; вин. п. — с афф. -ny: bu qolny (208) 'этого раба', после принадлежности 1-го и 2-го л. ед. ч. — тот же аффикс: hateremni (374) 'мой разум', после принадлежности 3-го л. — афф. -yn: suvyn daγyj tügär imdi (75) 'и воду вылили'; исх. п. имеет форму с -dan: atdan (304) 'с коня'. Для глагола характерны причастия и временная форма на -γan: muny qylγan haliqdan rahät bulmaz (98) 'содеявший это не будет ждать милости от творца', а также недостаточный глагол i- 'быть', образующий именные и глагольные сказуемые: un ber quryj küdär idem (50) 'я пас одиннадцать ягнят', Malik Däγir ziräk ide (198) 'Малик Дагир был догадлив'. Лексический состав включает слова: beti (390) 'письмо, амулет', bike (300) — Qodes bike имя собств. жен., jarly (220) 'бедный, бедняк', kürklü (376) 'красивый', bul- (62, 203) 'быть'.

Из сделанного обзора нетрудно увидеть, что в языке «Кысса-и

Юсуф» сплелись две языковые стихии — хорезмско-тюркская с огузской — и обе они равномощны. Этот смешанный язык продолжительное время функционировал в татарской языковой среде; об этом свидетельствуют и татарские языковые отложения в поэме, и ее географическое распространение, и огромная популярность как у поэтов-профессионалов, так и в широкой народной массе.

Наличие хорезмско-тюркской части в языке поэмы не вызывает удивления: поэма написана в первой трети XIII в. — в пору, когда из караханидско-уйгурского языка развился и действовал новый литературный язык, получивший название «хорезмско-тюркский». Вполне понятна и связь «Кысса-и Юсуф» с творчеством Ходжа Ахмеда Ясеви, как это заметил с С. Л. Уэст:[12] их объединяет общая основа — хорезмско-тюркский язык, развивающийся в направлении чагатайского языка, и сильное огузское включение.

Но где и когда сформировались огузская часть языка «Кысса-и Юсуф» и язык поэмы в целом?

Принимая во внимание в основном обилие огузских элементов, К. Брокельманн отнес язык поэмы к староосманскому,[13] считая «Кысса-и Юсуф» «старейшей предшественницей османской литературы» (der älteste Vorläufer der osmanischen Literatur).

Едва ли можно согласиться с этим мнением маститого ученого: относить язык «Кысса-и Юсуф» к староосманскому препятствует сильная хорезмско-тюркская струя. Она зародилась на востоке тюркоязычного мира и до Малой Азии дошла в ослабленном состоянии, почти затухающей, так же как и последующая за ней чагатайская волна. Поэтому очаг зарождения подобного языка следует искать в Средней Азии. Это скорее всего Южный Хорезм. В XI—XII вв. здесь находились огузы-сельджуки, язык которых лег в основу огузского литературного языка. Высокий авторитет Хорезма в научном и культурном отношениях способствовал престижности данного языка. Предположение в таком духе было высказано ранее А. К. Боровковым [14] и Э. Н. Наджипом.[15]

На той же территории Хорезма произошла встреча и сплавление в единое целое огузского литературного языка и традиционного хорезмско-тюркского литературного языка.

В разные периоды и с различной силой хорезмско-тюркско-огузский литературный язык влиял на ранних узбекских, туркменских, азербайджанских и турецких поэтов. Среди турецких письменных памятников доосманского периода (османское государство возникло в 1299 г.) встречается поэма «Юсуф и Зулейха» Шеййада Хамзы. Эта поэма — турецкий вариант «Кысса-и Юсуф» — по своему языку, истории и территории возникновения имеет полное право называться одной из старейших предшественниц османской (т. е. турецкой) литературы.

Иначе сложились обстоятельства создания «Кысса-и Юсуф» поэтом Кул Гали. Поток культурного влияния занес хорезмско-тюркско-огузский язык в Поволжье, и здесь, в татарской среде, он получил новое применение. При употреблении термина «татарский» имеются в виду элементы собственно татарского (в широ-

ком смысле кипчакского) языка. Где-то на территории Среднего Поволжья в первой трети XVIII в. поэма была написана на смешанном, на уже традиционном литературном языке.

Если бы поэма Кул Гали была единственным произведением на этом языке, можно было бы думать об игре случая. На подобном же языке с сильной огузской окраской написаны и другие поэтические произведения в периодд XIII—XIV вв., такие как «Кисекбаш», «Бедавам», «Кысса-и аук»,[16] данный язык отразился и в более поздних многочисленных сочинениях. Функционирование огузированного поэтического языка в Поволжье подтверждает и популярность турецкой поэмы «Мухаммадия» Челеби.

Иными словами, поэтический язык названных сочинений выполнял функции литературного языка в дальнеродственной языковой среде — явление допустимое главным образом для донациональной поры современного литературного языка. В силу исторических причин донациональный литературный язык не обязательно совпадает с родным языком. Это положение открывает дорогу для использования иных вариантов литературного языка, вплоть до чужого (генетически) языка.[17]

Как типологическую параллель к данному явлению можно указать роль старославянского языка в истории литературного русского и других славянских языков или место латинского языка в развитии немецкого литературного языка, а также роль арабского языка как языка науки и роль персидского языка как языка поэзии у ряда тюркоязычных народов.

Чужеродный литературный язык в процессе его использования приспосабливается к языковым (прежде всего фонетическим) нормам родного языка. Поэтому рецитация и издание «Кысса-и Юсуф» должны следовать нормам татарского языка, как и рецитация и издание любого памятника древней литературы, связанного функциональными отношениями с иноязычной средой. Однако огузированный язык — не единственный представитель литературного языка тюркоязычного Поволжья в XIII—XIV вв.

Другой вид литературного языка воплощен в прозаическом произведении «Кыссас-уль-Анбия» Рабгузи, сохраняющем в наибольшей степени хорезмско-тюркскую основу, граничащую с более древней караханидско-уйгурской.

Третий вид — язык поэмы «Хосров и Ширин» Кутба, продолжающий поволжско-кипчакскую традицию.

В более позднее время (XVI—XVII вв.) появляется еще один вид, основанный на чагатайской традиции.

Все эти разновидности поволжского «тюркй», как принято именовать в научной литературе язык, можно было бы назвать, имея в виду конкретную обстановку, региональными вариантами старотатарского литературного языка. Каждый из вариантов связан с определенным литературным направлением.

Нельзя не заметить эти направления в развитии литературного языка Поволжья XIII—XIV вв.: одна группа писателей и поэтов придерживалась архаизованного и для того времени языка, дру-

гая использовала язык, хранящий общекипчакскую основу, третья прибегала к языку с огузской окраской; на смену им пришел язык, в наибольшей мере отражавший народную основу.

В антологии древней татарской литературы [18] есть утверждение, что литературный язык Поволжья в средневековье еще не был нормирован, он не сформировался. Точнее, следует говорить не об отсутствии нормы, а о ее вариативности, ведущей к представлению о региональных литературных языках. Реальность этого явления можно подтвердить ссылкой на типологически близкий материал.[19]

Исходя из этого представления язык «Кысса-и Юсуф» надо считать одним из региональных вариантов старотатарского (или древнетатарского) литературного языка.[20]

Следует помнить и другое. Названные выше произведения обладали, очевидно, в свое время огромной силой эстетического, художественного воздействия на слушателей. Не случайно некоторые из них сохранились в народном обиходе до настоящего времени: это «Кыссас-уль-Анбия» Рабгузи и в особенности «Кысса-и Юсуф» Кул Гали. До сих пор в селениях Татарской республики и в примыкающих к ней областях охотно поют или пересказывают отдельные фрагменты из этих произведений, оставляя в сохранности их языковый колорит.[21] Слушатели нередко запоминают услышанное и пересказывают другим. В процессе запоминания и пересказа совершается творческая переработка сюжетов. Через много сотен лет, сквозь все превратности истории народ бережно сохранил эти замечательные образцы поэзии и прозы. И теперь они активно участвуют в создании новых поэтических и духовных ценностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 *Хисамов Н. Ш.* Поэма «Кысса-и Йусуф» Кул'Али. М., 1972, с. 30—43.
2 Кол Гали. Кыйсса-и Йосыф. Йосыф турында кыйсса. Казан, 1983, 543 б.
3 Там же, с. 426—507.
4 Там же, с. 489—493.
5 Там же, с. 499.
6 Там же, с. 491—492.
7 Там же, с. 18—44.
8 Здесь и далее цифра в скобках обозначает номер куплета в книге: Кол Гали. Кыйсса-и Йосыф, Казан, 1983.
9 *Kocatürk V. M.* Türk edebiyatı tarihi. Ankara, 1964, s. 83.
10 *Houtsma M.* Ein alttürkisches Gedicht. — ZDMG, 1889, Bd 43, S. 73.
11 ДТС — Древнетюркский словарь. Л., 1969.
12 *West S. L.* The Qiṣṣa-i Jūsuf of 'Ali: The First Story of Joseph in Turkic Islamic Literature. — AOH, 1983, t. 37 (1—3), p. 72—73.
13 'Alī's Qissa'i Jūsuf, der älteste Vorläufer der osmanischen Literatur / von Prof. Dr. Carl Brockelmann in Halle A. s. Berlin, 1916, S. 59.
14 *Боровков А. К.* Очерки истории узбекского языка, III. — Учен. зап. Ин-та Востоковедения, М.; Л., 1958, т. XVI, с. 214.
15 *Наджип Э. Н.* О языке памятника начала XIII в. «Кысса-и Юсуф» Али. — СТ, 1976, 2, с. 88.
16 Кол Гали. Кыйсса-и Йосыф, с. 28.

[17] *Виноградов В. В.* Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967, с. 44.

[18] Борынгы татар әдәбияты. Казан, 1963, с. 26.

[19] *Guchmann M. M.* 1) Der Weg zur deutschen Nationalsprache. Berlin, 1969, S. 59; 2) Die Sprache der deutschen politischen Literatur in der Zeit der Reformation und des Bauernkrieges. Berlin, 1974, S. 51—140; *Гухман М. М.*, *Семенюк Н. Н.* История немецкого литературного языка. IX—XV. М., 1983, с. 48—66; *Дюришин Д.* Особые межлитературные общности и методика их изучения. — Вопросы литературы, М., 1984, № 4, с. 129—145 (см. библиографию предмета, с. 129, примеч. 1).

[20] *Pertsch W.* Die Handschriftenverzeichnisse der königlichen Bibliothek zu Berlin. VI. Bd. Verzeichnis der Türkischen Handschriften. Berlin, 1899, S. 352; Татар поэзиясе антологиясе. Казан, 1956, с. 41.

[21] *Хисамов Н.* Заманнар кичеп. — Азат хатын, Казан, 1974, № 12, с. 16—17.

Л. Ю. Тугушева

ol В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ УЙГУРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Элемент ol, представленный в древних и новых тюркских языках в персональном или дейктическом прономинальном значении, в раннесредневековом уйгурском литературном языке (далее везде РСУЛЯ) выступал носителем иных значений и играл главенствующую роль в организации некоторых типов речевых структур, впоследствии выключенных из системы тюркских языков. Выключение из языковой системы целого комплекса речевых структур не могло не привести к перестройке системы. Поэтому в функциях элемента ol в разные периоды развития тюркских языков отражены диахронические тенденции, проливающие свет на вопросы развития языков и заслуживающие пристального внимания. Аналогом элемента ol в его вторичных значениях выступает элемент titir, в новых тюркских языках утраченный.

В РСУЛЯ ol и titir фигурируют как существенные элементы структурных схем некоторых типов предложений. Используя символы (N — имя, $N_и$ — имя существительное, N_2 — имя в одном из косвенных падежей, V — основа глагола, Adj — прилагательное, Neg — отрицание, D — детерминант), структурные схемы предложений, образованных с помощью ol (titir), можно представить в виде следующих формул.

1) N — V+-ğu — ol — схема образования двусоставных предложений типа: buyan ädgü qılınč qılğu ol 'Необходимо(должно)совершать добрые деяния' (TTI_{68}), öz bašın kislägü ol 'Нужно беречь свою голову' (Insadi, 36). Элементы ol (titir) являются существенными признаками двусоставных предложений данного типа, и их опущение приводит к изменению грамматического значения конструкции, утрате предикативности. Словосочетания buyan ädgü qılınč qılğu 'свершение добрых деяний', öz bašın kislägü 'сохранение своей головы' без элемента ol переходят в разряд непредикативных, соединенных комплетивной связью.

2) N_2 (Pron) — V+miš — ol — схема односоставных (неопределенно-личных) предложений: anın anča timiš ol 'Поэтому так назвали' (СЦ V 46, 25—26). В отличие от конструкций, построенных по схеме 1, наличие элемента ol здесь не является признаком,

существенным с точки зрения реализации категориального значения предикативности; они остаются единицами сообщения и в том случае, когда ol в них не представлен: anın anča timiš 'Поэтому так назвали'.

3) (bu)N ärsär — N ol — структурная схема двусоставных предикативных конструкций рамочного типа, отличительной чертой которых является эмфаза одного из элементов: bu il uluš ärsär burxan toğmıš orun ol 'Эта страна — то место, где родился Будда' (СЦ V 200—201); bu tül blgüsi ärsär manga yitgülük qıyılğuluq blgü ol 'Что касается значения этого сна, то это — примета того, что я умру' (СЦ X 497—499); bu ärsär arxant dintar ol 'Это — святой архат' (СЦ V 2б, 23—24). Ol в этом типе конструкций также не является существенным признаком предложения, и его отсутствие не приводит к изменению грамматического значения словосочетания.

4) bu — N — ol — схема двусоставных предложений рамочного типа: bu nä kiši ol 'Что это за человек?' (СЦ V 2б 22); bu šačiu kägdäsi ol 'Это — шачжоуская бумага' (ТТ V B_0). Из коммуникативных вариантов этого типа конструкций в текстах более распространен вариант, в котором показатель сказуемости занимает второе место после указательного местоимения: bu titir kirtgünč-ning on türlüg yörügi 'Таковы десять способов истолкования веры' (ТТ V В 128—129). В результате инверсии меняются ритмический рисунок и характер актуального членения фразы; вместе с перемещением показателя сказуемости динамическое ударение переносится на начало фразы, и коммуникативным центром предложения становится местоимение bu. Но инверсия в этом случае не является лишь показателем характера актуального членения фразы. Отмечено, что отнесение информативно важной части сообщения в начало предложения является одной из особенностей устной разговорной речи или во всяком случае свидетельствует об экспрессивной и стилистической окрашенности речи (Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 597). Привнесение черт экспрессии, противопоставленных общему стилю изложения как стилистически маркированных, нарушает монотонность речи и служит одним из средств организации речи на уровне сверхфразовых единств.

5) N — Adj — ol (titir). По этой схеме образуются двусоставные предложения: ol taluy suvı ärtingü qorqınčlığ adalığ ol 'Воды этого океана чрезмерно страшны и опасны' (КР XXVI 4—6); bu savım qltı kün tngri täg čın ol 'Эти мои слова истинны, как божество солнце' (СЦ V 323—324). Коммуникативный вариант этого типа предложений отличается инициальным положением сказуемого в сочетании с ol (titir): alp ol munta tükäl söz-lägäli 'Трудно здесь описать это во [всей] полноте' (СЦ V 48, 24—25). В текстах встречаются парадигматические формы этого типа конструкций, образуемые путем изменения формы предикатива: bu tamğa m(ä)n bolmıš-nıng ol 'Эта печать — моя, Болмыша' (USp 18_9); tikisiz ağlaq orunlarda ärmäk öz törüm ol 'Пребывание

в тихих уединенных местах — мое правило' (СЦ V 9б, 7—9); ağır ayağ üküš-i siz-lär-kä ol 'Многие почести — вам [будут оказаны]' (Insadi 36, 205—206).

Обычное в языках расхождение между абстрактной моделью и конкретными формами ее реализации наблюдается и в этом случае и проявляется в ограничении числа реализуемых в речи вариантов конкретных предложений лексико-фразеологической сочетаемостью их членов. Некоторые из них, как, например, предложения типа bu tamğa m(ä)n bolmıš-nıng ol, представлены лишь в одной форме. Элемент ol в этом типе конструкций также факультативен и может быть опущен без изменения грамматического значения конструкции.

6) D — N — ol: ol balıq kidini iki yüz bärä yirdä uluğ tağ ol 'В двухстах ли к западу от города есть большая гора' (СЦ V 2а, 24—26); amtı öz ulušum-qa yanturu barğuluq tapım ol 'Ныне мое желание — вновь вернуться в свою страну' (СЦ V 25—26).

7) nä — N — ol: nä yanglığ b(ä)k qatığ kirtü köngülüng-üz ol 'Как стойко (парн.), правдиво Ваше сердце!' (СЦ VII 2100—2102).

Перечисленные типы синтаксических конструкций, образуемых с помощью ol (titir), были продуктивны в РСУЛЯ, но в литературных тюркских языках более позднего времени замещены другими типами структур. Выпадение из языковой системы целого комплекса средств и замещение их другими привело к перестройке системы. Причины этой перестройки следует искать в условиях, в которых происходило развитие РСУЛЯ, и исследование собственно лингвистической стороны этого процесса ввиду отсутствия иных свидетельств имеет важное значение с точки зрения выявления обусловивших их экстралингвистических факторов.

Сопоставления показывают, что в РСУЛЯ в некоторых структурных схемах ol мог быть замещен иными языковыми элементами (словом bar, вспомогательным глаголом är-, аффиксами сказуемости, нулевым показателем и т. п.), относящимися к разным классам и в их основном, не обусловленном синтагматически значении не соответствующими ol.

Рассмотрим один из этих случаев. В конструкциях, образованных по схеме D — N — ol, ol имеет значение наличия, присутствия (предмета, состояния), выступая аналогом слова bar. Два предложения tağ ičintä iki yäk bar 'Внутри горы есть два демона' (ТТ I 62—63) и tağ ičintä iki yäk ol являются равнозначными, элементы bar и ol находятся в них в отношениях контрастирующей дистрибуции. Различие между ними заключается в несоответствии условий воспроизведения значения наличия (присутствия) в том и другом случае. Ol, в отличие от слова bar, выступает носителем значения наличия (присутствия) только в сочетании с детерминантом, что накладывает известные ограничения на его употребление, в то время как для слова bar это значение не является синтагматически обусловленным.

Другим отличительным свойством конструкций, образованных с помощью ol, является то, что они не имеют парадигматических

форм, регулярно воспроизводимых. Например, в отличие от конструкции tağ ičintä iki yäk bar, выступающей в разных парадигматических формах (tağ ičintä iki yäk bar ärti, tağ ičintä iki yäk bar ärmiš, tağ ičintä iki yäk bar ärsär, tag ičintä iki yäk bar ärti ärsär, tağ ičintä iki yäk bar ärmiš ärsär, tağ ičintä iki yäk bar ärgäy и т. д.), конструкция tağ ičintä iki yäk ol имеет лишь одну форму настоящего времени синтаксического индикатива, так как ol не сочетается с вспомогательными глаголами. Такого рода формальная ограниченность не могла не служить важным регулирующим фактором при распределении.

Bar и ol — языковые единицы разного класса. Значение первой раскрывается в лексико-семантической оппозиции bar : yoq.

Ol как показатель категориального значения предикативности противопоставлен нулевому показателю. Синтагматически это различие проявляется в том, в частности, что конструкции вышеуказанного типа со словом bar могут быть распространены с помощью ol как всякая иная именная предикативная конструкция. Предложение tağ ičintä iki yäk bar ol равнозначно предложениям tağ ičintä iki yäk ol ~ tağ ičintä iki yäk bar, но восходит к иному структурному типу, сближаясь с конструкциями, образованными по схеме N — Adj — ol.

И наконец, ol выражает категориальное значение предикативности, занимая финитное (замыкающее) положение в предложении. Подобное закрепленное положение показателя предикативности ограничивает возможности построения коммуникативных вариантов фразы и соответственно экспрессивно-выразительные возможности языка. Bar как показатель предикативности не имеет таких ограничений и может перемещаться внутри фразы в зависимости от требований актуального членения и от коммуникативной нагрузки: amtı . . . taqı bar üč arxant-lar 'И ныне . . . еще есть три архата' (СЦ V 4а, 9—10).

Ol является универсальным показателем предикативности, категориальное значение которого наименее обусловлено, но конструкции, образованные с его участием, менее приспособлены для передачи значений и оттенков значений, передаваемых с помощью парадигматических и коммуникативных форм иных типов конструкций. И не случайно, в процессе развития языка этот способ выражения предикативности был вытеснен иными способами, менее ограниченными семантически.

Тенденция к вытеснению ol как показателя предикативности наметилась уже в РСУЛЯ. Встречающиеся в РСУЛЯ предложения типа tarığ-lağ yiri i-kä tarıg-qa yarağ-lığ 'Обрабатываемые земли пригодны для посевов' (СЦ V 4а, 23—24) являются ничем иным, как вариантами конструкций, построенных по схеме N — Adj — ol, в которых ol, как элемент факультативный, утрачен.

Одним из немаловажных факторов, способствовавших развитию языка в указанном направлении, по-видимому, явилось то, что один из употребительных элементов языка — предикатив bar благодаря своей полифункциональности мог выступать в роли

сказуемого предложения без показателя предикативности: qaldı bu sav tıltağınta šlok-ta ymä söz-lämiš bar 'По поводу этого слова также сказано в стихах' (Insadi 54, 674—675); inčip ymä . . . artamıšı yoq 'Тем не менее . . . они не разлагались' (СЦ V 2а, 4—7).

Как показатель предикативности ol находится также в отношениях контрастирующей дистрибуции с вспомогательным глаголом är- при условии, если сообщение соотнесено с настоящим временем индикатива: bitig-lär-intäki savları bu ol 'В письме их говорилось следующее' (букв. 'в письме их содержались такие слова') (СЦ V 10а, 3—5)=bitig-lär-intäki savları bu ärür; ätöz-läri köngül-läri čınsız yarpsız ol 'Их тела и души лишены праведности и стойкости (твердости)' (АУ 383, 4—6)=ätöz-läri köngül-läri čınsız yarpsız ärür. Несомненным свидетельством того, что элементы ol и är- по некоторым признакам тождественны, является сходство условий реализации их синтагматически обусловленных значений: значение наличия (присутствия) глагол är- так же, как и ol, несет лишь в сочетании с детерминантом в схеме D — N — är-: ağılıqdaqı ordu-taqı näčä äd tvar ärdi ärsär 'Сколько бы ни было имущества в казне и во дворце [правителя Шиладитья'] (СЦ 34, 23—24). Но наряду с тем каждый из них является носителем других семантических признаков, реализующихся на основе иных противопоставлений в другом окружении. Например, глагол är- в сочетании с именем в форме локатива может стать носителем значения 'пребывать, находиться' (tikisiz ağlaq orun-larda ärmäk 'пребывание в тихих, уединенных местах' — СЦ V 9б, 7—9), которое не присуще ol ни в одной из его позиций.

Выявленные особенности распределения ol (titir) в РСУЛЯ позволяют прийти к выводу, что ol как показатель предикативности мог быть замещен другими элементами: предикативами bar, yoq, различными формами служебного глагола är-, нулевым показателем и др. Категориальное значение предикативности является синтагматически менее обусловленным в сравнении с другими показателями, и в этом смысле ol является «универсальным» показателем предикации. Но, с другой стороны, конструкции, образованные с помощью элементов ol (titir), в отличие от конструкций, образованных с помощью иных показателей предикации, не имеют парадигматических форм и не приспособлены для передачи значений, реализуемых с помощью последних. Но указанные особенности распределения сами по себе не могли служить причиной вытеснения ol как показателя предикативности; ol в РСУЛЯ находится в отношениях контрастной дистрибуции с другими показателями этого значения, и утрата его в процессе языкового развития не мотивирована условиями его функционирования на собственно лингвистическом уровне.

Анализ распределения элемента ol позволяет выявить, что существуют позиции, в которых он устойчив, и позиции, в которых он произвольно может быть опущен. Он устойчив в схеме 1 (см. выше), в сочетании с глагольным именем на -ğu, -gü, в схеме D — N — ol, в которых является признаком, существенным

с точки зрения реализации категориального значения предикативности, и утрата его приводит к изменению значения конструкции. В других типах конструкций ol является элементом факультативным, отсутствие которого не ведет к изменению значения конструкции; оно не мотивировано общеязыковой семантикой. Вместе с тем можно заметить, что слабой позицией, в которой этот элемент опускается чаще всего, являются сверхфразовые единства, построенные на основе параллелизма: köz-üng ičintä küg yoq, köngül-üng ičintä qadğu yoq 'В твоих глазах нет скорби, в твоем сердце нет печали' (TT I 251, 144—145); aq qıšıng az. kiši ara ädgülüg yolung alp. künigäki išing tıdığlığ 'Благоприятных зим у тебя мало, путь к добру среди людей — труден, повседневные дела встречают противодействия' (TT I 251, 159—161). Этот факт говорит о том, что важную роль в распределении элемента играет характер организации речи на сверхсегментном уровне. Занимая финальное положение во фразе, он выполняет делимитативную функцию, сигнализируя о границе сегмента, и там, где есть другие показатели границы сегментов (например, параллелизм), он может быть опущен. Но ol на сверхсегментном уровне выполняет не только разграничительную роль. Включение в речь безударного, лишенного семантики на общеязыковом уровне, «пустого» элемента, приводит к перераспределению информации в речи. На фоне «пустых» частиц более рельефно выделяются информативно значимые элементы и изменяется соотношение между количеством информации и отведенным для нее сегментом речи.

Аналогичное явление встречается в некоторых современных тюркских языках, преимущественно в устных формах речи, в которых в качестве завершающего, финального элемента предложений могут выступать элементы, лишенные содержания на общеязыковом уровне. Например, в современном татарском языке нередко финальным элементом предложения выступают частицы *шул*, *инде*, *әле* и др.: *шулай шул* 'Так!', *андагы киенүләр ис китәрлек инде* 'Тамошние моды — умопомрачительны!', *тагы кирәк булырбыз әле* 'Пригодимся еще!' (Г. Камал. «Бәхетсез егет»). Они лишены содержания, являются лексически и грамматически избыточными, но выполняют в предложении важную роль. С их помощью перестраивается ритм речи и создается сегмент речи большей протяженности, позволяющий оттенить информативно важные, коммуникативно значимые элементы.

Анализ функций элемента ol в РСУЛЯ позволяет установить, что существуют позиции, в которых он не несет лексического и грамматического значения, является «пустой» частицей, единственной функцией которой является функция ритмического организатора на сверхсегментном уровне. Наличие в языке литературы такого рода «пустых» частиц свидетельствует о том, что произведения раннесредневековой уйгурской словесности были рассчитаны на устное воспроизведение, но в отличие от современных тюркских языков эти частицы в РСУЛЯ являлись фактором языка, а не речи. В РСУЛЯ они выступают в функции ритмо-

организующих элементов регулярно как всякий грамматический показатель. Появление в синтаксической конструкции этой частицы автоматически переводит ее в разряд конструкций иного уровня. Благодаря специальному показателю предложение tikisiz-z ağlaq orunlarda ärmäk öz törüm ol 'Пребывание в тихих, уединенных местах — мое правило' (СЦ V 9б, 8—9) в отличие от tikisiz ağlaq orunlarda ärmäk öz törüm становится частью особым образом организованного речевого единства.

Соответственно, последовательное выключение этого элемента из разных типов синтаксических структур в значительной мере было обусловлено тем, что в связи с развитием литературы изменились принципы ритмической организации языковых элементов как элементов структур художественных.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АУ — Suvarṇāprabhāsa (Сутра Золотого блеска): Текст уйгурской редакции / Изд. В. В. Радлов и С. Е. Малов.

СЦ V — *Gabain A. von.* Die uigurische Übersetzung der Biographie Hüen-tsangs. — SPAW, 1935, VII; *Тугушева Л. Ю.* Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана. М., 1980.

СЦ VII — *Gabain A. von.* Briefe der uigurischen Hüen-tsang-Biographie. — SPAW, 1938, XXIX.

СЦ X — *Tezcan S.* Eski uygurca Hsüan Tsang biyografisi. X bölüm. Ankara, 1975.

КР — *Hamilton J. R.* Le Conte bouddhique du bon et du mauvais prince en version ouigoure. Paris, 1971.

Insadi — *Tezcan S.* Das uigurische Insādi-Sutra. Berliner Turfantexte, III, Berlin, 1974.

TT — Türkische Turfantexte.

USp — *Radloff W.* Uigurische Sprachdenkmäler. Leningrad, 1928.

Э. А. Умаров

ИЗ МАТЕРИАЛОВ К ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

(ПО СЛОВАРЮ «БАДАИ АЛ-ЛУГАТ»)

В XV—XIX вв. в связи с большим интересом к творчеству Алишера Навои были созданы разнообразные двуязычные словари: староузбекско-турецкие («Абушка», «Лугати чигатайи ва турки усмани»), староузбекско-арабский («Мунтахаб ал-лугат»), староузбекско-французский («Dictionnaire turk-oriental»), староузбекско-персидские («Бадаи ал-лугат», «Санглах», «Китаби лугати атракийа») и др.

Изучение данных словарей показало, что наиболее ценным из них в истории узбекского языка оказались последние три староузбекско-персидских словаря. Ценность их состоит в том, что они созданы в русле лексикографических традиций персидских фархангов (словарей), характерной особенностью которых является пофонемное описание в них структуры каждого слова. В этих словарях даются исчерпывающие сведения о структуре около тринадцати тысяч староузбекских слов. Другими словами, данные словари являются орфографическими и орфоэпическими справочниками староузбекского языка XV—XIX вв.

Другой отличительной особенностью словарей является то, что они созданы в разные периоды истории староузбекского языка: «Бадаи ал-лугат» — XV в., «Санглах» — XVIII в., «Китаби лугати атракийа» — XIX в. Следовательно, в них зафиксированы, сохранены фонетические, лексические и грамматические особенности староузбекского языка этих периодов, что играет существенную роль при научной периодизации староузбекского языка.

Каждый из указанных словарей дает историкам языка конкретный, надежный материал об определенном периоде староузбекского языка.

«Бадаи ал-лугат»[1] содержит весьма ценные материалы о лексике, фонетике и грамматике староузбекского языка XV в. Данный словарь был создан сразу же после кончины Алишера Навои (1501) по велению правителя Хорасана Султана Хусейна для запечатления высокой поэзии, стиля поэта. Оригинал словаря хранится в Иране. Им пользовался в рукописных фондах Ирана

в XVIII в. при составлении «Санглах» Мирза Мехдихан. По счастливой случайности один экземпляр словаря был приобретен русским востоковедом, путешественником Н. В. Ханыковым во время его поездки в Хорасан. Эта рукопись сейчас хранится в библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Словарь по объему небольшой. В нем описывается всего около тысячи слов, однако в описаниях даются ценные сведения и о других словах. Ценные сведения содержат также подтвердительные цитаты.

Цель статьи — рассмотреть такой вопрос, как вокализм староузбекского языка XV в. на основе материалов «Бадаи ал-лугат», что даст некоторое новое представление о языке того периода.

Изучение состава гласных показало, что в староузбекском языке XV в. существовало 14 гласных, различающихся между собой также оттенками долготы и краткостью (а не 8—9, как принято считать). Примечательно то, что Тали Имани был опытным словарником, и поэтому каждый гласный им обозначен специальным термином:

1. алифи мамдуда — долгий *ā* : *āнт* [5а][2] 'клятва'; *āт* [5а] 1) 'имя'; 2) 'брось'; 3) 'лошадь', *āчмак* [6б] 'открыть', *āж* [6б] 'голодный', *āч* [6б] 'открывай', *āл* [7а] 1) 'красный'; 2) 'возьми'; 3) 'обман'.

2. алифи мафтуха — открытый *а*: *арман* [6а] 'желание', *ата* [7б] 'отец', *айаг* [8б] 1) 'чаша'; 2) 'нога', *анга* [10б] 'ему', *алтайи* [12б] 'шуба'.

3. алифи максура — краткий *а*: *ара* [5а] 'середина', *аргадал* [5а] 'труднодоступное место'.

4. ба замма — *у*: *ул* [15б] 'тот', *утун* [16а] 'дрова', *уйу* [17а] 'разве', *уртаꝗ* [19а] 'друг', *улум* [24а] 'мертвый', *улус* [25а] 'люди', 'общество'.

5. ба замма бал ишбаъ — самый узкий (краткий) вариант ба заммы — *у*: *сўнгак* [61а] 'кость', *ўруш* [26б] 'битва', *ўтук* [24б] 'сапог', *тўб* [47б] 'дно', *ўчꝗун* [18б] 'искра'.

6. бал ишбаъ (при описании звука *у*) — узкий вариант ба замма: *ўшаꝗ* [20а] 'мелкая вещь', *ўрун* [20а] 'место', *бўлағ* [41б] 'родник', *тўлку* [48б] 'лиса'.

7. била ишабъ (при описании звука *у*) — широкий вариант ба замма: *ўн* [22б] 'десять', *тўнг* [51а] 'холод', *ўлуғ* [23а] 'большой', *ꝗўй* [69а] 'оставь', *ꝗўл* [69б] 'рука'.

8. ба замма алиф — *ў*: *ўꝗ* [15а] 1) 'стрела'; 2) 'частица', *ўсал* [21а] 'нерадивый', *ўгут* [22а] 'совет', *ўнг* [26б] 'правая сторона'.

9. бил каср — *и*: *идиш* [26б] 'посуда', *илак* [27а] 'сито', *исирға* [29а] 'серьги', *имиш* [33б] 'был', *бишик* [42а] 'колыбель', 'люлька'.

10. бил каср вал ишбаъ — самый узкий (краткий) вариант бил каср — *й*: *ꝗймас* [71б] 'палач', *ꝗйсꝗармаꝗ* [71а] 'сокращаться', *йрик* [28б] 'крупный', *йлик* [34а] 'рука', *сйингак* [63а] 'комар'.

11. бал ишбаъ (при описании звука *и*) — узкий вариант бил каср — *ий*: *бийлгу* [42б] 'примета', *бийир* [43а] 'один', *ꝗийил* [71а] 'волосок', *ꝗийин* [71б] 'темница'.

12. била ишбаъ (при описании звука *и*) — широкий вариант бил каср — *и*ᵊ: *ḳи*ᵊ*н* [71б] 'ножны', *ḳи*ᵊ*л* [71а] 'делай', *и*ᵊ*ш* [27а] 'плести'.

13. ба каср алиф — *э*: *эрин* [26б] 'губа', *эрк* [28б] 'воля', *эшик* [30а] 'дверь', *эз* [35а] 1) 'след ноги'; 2)'выдави', *энгак* [35б] 'подбородок'.

14. ба каср алиф вал ишбаъ — узкий вариант ба каср алиф — *э*ᶦᶦ: *э*ᶦᶦ*ш* [29а] 'работа'. [3]

Как видно из приведенных примеров, научные данные словаря полностью совпадают с высказыванием самого Алишера Навои в «Мухакамат ул-луғатайн» («Тяжба двух языков»). Например, говоря о гласных *у* и *и* он писал: «. . . в тюркских словах и для „вава" и для „яя" встречается четыре огласовки. . .».[4] В действительности же данные словари показывают, что в староузбекском языке существовало четыре вида огубленных звуков: *у* (обыкновенный), *у́* (краткий), *ў* (самый краткий), *ӱ* (широкий вариант *у*), а также четыре вида негубных узких гласных: *и* (обыкновенный), *й* (краткий), *ий* (узкий, долгий), *и*ᵊ (широкий вариант *и*).

Из многочисленных примеров видно, что гласные звуки в XV в. различались долготой и краткостью. Научные данные и исследования о долготе и краткости гласных звуков ответили на самый трудный и спорный вопрос, который долгое время интересовал тюркологов: почему аруз прижился в староузбекском языке? В чем причина того, что только один Алишер Навои написал в этом размере более трех тысяч газелей?

Сейчас на этот вопрос с уверенностью можно ответить: долгота и краткость существовали в самой природе староузбекского языка, т. е. были присущи не только арабско-персидским, но и вообще тюркским словам. Поэтому староузбекские поэты свободно писали на метрике аруза и тем самым оставили богатое наследие, созданное в этом размере.

Составитель словаря был опытным лексикографом. Учитывая, что словарь со временем может прийти в ветхое состояние и отдельные знаки в рукописи могут стереться, он некоторые элементы языка показывает двойным способом. Например, долгий *ā* он показывает как пометой мадда [~] «знак долготы», так и специальным словом *мамдуда* «долгий».

Как тонкий фонетист Тали Имани указывает на существование специальной фонемы *ий* в староузбекском языке XV в. Данный гласный, по его мнению, давал возможность, например, различить одинаково пишущиеся в арабской графике *ḳил* 'делай', 'совершай' и *ḳийил* 'волосок'. Из-за незнания этой тонкости до сих пор допускаются ошибки в расшифровке текстов узбекских поэтов.

Например, там, где должно быть *ḳийил* 'волосок', стоит слово *ḳил* 'делай':

Қон ёшим таним тулғонғоним наззора қил
Лолазор ичра йилон гар кўрмадинг ўт узра қил.[5]

Как видно из смысла бейта, во второй строке должно быть *қийил* 'волосок', и тогда смысл бейта станет ясным:

Мое тело качается в кровавых слезах, смотри,
Как в мальвах змею иль волосок в огне ты не видел.

Можно привести примеры, где слово *қийил* дано с неправильным написанием:

Қон ёш ичра ғарқадур жисмим, чиқар эй муғбача
Кўрсанг андоқким ӓлурсен лаългун маӣ ичра қил [6]
Не заъф ўлғайки бир қил гар қаламдин устига тушкай
Ниҳон қилғаӣ мусаввир тортғон қилдек мисолимин. [7]

В связи с этой выявленной фонетической закономерностью мы полагаем, что и другие слова, например слово *сиз* в нижеследующем бейте должно быть *сийиз* 'рисуй':

Жисм айвонида хатту нақш ила зеб истасанг
Чек фано хаттинию бенақшилик нақшини сиз.[8]

При данной неверной транслитерации слово *сиз* означает 'вы', тогда как смысл бейта диктует употребление *сийиз* 'рисуй'.

В словаре сохранилось много других ценных фактов по исторической фонетике староузбекского языка XV в.

Примечательно, например, высказывание Тали Имани о фонеме *ң*. Он пишет: «ўнг 'правая сторона' произносится как сўнг 'потом'. При произношении *н* и *г* нет воздуха, они должны произноситься едино как *ң*».

Данный словарь, как и фрагмент недавно обнаруженного автографа Алишера Навои, показывает, что в староузбекском языке XV в. сингармонизм играл решающую роль. Причем широко встречается как нёбная, так и губная гармония: *тилӓдим* 'пожелал', *илгӓри* 'раньше', *ӱлӱм* 'смерть', *бӱри* 'волк'.

Лексикографическое изучение словаря показывает, что многие слова в староузбекском языке XV в. звучали иначе, т. е. не так, как графически обозначаем их сейчас в произведениях поэтов XIV—XV вв.

Например, составитель словаря Тали Имани отмечает, что слово *черик* 'войско' в XV в. звучало с касрой, т. е. как *чирик*.

Данную форму слова подтверждает и рифма. Алишер Навои данное слово рифмует со словом *илик* 'рука'.

Жондин ул су била илик юдилар
Шоҳ, балким бори чирик юдилар [9]

Дема ер кўтармасададсиз чирик
Санга тиғим олинда тутқай илик [10]

Хаёлида бу сузким: икки чирик
Қачон сунсалар кин ишига илик [11]

По данным словаря, слово *кема* 'лодка' произносилось с касрой — *кима*.

В связи с этим Навои рифмует данное слово в большинстве случаев со словом *нима* 'вещь':

Деди айлаб мураттаб кемаларни
Солинг анда кераклик нималарни [12]

Дейилган баҳр аро ҳар наъви кема
Ичинда анча халқу анча нима [13]

Хожа солди аларни ҳам кемага
Эхтимон айлабон бори нимага [14]

Суга сурди Сухайл кемасини
Айириб барча хайлу нимасини [15]

Деди мавқуф бўлмайин нимага
Кўзини боғлабон солинг кимага [16]

Кўрунуб бу анга ғариб нима
Ки аён бўлди бир азм кима [17]

Современное узбекское *куёв* 'жених' по данным словаря, в XV в. в гератском диалекте, при жизни Алишера Навои, произносилось в форме *кэйав*. Именно эта форма слова была созвучна со словом *икав* 'вдвоем'. В языке Навои данная рифма встречается несколько раз:

Кўн зийнату зеб этб икавни
Гулчехра кэлин била кэйавни [18]

Бир наъшқа солдилар икавни
Жонсиз кэлину, улук кэйавни [19]

Именно на такое произношение и чтение наталкивают диалектные материалы Бухарской и Кашкадарьинской областей.

Тали Имани приводит интересные сведения по звучанию некоторых других слов. Например, современное узбекское *чидамак* 'терпеть' в XV в. в Герате звучало как *жидамақ*. Современное *чигит* 'семя хлопка' в XV в. звучало в форме *жигит*. Слово в значении 'колокольчик' звучало как *жинқару*. Эти и другие примеры показывают правоту Х. Даниярова, когда он говорит о роли кыпчакского элемента в староузбекском языке.[20]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Боровков А. К.* Бадаи ал-луғат: Словарь Тали Имани Гератского к сочинениям Алишера Навои. М., 1961.

[2] Примеры взяты из факсимиле, приведенного в упомянутой книге А. К. Боровкова. Цифры в скобках означают страницу рукописи.

[3] Полуширокие гласные *ў*, *э* в середине слова Тали Имани показывает термином *ба фатх*. Данная помета встречается возле следующих слов: *сэвмак* (60а) 'желать', *кэлин* (73а) 'невеста', *кўрга* (73а) 'большой кувшин'.

[4] *Алишер Навои.* Соч.: В 10-ти т. Ташкент, 1970, т. 10, с. 117 (перев. А. Малеховой).

[5] *Алишер Навоий.* Фавойид ул-кибар. Тошкент, 1960, с. 383.

[6] *Алишер Навоий.* Ғаройиб ус-сиғар. Тошкент, 1959, с. 383.

[7] *Алишер Навоий.* Наводир уш-шабоб. Тошкент, 1959, с. 604.
[8] Там же, с. 211.
[9] *Алишер Навоий.* Хамса. Тошкент, 1960, с. 603.
[10] Там же, с. 672.
[11] Там же, с. 683.
[12] Там же, с. 226.
[13] Там же, с. 230.
[14] Там же, с. 530.
[15] Там же, с. 566.
[16] Там же, с. 570.
[17] Там же, с. 582.
[18] Там же, с. 425.
[19] Там же, с. 446.
[20] *Дониёров Х.* Эски ўзбек адабий тили ва қипчоқ диалектлари. Тошкент, 1976.

М. С. Фомкин

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ПОЭТИКИ ТЮРКСКИХ СТИХОВ СУЛТАНА ВЕЛЕДА

Одна из первоочередных задач изучения средневековой тюркоязычной поэзии состоит в том, чтобы выявить в ней систему традиционных образов и установить их возможное философское содержание.[1] Однако последнее вследствие тесной связи этой поэзии с философией и эстетикой суфизма [2] невозможно без знания специфической суфийской символики, которая требует в свою очередь специального изучения.[3] Предлагаемая статья представляет попытку анализа некоторых образов и символов в суфийской тюркоязычной литературе.

Творчество Султана Баха-ед-дина Веледа (1226—1312) связано с начальным этапом развития тюркоязычной суфийской поэзии и представляет собой одну из первых попыток популярно изложить суфийское учение на тюркском языке с учетом тюркских поэтических традиций.[4] Поэтому образно-поэтическая интерпретация идей суфизма, осуществленная Султаном Веледом, представляет особый интерес с точки зрения исследования малоизученной [5] образной системы классической тюркоязычной поэзии.

В содержательной поэтике [6] Султана Веледа в общем контексте всех его тюркских стихов по своей употребительности и функциональной значимости выделяются три слова-образа: nur ʻсвет’, güneş (gün) ʻсолнце’, ay ʻлуна’. Эти различные по семантике слова, каждое из которых в естественном языке является практически однозначным понятием, в п о э т и ч е с к о м я з ы к е Султана Веледа меняют свои характеристики и характер своих отношений.

На уровне поэтического языка первого порядка,[7] который соответствует восприятию текста в плане конкретно-чувственной реальности, эти слова и соответствующие им образы могут выступать в двух функциях и, таким образом, получать двоякое истолкование в простом лирическом смысле.

Во-первых, они выступают в качестве самостоятельных единиц соотнесения обозначаемого и обозначающего, сохраняя свое общеязыковое восприятие. Примеры:

Veled sini **güneşden** bellü gördi
Nice andan sırunı gizleyesin? [8] (22)
Велед увидел тебя яснее **солнца**,
Зачем ты хочешь скрыть от него свою тайну?
Karanu kalmaya anda ki bu **ay**
Karanuyı nurila taşra yitti (38)
Темнота не останется там потому, что эта **луна**
Темноту светом наружу прогнала.

Здесь эти слова-образы, сохраняя свою самостоятельную семантику, представляют автологический тип словоупотребления. При этом они могут выступать в функции изобразительно-выразительных средств языка, в данном случае — сравнения.

Во вторых, эти слова могут тропироваться, т. е. переходить в металогический семасиологически двуплановый тип словоупотребления и при этом также выступать в качестве изобразительных средств языка, например метафор и метафорических эпитетов:

Ol **güneşdür** evliyalar yılduzı
Dükeline ol dökürür uruzi (72)
Он — **солнце**, звезда святых,
Всем он доставляет пропитание.

Этот бейт может быть метафорическим восхвалением, например, щедрого султана, на которого все молятся, как на звезду.

Ger sen dilemezsen kim bini delü edesin
Ol **ay** yüzüla gündüz tamda nişe gazarsan (26)
Если ты не хочешь сделать меня безумным,
Зачем ты гуляешь днем на крыше с лицом этой **луны**?

Но и при этом они отчетливо сохраняют свою специфическую семантику, которая выражается в специфических переносных значениях в структуре тропов.

Особое значение имеет характер отношений этих образов на этом уровне языка. Совершенно очевидна их семантическая и функциональная связанность между собой. Слова-образы *солнце* и *луна* в синтагматических отношениях оказываются в положении эквивалентности, благодаря чему между ними возникает семантическая соотнесенность, выделение общего семантического ядра: [9]

Ey **ay u güneş** kolun aldın canumı bugün
Ger bir bakasın bana eksük ne ola senden (24)
О **луна и солнце**, рукой ты взяла мою душу сегодня,
Если раз посмотришь на меня, какой тебе будет ущерб?

В приведенном бейте эти образы выступают уже в качестве единого образа, возникшего на основе выделившегося общего семантического ядра. При истолковании этот единый образ выступает в качестве обращения к реальному лицу, обозначенному метафорическим эпитетом, который переносит на объект характеристики специфические признаки и свойства средства характеристики.

В свою очередь слово-образ *свет* оказывается соотнесенным с двумя упомянутыми, выступая как их общая функция:

Nur eger ola gözünde **nur** göre
Güneşin nuri ana gele dura (70)
Если в его глазах будет **свет**, он увидит **свет**.
Свет солнца придет к нему, —

см. также пример (38).

Таким образом, в общем контексте тюркских стихов Султана Веледа на уровне языка I порядка лексемы 'свет', 'солнце' и 'луна', будучи самостоятельными единицами номинации, при этом сопоставимыми и связанными в рамках общего семантического поля, но не тождественными, обнаруживают тенденцию к функциональной синонимии. Однако связанность этих слов не только подчеркивает общее между ними, но и выделяет (а не стирает) семантическую специфику каждого.[10]

Совершенно иной смысл и характер отношений имеют эти слова-образы на уровне поэтического языка II порядка, которому соответствует восприятие текста в метафизическом, иррациональном плане, т. е. на уровне искусственной парадигматики условного языка суфийской поэзии. Эта искусственная парадигматика образует ассоциативные связи на религиозно-философском уровне [11] и предстает в стихах Султана Веледа в следующем виде. Окказиональная семантика ее элементов определяется специфической синтагматикой лексемы nur 'свет':

Tenri kendü nurını ana verür
Ol nur ile **t**enri bellü görür (70)
Бог свой свет ему дает,
С тем светом он ясно видит бога.

Таким образом, *свет* становится функцией, непременным атрибутом бога, что является основанием для переноса значения по функции, т. е. для приобретения лексемой *свет* значения *бог* и ее самостоятельного функционирования на уровне языка II порядка в качестве символа [12] бога:

Yimek içmek behişte **nurdandur**
Hoşlığın uçmak içre hurdandur (54)
Еда, питье в раю — **от бога,**
Твое блаженство в раю — от гурии.

Действительно, в этом значении слово *свет* в форме *свет светов* (нур-аль-анвар) фиксируется в словаре суфийских терминов «Мират-и ушшак», где этот термин толкуется как «божественная субстанция, являющаяся источником бытия».[13] В свою очередь использование слова *свет* в значении атрибута бога (значение к тому же усилено самостоятельной символикой слова *свет*) в сочетании со словами güneş 'солнце' и ay 'луна' при адекватности синтагматики этих сочетаний и сочетания tenri nuri (см.

примеры (38), (70)) переносит на слова *солнце* и *луна* значение слова teŋri 'бог' и тем самым полностью уравнивает слова *свет*, *солнце* и *луна* между собой, стирает их самостоятельную семантику, что имеет дополнительное логическое основание в указанной выше тенденции этих слов к функциональной синонимии на уровне языка I порядка. Это позволяет заключить, что в поэтике Султана Веледа на уровне языка II порядка слова *бог*, *свет*, *солнце*, *луна* и соответствующие им образы являются абсолютными синонимами и используются как один и тот же символ — символ бога. Поэтому бейты, содержащие эти образы, на языке II порядка получают новое — религиозно-философское — истолкование на метафизическом уровне, где полностью отсутствует конкретно-чувственная реальность, а есть лишь символы, поскольку приписывание богу свойств или признаков явлений конкретно-чувственной реальности превращает их в его атрибуты и, следовательно, ведет к их последовательной символизации, что делает дешифровку текста субъективно условной, позволяя однозначно извлечь только абстрактную религиозную идею:

Nur birdür mumlarun ger yüz isa
Iki göre her kim ol ussuz isa — (84)

толкование на уровне языка I порядка: «Свет един, (даже) если свечей — сто, / Если кто глуп, тот видит два (света)»; толкование на уровне языка II порядка: «Бог — един (хотя его проявления — многочисленны, подобно ста свечам, испускающим единый свет), / (Только) глупцы думают, что мир и бог — разные понятия (что может существовать что-либо, кроме бога)». Перед нами — один из уровней религиозного познания и осмысления понятия бога при помощи символов, которые только и могут, согласно суфийской гносеологии (Ибн-уль Араби,[14] Джелаль-ед-дин Руми [15]), выразить эзотерические доктрины и передать мистическое переживание. Здесь важно отметить, что образ луны в значении символа бога отсутствует и в словарях суфийских терминов,[16] и в поэтике Джелаль-ед-дина Руми.[17] Появление этого образа с указанным значением у Султана Веледа допустимо объяснять влиянием исконно тюркской поэтической традиции, которая представлена у Юсуфа Баласагуни (XI в.) в поэме «Кутадгу билиг» тюркским именем главного действующего лица — Айтолды — «Луна наполнилась», а также — в «Дивану лугат ат-турк» Махмуда Кашгари (XI в.),[18] где этот образ является одним из центральных в системе образного отражения действительности, сложившейся в тюркском фольклоре.[19] Другое важное обстоятельство — это то, что у Султана Веледа образы луны и солнца совпадают, а не противопоставляются, не составляют бинарную оппозицию, как в персидской поэзии.[20] Таким образом, в поэтике Султана Веледа образ луны включается в набор традиционных суфийских образов, имея значение специального суфийского термина.

Здесь нужно также отметить, что при восприятии текста на разбираемом — метафизическом — уровне происходит трансфор-

мация всей художественной системы: характерные для языка I порядка и указанные выше изобразительные средства превращаются в религиозно-философские символы. В противоположность метафоре, сравнению эти символы вызваны к жизни абстрагирующей идеалистической богословской мыслью.[21]

Еще одно, отличное от предыдущих толкование этих образов происходит на уровне поэтического языка III порядка. При этом весь текст вновь осмысляется в плане конкретно-чувственной реальности и естественной парадигматики, за исключением символизовавшихся понятий, которые получили и закрепили за собой в естественном языке новое значение религиозно-философских терминов. При этом происходит приписывание явлениям действительности свойств указанных религиозно-философских понятий, т. е. вторичный перенос нового символического значения. Таким образом, мир конкретно-чувственный и метафизический как бы сливаются в одно целое, разница между ними исчезает, что отражает основной суфийский концепт единства (тоухид), смысл которого заключается в том, чтобы слить воедино две противоположные величины.[22] Происходящее при этом уже второе переосмысление поэтических образов [23] (первое переосмысление конкретно-чувственного образа — на уровне языка II порядка) означает в случае с разбираемыми образами, что действительности приписываются свойства бога, т. е. происходит обожествление реального мира, в том числе и человека, за что на средневековом мусульманском Востоке расплачивались, как Мансур Халладж, жизнью. Этот же факт в наше время служит основанием для того, чтобы рассматривать суфийскую поэзию как выражение гуманистических идей на Востоке.[24] Пример такого толкования дает бейт:

Gözinüzi tenri açarsa beni
Göresiz eyle ki görürsiz **güni** (86)
Если бог откроет ваши глаза, меня
Увидите так, как видите **бога.**

Это толкование и дает скрытй от «непосвященных» тайный смысл бейта, смысл, который соответствует основной тезе суфийского учения о том, что онтологически не существует ничего, кроме бога.[25]

Таким образом, поэтическая лексика Султана Веледа, семантика которой осложнена особенностями индивидуального словоупотребления, функционирует в его стихах на трех разных уровнях, что в некоторых случаях позволяет истолковывать один бейт в четырех разных смыслах:

Ay bigi alemda **aydınlık** verür
Yüz **nurinden** karıngulık varur. (82)

I — «Подобно луне [она] дает в мире свет, / От света [ее] лица темнота уходит» (например, о какой-нибудь звезде на небе;здесь луна — простое сравнение);

II — «Как луна [она=любимый человек] осветляет [мой темный] мир, / От сияния ее лица уходит мрак [моего одиночества, моих мыслей и т. п.]» (здесь луна — метафорическое сравнение);
III — «Как луна [он=бог] освещает мир [божественным] сиянием (т. е. заполняет мир своей божественной субстанцией), / от [осознания, лицезрения] его божественной сути исчезает мрак [незнания, реального ненастоящего мира, мешающего суфию слиться с богом; мрак мира множественности и иллюзорности и т. п.]» (здесь луна переосмысляется в символ бога);
IV — «Подобный богу, этот [человек] наполняет мир [своей] божественной сущностью, / От божественной сущности [этого человека] исчезает темнота» [реальная темнота ночи, так как этот человек=бог является причиной и основой всего сущего, ибо человека как такового нет, а есть только бог] (это толкование и соответствует основной суфийской формуле: Хуве — Хува 'Он есть Он'; [26] здесь луна вторично переосмысляется в символ человека-бога).

Такая многозначность, полифония смыслов отражает суфийскую концепцию последовательного отбрасывания теней, которая лежит, в частности, в основе главной творческой установки учителя Султана Веледа, его отца — Джелаль-ед-дина Руми, который считал, что «стол славословия» должен быть накрыт разными блюдами, чтобы ни один из гостей не остался голодным, чтобы каждый получил свою пищу, потому что этим столом пользуются как простой люд, так и избранные.[27]

В итоге можно отметить, что трудный теоретический вопрос, в какой мере образы суфийской поэзии сочетают прямой (лирический) смысл с философско-суфийским подтекстом,[28] нельзя решить однозначно. Актуализация всех трех уровней восприятия происходит далеко не всегда, поэтому каждый конкретный случай требует учета не только общей поэтической традиции жанра, но и особенностей индивидуальной поэтики автора.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Иванов С. Н.* К изучению жанра газели в староузбекской поэзии. — В кн.: Тюркологический сборник. 1974. М., 1978, с. 154, 156.

[2] *Иванов С. Н.* Пять веков узбекской газели. — В кн.: В красе нетленной предстает. М., 1977, с. 20.

[3] Там же, с. 22.

[4] Подробнее см.: *Фомкин М. С.* Об изучении тюркских стихов Султана Веледа. — СТ, 1983, № 2, с. 28—29.

[5] *Стеблева И. В.* Семантика газелей Бабура. М., 1982, с. 5.

[6] О термине см.: *Иванов С. Н.* О «Благодатном знании» Юсуфа Баласагунского. — В кн.: *Юсуф Баласагунский.* Благодатное знание / Изд. подготовил С. Н. Иванов. М., 1983, с. 537.

[7] О термине см.: *Lazard G.* Le langage simbolique du ghazal. — In: Convegno internazionale sulla poesia di Hafez. Roma, 1978, p. 61, 64, 71; а также: *Пригарина Н. И.* Образное содержание бейта в поэзии на персидском языке. — В кн.: Восточная поэтика: Специфика художественного образа. М., 1983, с. 101—102.

[8] Примеры в упрощенной транскрипции даются по: *Veled Çelebi.* Divan-i türkî-i Sultan Veled. Istanbul, 1341 h., с. 22. Далее приводятся в скобках страницы указанного издания.

[9] *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М., 1970, с. 205.
[10] Там же, с. 208.
[11] *Пригарина Н. И.* Образное содержание бейта. . ., с. 100.
[12] Это символ, так как его смысл не существует в виде некоей рациональной формулы.
[13] *Бертельс Е. Э.* Избранные труды: Суфизм и суфийская литература. М., 1965, с. 175.
[14] *Nicholson R. A.* Studies in Islamic Müsticism. Cambridge, 1921, p. 257.
[15] *Джавелидзе Э. Д.* У истоков турецкой литературы. 1. Джелаль-ед-дин Руми (вопросы мировоззрения). Тбилиси, 1979, с. 31.
[16] Словарь суфийских терминов «Мират-и ушшак». — В кн.: *Бертельс Е. Э.* Избранные труды, с. 126—178, см. также с. 110—111; Шабистари Шейх Махмуд Шабистари. Гулшан-е раз. Баку, 1976; *Horten M.* Indisch Strömungen in der Islamischen Mystik. II. Lexikon wichtigster Termini der islamischen Mustik. Heidelberg, 1928.
[17] *Джавелидзе Э. Д.* У истоков турецкой литературы, с. 247, 248.
[18] *Стеблева И. В.* 1) Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. М., 1971, с. 170, 171, 178, 179, 200, 201, 259, 261, 267; 2) Семантика газелей Бабура, с. 102, 149.
[19] Мнение о фольклорном происхождении поэтических текстов из «Дивана» Махмуда Кашгарского разделяют многие исследователи (см.: *Стеблева И. В.* Развитие тюркских поэтических форм в XI веке, с. 6—8). Такое же мнение высказал академик А. Н. Кононов в частной беседе с автором этих строк.
[20] *Бертельс Е. Э.* Избранные труды, с. 112.
[21] *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979, с. 164—165.
[22] *Бертельс Е. Э.* Избранные труды, с. 111.
[23] *Брагинский И. С.* Послесловие. — В кн.: *Фиш Р.* Джалалиддин Руми. М., 1972, с. 265.
[24] Там же, с. 265—266; *Куделин В. Б.* Поэзия Юнуса Эмре. М., 1980, с. 45, 100.
[25] *Джавелидзе Э. Д.* У истоков турецкой литературы, с. 270.
[26] Там же, с. 264—266, 270, 271.
[27] Там же, с. 216.
[28] *Иванов С. Н.* К изучению жанра газели . . ., с. 154.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВПР — Архив внешней политики России.
АДД — Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
АКД — Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
БСЭ — Большая советская энциклопедия.
ВАН — Вестник Академии наук СССР.
ВЯ — Вопросы языкознания.
ДАН — Доклады Академии наук СССР.
ДТС — Древнетюркский словарь. Л., 1969.
ЖС — «Живая старина». Период. изд. Отделения этнографии имп. Русского географического общества.
ЗВОРАО — «Записки Восточного отделения имп. Русского археологического общества».
ЗКВ — «Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской Академии наук (Академии наук СССР)».
ИАН ОЛЯ — Известия Академии наук СССР. Отделение языка и литературы.
Изв. ВСОРГО — Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Иркутск.
ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук СССР.
ИСГТЯ — Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков.
КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия.
КСИНА — Краткие сообщения Института народов Азии Академии наук СССР.
ЛО ААН — Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР.
МАЭ — Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР.
МЕПТ — М а л о в С. Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.; Л., 1952.
МСЭ — Малая советская энциклопедия.
НАА — «Народы Азии и Африки».
НДВШ ФН — Научные доклады высшей школы. Филологические науки.
ОЗ — «Отечественные записки».
ПВ — «Проблемы востоковедения».
ПП и ПИКНВ — Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Л.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т I—XXV. СПБ.— Пг. 1846—1921.
РА — Атлас древностей Монголии, изд. В. В. Радловым. Т. I—IV. СПб., 1892—1899.
РО — Р а д л о в В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I—IV. СПб., 1893—1911.
СА — «Советская археология».
СВ — «Советское востоковедение».
СТ — «Советская тюркология». Баку.

СЭ	— «Советская этнография».
ТИЯЗ	— Труды Института языкознания Академии наук СССР.
ТНИИЯЛИ	— Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории.
ТС	— Тюркологический сборник.
Тюрк. языки	— «Языки народов СССР», т. 2, Тюркские языки. М., 1966.
Атлас II	— Inscriptions de l'Orkhon, recueillis par l'Expédition finnoise 1890 et publiées par la Société Finno-Ougrienne, Helsingfors, 1892.
ШЮ	— «Шарқ юлдузи». Ташкент.
ЭВ	— Эпиграфика Востока.
ЭСБЕ	— Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. 1—41, доп. т. 1—2. СПб., 1890—1907.
ALH	— Acta linguistica Hungarica.
AO	— Acta Orientalia (Lugduni Batavorum).
AOH	— Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AAH	— Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae.
APAW	— Abhandlungen der Preussischen Akadeime der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Berlin.
ATIM	— Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei. SPb.
CAJ	— Central Asiatic Journal. The Hague—Wiesbaden.
EI	— Enzyklopädie des Islams.
GiPh	— «Grundriss der iranischen Philologie», hrsg. von W. Geiger und E. Kuhn. Bd. I—II. Strassburg, 1895—1904.
II	— Inscriptions de l'Ienissei. Helsingfors, 1899.
JA	— Journal Asiatique. Paris.
JAOS	— Journal of the American Oriental Society.
JRAS	— Journal of the Royal Asiatic Society. London.
JSFOu	— Journal de la Société Finno-ougrienne. Helsinki.
KSz	— Keleti Szemle. Budapest.
MGH	— Monumenta Germaniae Historica.
MIO	— Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. Berlin.
MSFOu	— Mémoires de la Société Finno-ougrienne. Helsinki.
PhTF	— Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden.
RO	— Rocznik Orjentalistyczny. Warszawa.
SPAW	— Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Berlin.
TDAY	— Türk dili araştırmalar yıllığı. Ankara.
T'P	— «T'oung Pao, ou Archives concernant l'histoire, les langes la géographie, l'ethnographie et les arts de l'Asie Orientale». Paris—Leiden.
UAJ	— Ural-altaische Jahrbücher. Wiesbaden.
ZDMG	— Zeitschrift der deutsch morgenländischen Gesellschaft. Leipzig.

Сиглы памятников

БК	— Памятник Бильге-кагану.
Е (E1—E85)	— Енисейские памятники.
КТ (КТ$_{м}$, КТ$_{б}$)	— Памятник в честь Кюль-тегина.
КЧ	— Памятник Кули-чуру.
ЛОК	— Легенда об Огуз-кагане, XIII в.
МК	— Словарь Махмуда Кашгарского.
МЧ	— Памятник Моюн-чуру.
О	— Онгинский памятник.
Тон	— Памятник в честь Тоньюкука.
КР	— уйгурская версия о царевичах Kalyāṇaṃkara и Pāpaṃkara.
USp	— уйгурские юридические документы XII—XIV вв.
XX	— Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki. Atebetü'l-hakajik. R. Arat. İstanbul, 1951 (A, B, C — разные списки).

СОДЕРЖАНИЕ

TURCOLOGICA
1986

Утверждено к печати
Отделением литературы и языка АН СССР,
Советским комитетом тюркологов,
Институтом востоковедения АН СССР

Редактор издательства Д. М. Насилов
Художник О. М. Разулевич
Технический редактор И. М. Кашеварова
Корректоры С. В. Добрянская
и О. В. Олендская

ИБ № 32911

Сдано в набор 07.01.86. Подписано к печати 29.05.86. М-22689. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага № 1 для глубокой печати. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19. Усл. кр.-отт. 20. Уч.-изд. л. 21.24. Тираж 1400. Тип. зак. № 1165. Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука». Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ В МАГАЗИНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»,
В МЕСТНЫХ МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГОВ
ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ**

*Для получения книг почтой
заказы просим направлять по адресу:*

117192 **Москва,** Мичуринский пр., 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»;
197345 **Ленинград,** Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига»

*или в ближайший магазин «Академкнига»,
имеющий отдел «Книга — почтой»:*

480091 **Алма-Ата,** ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370005 **Баку,** ул. Джапаридзе, 13 («Книга — почтой»);
232600 **Вильнюс,** ул. Университето, 4;
690088 **Владивосток,** Океанский пр., 140;
320093 **Днепропетровск,** пр. Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 **Душанбе,** пр. Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 **Ереван,** ул. Туманяна, 31;
664033 **Иркутск,** ул. Лермонтова, 289 («Книга — почтой»);
420043 **Казань,** ул. Достоевского, 53;
252030 **Киев,** ул. Ленина, 42;
252142 **Киев,** пр. Вернадского, 79;
252030 **Киев,** ул. Пирогова, 2;
252030 **Киев,** ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
277012 **Кишинев,** пр. Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 **Краматорск** Донецкой обл., ул. Марата, 1 («Книга — почтой»);
660049 **Красноярск,** пр. Мира, 84;
443002 **Куйбышев,** пр. Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 **Ленинград,** Литейный пр., 57;
199164 **Ленинград,** Таможенный пер., 2;
199004 **Ленинград,** 9 линия, 16;
220012 **Минск,** Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);
103009 **Москва,** ул. Горького, 19а;
117312 **Москва,** ул. Вавилова, 55/7;
630076 **Новосибирск,** Красный пр., 51;
630090 **Новосибирск,** Академгородок, Морской пр., 22 («Книга — почтой»);
142284 **Протвино** Московской обл., «Академкнига»;
142292 **Пущино** Московской обл., МР «В», 1;
620151 **Свердловск,** ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700029 **Ташкент,** ул. Ленина, 73;
700100 **Ташкент,** ул. Шота Руставели, 43;
700187 **Ташкент,** ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 **Томск,** наб. реки Ушайки, 18;
450059 **Уфа,** ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 **Уфа,** ул. Коммунистическая, 49;
720001 **Фрунзе,** бульв. Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 **Харьков,** ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).

2р. 90к.